

18 1952
ДС
191
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

Том XXXI 31

ВЫПУСК ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

Сборник статей, посвященных
В. Г. Белинскому

САРАТОВ

1952



ДС
191

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

Том XXXI

ВЫПУСК ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

Сборник статей, посвященных
В. Г. Белинскому

5421
[ДУБЛ.]

САРАТОВ

1 9 5 2



Печатается по решению ученого совета Саратовского Государственного университета имени Н. Г. Чернышевского от 27 марта 1952 г.

*Ответственный редактор доцент С. С. Хохлов.
Редколлегия филологического факультета СГУ:
доц. Е. И. Покусаев (председатель), проф.
А. П. Скафтымов, проф. А. М. Лукьяненко,
доц. В. М. Черников, канд. филологических
наук О. Б. Сиротинина.*

БЕЛИНСКИЙ И РУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА *

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевский энергично подчеркнул громадное значение Белинского в разработке общетеоретических вопросов нашего искусства, науки, публицистики. «Он должен был прежде всего объяснить нам,—писал Чернышевский,—что такое литература, что такое критика, что такое журнал, что такое поэзия»¹.

«Что такое журнал»—этому вопросу уделено много места и внимания в работах Белинского. И это совершенно не случайно. В 30—40-х гг. прошлого столетия журнал выдвинулся в первые ряды литературы. В самом факте роста и в усилении влияния журналистики Белинский усматривал начало нового этапа развития русской литературы по пути ее демократизации, расширения массовой читательской базы, по пути сближения ее с общественной жизнью.

Своей собственной деятельностью Белинский чрезвычайно высоко поднял роль, вес, значение русской журналистики в общественно-культурной жизни страны. Журналы, в которых сотрудничал Белинский,—«Телескоп» (1834—1836), «Московский наблюдатель» (1838—1839), «Отечественные записки» (1839—1846), «Современник» (1847—1848)—приобретали свой особый характер, становились известными и влиятельными органами передовых демократических сил России.

Естественно, Белинский, вся литературная деятельность которого так тесно связана с журналистикой и почти неотделима от последней, стремился всесторонне осмыслить цели и задачи журнала в России, выяснить его место в общекультурном развитии народа, как рассадника положительных знаний, центра передовой художественной мысли и, в особенности, как органа демократического общественного мнения.

Разумеется, проблемы журналистики для Белинского никогда не были отвлеченно академическими, а всегда вопроса-

* Работа была доложена на научной конференции Саратовского государственного университета в июне 1948 г.

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 15 томах. М. 1947, т. III, стр. 246.

ми жизни, борьбы, непосредственной практической деятельности.

«Умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку «Отечественных записок». Я литератор—говорю это с болезненным и вместе радостным и гордым убеждением»¹.

В редакционных хлопотах по составлению и выпуску очередной книжки журнала, в подборе статейного материала, в борьбе с цензурными запретами, в яростной полемике с идейными противниками рождались очень многие и важные суждения Белинского по теории журнализма.

Задача настоящей работы — собрать и систематизировать мысли Белинского о журналистике, охарактеризовать требования, которые предъявлял критик к журналу, выяснить и обобщить взгляды Белинского на целый ряд принципиальных проблем журнального дела.

Следует заметить, что автор не ставит своей целью обозреть всю сумму фактов, связанных с разнообразной журнальной деятельностью Белинского, не собирается также специально рассматривать все его оценки тех или иных органов периодической печати XVIII и первой половины XIX века. Это вопросы для особого исследования. То и другое будет затрагиваться постольку, поскольку это необходимо, чтобы полнее и отчетливее выступила революционно-демократическая теория журнала Белинского.

Концепция журнального органа у Белинского в основном и главном была определена его революционным мировоззрением. В журнале Белинский видел, прежде всего, строгий демократический идейный орган, призванный не просто доставлять интересное и поучительное чтение, а формировать передовое общественное и эстетическое сознание читателей, воспитывать в русском человеке гражданина, патриота, демократа-борца. Великий критик-демократ поставил журнальный орган на службу делу освободительной борьбы народа с царизмом и крепостничеством. С великолепной последовательностью Белинский подчинял этой основной идейной задаче журнала все остальные его общекультурные и общеобразовательные функции, а также его внутреннюю структуру и внутриредакционную организацию.

Белинский беспощадно разоблачал беспринципность, многоликую пошлость и мимирию реакционной дворянско-буржуазной журналистики. Он страстно боролся за идейную строгость, последовательность, передовый общественный характер журнала.

Огромный журнальный опыт Белинского-публициста приобретает особый интерес в наши дни, в момент, когда перед

¹ В. Г. Белинский. Письма, СПб, 1914, т. II, стр. 91.

советскими журналами поставлены столь ответственные идеологические и воспитательные задачи, когда наша печать, вооруженная великими идеями Ленина и Сталина, ведет широкое наступление на буржуазную идеологию. В этой исторической борьбе Белинский—революционный теоретик журнализма — наш боевой союзник.

1.

Основными определяющими качествами журнала Белинский считал наличие самостоятельной общественно-литературной позиции, резко очерченного идейного, политического направления.

«Журнал должен иметь свой характер,—писал Белинский,—свой образ мнений, свою, так сказать, личность, вследствие мысли, которая служит основанием всех его действий. Беспристрастная абсолютность и универсальность вредят журналу, потому что без парциальности (*partialité*) он бесцветен, холоден, мертв»¹.

Это теоретическое положение Белинского, сформулированное им еще в 1836 г., относится к числу важнейших. Белинский утверждал, что журнал, как определенный тип периодического издания со своей особой организационно-материальной структурой, именно тем и отличается от альманаха и от сборника, что имеет постоянное направление, свои задушевные «мнения и верования»².

«Журнал должен иметь прежде всего физиономию, характер; альманажная безличность для него всего хуже. Физиономия и характер журнала состоят в его направлении, его мнении, его господствующем учении, которого он должен быть органом»³.

Мы еще вернемся к этому характерному, имеющему глубокий историко-литературный смысл, противопоставлению журнала альманаху, поскольку Белинский с господствующим положением того или другого в обществе связывает целый обособленный период литературного движения в России.

Белинский старательно также разграничивал функцию и содержание журнала и сборника и под тем же углом зрения.

«Журнал, будучи сборником хороших статей,—писал он,—

¹ Полное собрание сочинений В. Г. Белинского под редакцией и с примечаниями Ю. А. Венгерова, СПб, 1900, т. II, стр. 379.

В дальнейшем тексты Белинского, кроме оговоренных случаев, цитируются по этому изданию.

² Там же, т. II, стр. 380.

³ Там же, т. II, стр. 379.

должен быть еще и журналом, т. е. иметь свое направление, свой характер, словом, быть выразителем своей мысли»¹.

В одном из своих годовых литературных обзоров, характеризуя вновь вышедший журнал «Финский вестник», Белинский назвал его сборником и заметил: не ищите у него того, что «требуется от журнала—определенной физиономии, верности однажды избранному принципу»².

Касаясь условий издания журнала в Европе и России и отметив относительную бедность русской журналистики, недостаток в ней специализированных изданий, ввиду чего русский журнальный орган стремится «удовлетворить всем потребностям общества—от стихов до статей о свекловичном сахаре и удобрении полей», Белинский в 1842 г. снова возвращается к той мысли, что подлинный журнал прежде всего обязан быть проводником определенного мнения. «За границей,—заявлял Белинский,—сущность журнала состоит в его мнении, и потому там журналисту нечего бояться соперничества, не к чему хвататься за множество таких предметов: у него есть мнение—есть и подписчики, потому что кто разделяет его доктрину, тот будет читать его журнал»³.

Впрочем, очень скоро Белинский сам отказался от этого несколько искусственного противопоставления отечественной журналистики и иностранной. «Без литературного мнения, — писал он,—сколько-нибудь оригинального и самобытного, высказываемого с большим или меньшим умом и талантом, теперь и у нас журнал уже не может иметь успеха»⁴.

Разумеется, неправильно понимать Белинского в этом случае таким образом, что достаточно тому или другому печатному органу иметь любое направление и какие угодно мнения, чтобы признать его образцовым журналом. Белинский совсем не безразлично относится к тому, что отстаивает и во что верует журнал.

«Журнал будет с мнением, — но с каким? — вот еще вопрос!..—писал Белинский в 1842 г.—Если мнение нового журнала будет состоять в том, что Сократ был плут, что ум человеческий надувало, что греки раскрашивали свои мраморные изваяния, что исторический роман есть незаконный плод прелюбодеяния истории с поэзией, что «Мертвые души» Гоголя—плоское и бездарное произведение, а «Сердце женщины» г. Воскресенского—превосходный роман... Если... но этим «если» не было бы конца. Скажем коротко, что если таково будет мнение

¹ Белинский, т. IV, стр. 265.

² Там же, т. X, стр. 121.

³ Там же, т. VII, стр. 47.

⁴ Там же, т. VIII, стр. 2. Подчеркнуто нами.

нового журнала, то прошла уже безвозвратно пора таким мнениям и таким журналам. Публика уже не та, и ее нельзя уверить как прежде криками и воплями в приятельском фельетоне»¹.

Это резкое выступление против реакционных журнальных органов типа «Библиотеки для чтения» и «Северной пчелы» красноречиво говорит о том, что Белинский в понятие «журнальное мнение» вкладывал общественно и эстетически передовое содержание.

По разному поводу и в разных контекстах, но неизменно подчеркивая специфику журнала как органа идейного, держащегося своей определенной общественно-литературной программы, Белинский отстаивал такой журнальный орган, который бы стоял на высоте революционной мысли эпохи, который бы организовал живые силы нации на борьбу с батожным помещичьим режимом.

Именно эта демократическая точка зрения на журнал определила особо активный взгляд Белинского на критику и библиографию, которые, по его словам, в первую голову выявляют идейное лицо журнала.

Журнальная концепция Белинского глубоко исторична. Идеологические и политические противники Белинского «светские» критики старого классицистического закала, критики-славянофилы вроде ретрограда Шевырева, шумно сетовали на то, что «журналистика поглотила всю литературу»². В этих жалобах сквозил страх реакционера перед лицом растущего в стране демократического движения.

Белинский, наоборот, приветствовал активное вторжение журналистики в литературу. В факте роста прогрессивной журналистики Белинский усматривал начало нового этапа развития русской литературы, характеризующегося дальнейшей решительной демократизацией ее.

«Успех журналистики, душа которой критика,—писал Белинский,—служит самым ясным и неопровержимым доказательством, что литература, наконец, укрепилась на почве русской национальности, вошла в жизнь общества, сделалась его обычаем, живою потребностью и уже перестала быть внешним нововведением, модой или книжным педантизмом»³.

Белинский хорошо понимал, что вместе с журналом—массовым и оперативным печатным органом—вошла в «жизнь общества» и сделалась его «живою потребностью» могучая духовная сила—передовая русская литература, которая подверглась разрушительной критике крепостничество, вплотную заин-

¹ Белинский, т. VII, стр. 464.

² Белинский, т. VIII, стр. 2.

³ Белинский. Собрание сочинений в трех томах. М. 1948, т. II, стр. 448.

тересовалась, как никогда раньше, народом, его жизнью, смело поставила проблему революции в России, вооружила прогрессивную интеллигенцию социалистическим идеалом.

Белинский засвидетельствовал весьма показательный факт, заключающийся в том, что журналы в 30—40-х гг. решительно вытеснили альманахи. И это была не простая замена одного вида периодического издания другим, более удобным.

Дело в том, что в 10—20-х годах, по словам Белинского, и «русская литература была по преимуществу альманачною»¹.

Она вся сосредоточилась «в крошечных альманахах, наполненных крошечными отрывками из крошечных поэм, крошечных драм, крошечных повестей, которым, большей частью, никогда не суждено было явиться вполне, т. е. с началом и концом»².

Альманах отвечал скромным издательским потребностям того или иного дружеского писательского кружка, литературного общества или литературного салона начала XIX века. Немногочисленный, из культурных дворянских верхов, читатель также вполне удовлетворялся альманахом.

Это была литература и журналистика «только для немногих,—заявлял Белинский,—только для избранных, только для любителей, но не для общества»³. «В наше время такие альманахи уж невозможны»⁴, утверждает критик. Литература покинула аристократические бельэтажи и особняки, она вышла на площадь, она обратила «все внимание на толпу», на массу⁵, она стала верно служить обществу, народу. Безликий «тощий» альманах теперь сменяется солидным издательским предприятием—«толстым» журналом, который стал активным проводником демократического общественного мнения, литературным органом с разносторонним художественным, публицистическим, научным содержанием, строгой периодичностью выхода, особой организацией редакционной работы и т. д. Теперь «каждый грамотный человек,—заявлял критик,—не может существовать без журналов, как без хлеба»⁶. «Теперь журнал издается не для известного круга, а для всех»⁷.

Этот же самый процесс демократизации художественного творчества Белинский прослеживает и в области жанрового развития, жанрового движения русской литературы, которое конструктивно затронуло журналистику. В период, когда рус-

¹ Белинский, т. VIII, стр. 500.

² Там же, т. VIII, стр. 369.

³ Там же, т. IX, стр. 495.

⁴ Там же, т. VIII, стр. 369. Ср. в книге «Н. Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов». Ред. и вступ. статья Вл. Орлова, Л., 1934 г., стр. 39—40.

⁵ Там же, т. XI, стр. 89.

⁶ Там же, т. XII, стр. 393.

⁷ Там же, т. VII, стр. 251.

ская литература стала интенсивно развиваться под знаком журнализма, господствующее положение, как заметил Белинский, заняла проза, в то время как в альманахах на первом месте стояли стихи.

«Но мода на альманахи... прошла,—писал Белинский, — это во всех отношениях отрадное событие произошло от возвышения ценности прозы на счет ценности стихов. Стихи перестали забавлять погремушкою рифм и набором модных слов: от них потребовалось оригинальности и мысли... По мере того, как стихи падали в цене, проза ценилась все дороже и дороже. Отрывков уже не читали, а требовали полного романа, оконченной повести,—и эти романы и повести сделались скоро главною опорою журналов»¹.

Еще больше утвердили Белинского в этой мысли громкие художественные достижения гоголевской прозы, ее обличительного реализма. Не случайно критик заявлял: «Все литературные интересы, все журнальные вопросы сосредоточены теперь на Гоголе»². В своих годовых обзорах русской литературы Белинский часто отмечает, что «стихотворения теперь читаются меньше»³, что «стихи играют второстепенную в сравнении с прозой роль»⁴. Белинский критически относился к обычной практике ряда русских журналов, например, плетневского «Современника», помещать «в каждой книжке целое отделение стихотворений»⁵. «Еще не было на Руси (да и нигде) примера, — писал Белинский, — чтобы какой-нибудь журнал держался чьими бы то ни было стихотворениями»⁶.

«Есть... утешительная сторона в прозаическом и повествовательном направлении нашей литературы: значит, оно сближается с обществом, с действительностью, хочет быть сознанием общества, его выражением. Заметьте, что теперь без хороших оригинальных повестей журнал погиб в понятии публики, которая хочет видеть себя, свою действительность в литературе»⁷.

Формулируя эти свои ответственные замечания о значении журнальной прозы, Белинский, несомненно, учитывал огромный общественный резонанс антикрепостнической беллетристики 40-х годов. Цензурный гнет не позволял передовым русским журналам открыто выступить против самодержавия, против бесчеловечной эксплуатации крестьянства. Эту благородную задачу своими образными средствами успешно выполняла

¹ Белинский, т. VIII, стр. 506.

² Там же. т. VII, 323.

³ Там же, т. VII, стр. 61.

⁴ Там же, т. X, стр. 412.

⁵ Там же, т. III, стр. 437.

⁶ Там же, т. VII, стр. 250.

⁷ Там же, т. VII, стр. 61.

художественная проза в журнале. Вот почему критик-демократ так уверенно и категорически утверждал, что «без русских повестей теперь не может иметь успеха ни один журнал»¹. Выдвижение журнала на аванпосты русской литературы вызвано было, как справедливо полагал Белинский, самой жизнью, развертывающимся в стране освободительным движением, реальными потребностями развивающейся общественной и художественной мысли, для которой стали тесны и узки рамки дружеской «альманачной» корпорации и которой было душно в изысканной аудитории столичного дворянского салона.

Белинский склонен был политически и философски широко толковать этот характерный сдвиг в литературе и в журналистике 40-х гг. Он говорил о смене двух типов общественно-эстетического мышления; на смену старой патриархальной, барской созерцательности, уводившей человека от шумного потока жизни, приходит новое аналитическое, реалистическое мировосприятие, устремляющее человека к действительности и к действию.

«Было время, — писал Белинский, — когда журналы в Европе по преимуществу назывались «зрителями»; теперь имя «обзрений» (revues) осталось за ними исключительно и значит то же самое, что у нас, на Руси, слово «журнал»... Эта перемена как нельзя лучше характеризует собой две эпохи: одну, когда люди только **созерцали** и **смотрели** на жизнь, как на занимательный спектакль, и другую, когда люди уже не довольствуются только тем, что смотрят глазами, а хотят, вместе с тем, смотреть и умом. Предшествовавшая эпоха была **созерцательная**; настоящая эпоха — **сознательная**. Отсюда-то и происходит эта живая, беспокойная, тревожная потребность, едва кончив дело, **обозреть** его поскорее, едва пройдя несколько шагов, оглянуться назад и отдать себе отчет в пройденном пространстве»².

2.

Белинский радовался тому факту, что русская литература в 40-х годах стремительно выходила из периода «альманачной безликости», идейной аморфности. Наблюдая углубляющийся изо дня в день процесс классовой дифференциации русского общества, он зорко увидел свою особую форму отражения и выражения этого процесса в сфере публицистики, литературы. Журнал становился боевым органом литературной партии. «У нас, — писал Белинский, — есть уже что-то похожее на

¹ Белинский, т. X, стр. 396.

² Там же, т. VIII, стр. 1.

школы, на партии в литературе и науке»¹. «Журнальные мнения разделяют публику на литературные котерии»².

Белинский считал эту идейную дифференциацию журналистики явлением закономерным, более того — необходимым. Чем отчетливее, чем яснее, как полагал он, откristаллизуются действующие в журналистике силы, группы, партии, тем скорее и вернее прогрессивная часть общества, передовая печать определит своих союзников и узнает своих врагов.

В этой связи становится особенно понятным, почему Белинский считал важнейшими в журнале критический и библиографический отделы, ибо «они, можно сказать, душа, жизнь его, потому что в них резче всего высказывается его направление, сила и достоинство»³.

«Критика—есть душа всякого журнала»⁴, «Критика составляет жизнь наших журналов и нашей литературы»⁵—подобные заявления сплошь и рядом встречаются в работах Белинского.

«У нас любят критику...,—писал Белинский.—Книжка журнала всегда разогнута на критике, первая разрезанная статья в журнале есть критика; как бы ни был дурен журнал, в каком бы он ни был упадке, но если в нем случится хоть одна замечательная критическая статья, она будет прочтена, заключающая ее книжка вынетя из-под спуда и увидит свет божий; критике больше всего бывает обязан журнал своей силой. Без критики журнал есть образ без лица, анатомический препарат, а не живое органическое существо»⁶.

Журнальную критику Белинский представлял себе не иначе, как силой активной, воинствующей, наступающей. Замечательно, что журнальные органы, бедные критикой, становились инертными, анемичными, и критик-демократ называл их с осуждением «полуальманахами»⁷.

О «Московском вестнике» Белинский отозвался следующим образом: этот журнал «имел большие достоинства, много ума, много таланта, много пылкости, но мало, чрезвычайно мало, сметливости и догадливости, и потому сам был причиной своей преждевременной кончины. В эпоху жизни, в эпоху борьбы и столкновений мыслей и мнений, он вздумал наблюдать дух какой-то умеренности и отчуждения от резкости в суждениях и, полный дельными и учеными статьями, был тощ рецензиями и полемикой, кои составляют жизнь журнала...»⁸.

¹ Белинский, т. X, стр. 159.

² Там же, т. VIII, стр. 2.

³ Там же, т. IV, стр. 264.

⁴ Там же, т. VII, стр. 421.

⁵ Там же, т. VI, стр. 63.

⁶ Там же, т. II, стр. 459.

⁷ Там же, т. V, стр. 292.

⁸ Там же, т. I, стр. 380. Подчеркнуто нами.

Одной из самых главных причин небольшого успеха плетневского «Современника», его слабого «нравственного влияния на публику»¹, Белинский считал неудовлетворительную постановку критического отдела.

«В «Современнике» есть даже и критика, — писал Белинский, — по большей части, очень снисходительная, и библиография, отличительный характер которой, в противоположность всем нашим журналам, составляют мягкость, нежность, снисходительность и краткость. Тут выписываются заглавия всех новых книг, но говорится только о некоторых; большею частью все выхваляются, и если иные и осуждаются, то с такой деликатностью, что не редко самое порицание можно принять за похвалу. Мягкость, поистине удивительная в нашей жесткой журналистике!»².

Белинский настойчиво разъяснял, что через критику журнал обнародывает свою программу, обобщает явления и факты текущей литературной жизни, направляет, формирует художественные вкусы читателей, выдвигает новые задачи перед литературой. В библиографических отзывах и рецензиях он дает нелицеприятную, смелую, прямую, продиктованную требованиями жизни, освободительной борьбы, общей системой взглядов журнала, оценку писательской продукции. Упадок «Московского наблюдателя» (до перехода этого органа в руки Белинского и его группы), по мнению Белинского, обусловлен был тем, что журнал не осознал важности критики, «выключил из себя библиографию, эту низшую, практическую критику, столь необходимую, столь важную, столь полезную и для публики и для журнала»³.

Серьезнейшим достижением передовой русской периодической печати в 40-х годах Белинский считал то, что критика вторглась в жизнь, что она «уже не в одних журналах, но и в публике»⁴.

К обоснованию своей идеи о руководящем значении критики в журнале — эта идея и сейчас звучит весьма злободневно! — Белинский подходил и с другой стороны. Он указывал на серьезную роль критики с точки зрения выполнения журналом функций «посредника между наукой и учеными», функций популяризатора знаний в народе. «Смешно было бы думать в наше время, — писал Белинский по этому поводу, — чтобы журнал был энциклопедией наук, из которой можно бы черпать полной горстью знания, посредством которой можно было бы сделаться ученым. Только одни невежды и верхогляды могут так

¹ Белинский, т. III, стр. 2.

² Там же, т. IV, стр. 66—67.

³ Там же, т. II, стр. 381.

⁴ Там же, т. XI, стр. 146.

думать в наше время. Журнал есть не наука и не ученость, но, так сказать, фактор науки и учености, посредник между наукой и учеными. Как бы ни велика была журнальная статья, но она никогда не изложит полной системы какого-нибудь знания: она может представить только результат этой системы, чтобы обратить на нее внимание ученых, как скорое известие, и публики, как рапорт о случившемся. Вот почему такое важное место, такое необходимое условие достоинства и существования журнала составляет критика и библиография, ученая и литературная»¹.

Было, наконец, еще одно и, пожалуй, решающее обстоятельство, заставившее Белинского выдвигать критический отдел в качестве основного, ведущего отдела журнала. Библиографический обзор или критическая статья, посвященные тому или иному произведению, открывали возможность касаться многих таких сторон политической жизни России, о которых специально рассуждать совсем не позволялось. Белинский умел в своих литературно-критических статьях гневным словом революционного публициста изобличать деспотизм правящих классов. Герцен хорошо об этом сказал: «Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос. Ему достаточен стих «Родные люди вот какие» в «Онегине», чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства»².

Белинский умел критический анализ художественного творчества поднять до высокого уровня философского, революционного обобщения событий и фактов конкретной общественной действительности страны.

3.

По Белинскому, подлинно передовым журналом может быть только такой журнал, который весь погружен в современность и воодушевлен патриотическим стремлением активно вмешаться в общественную жизнь своей страны. «Вы хотите издавать журнал, с тем чтобы делать пользу своему отечеству,—писал Белинский,—так узнайте ж прежде всего его главные, настоящие, текущие потребности»³.

На ранних стадиях своего идейного развития, в пору идеалистических увлечений второй половины 30-х годов, Белинский был склонен иногда толковать «насуточные потребности» русского общества в просветительском плане.

¹ Белинский, т. III, стр. 4.

² «В. Г. Белинский в воспоминаниях современников», Л., 1929, стр. 111.

³ Белинский, т. II, стр. 379.

«Какие мнения, какое учение должно господствовать в наших журналах, быть главным его элементом?—спрашивал Белинский в своем известном «Отчете г. издателю «Телескопа».—Отвечаем, не задумываясь: литературные, до искусства, до изящного относящиеся. Да—это главное!»¹.

В соответствии с этим Белинский требовал от журналов и журналистов: «Старайтесь умножить читателей. Это первая и священная ваша обязанность... Вторая ваша обязанность, развивая и распространяя вкус к чтению, развивать вместе и чувство изящного». Разъясняя эту свою мысль, Белинский далее указывал: «Чувство изящного развивается в человеке самим изящным, следовательно, журнал должен представлять своим читателям образцы изящного; потом, чувство изящного развивается и образуется анализом и теорией изящного, следовательно, журнал должен представлять критику. Там, где есть уже охота к искусству, но где еще зыбки и шатки понятия об нем, там журнал есть руководитель общества»².

Можно подумать, что на первых порах Белинский видел в журнале, главным образом, эстетического руководителя общества, рассадника культуры, просвещения, образованности, поставщика художественного чтения. Ведь писал же он в это время, что «собственно литературные журналы составляют настоящую потребность нашей публики».

По вышеприведенным выпискам можно даже предположить, что Белинский стремился сделать из журнала—некий строгий, взыскательный, выдержанный, но исключительно эстетический орган.

Однако нет ничего ошибочнее этого предположения.

«Эстетическое чувство,—писал критик,—есть основа добра, основа нравственности», оно есть «условие человеческого достоинства», «только с ним ученый возвышается до мировых идей, понимает природу и явления в их общности; только с ним гражданин может нести в жертву отечеству и свои личные надежды и свои частные выгоды».

Замечательно при этом, что Белинский, высказав эту понастоящему глубокую революционно-патриотическую мысль, ссылается на Соединенные Штаты Америки, как на печальный пример страны, где «нет искусства, нет любви к изящному» и где, при богатстве «фабрик и мануфактур», «чугунных дорог» и «воздушных почт», господствует пошлый «здравый смысл», эгоистический расчет; в картине художника здесь, в стране хваленой буржуазной цивилизации, видят только «галантерейную вещь». «Я не уважаю этой цивилизации,—писал Белинский,—я не верю этой нравственности, потому

¹ Белинский, т. II, стр. 379.

² Там же, т. II, стр. 379—380.

что это благоденствие искусственно, эта цивилизация бесплодна, эта нравственность подозрительна»¹.

Таким образом, Белинский социально очень широко понимал «чувство изящного», эстетический принцип, проводником которого должен быть журнал.

Конечно, на теоретических построениях молодого Белинского, стоявшего тогда еще на почве философского идеализма, временами сильно заметен налет несколько абстрактного эстетического просветительства. Это сказывалось в определенный момент и в непосредственной журнальной деятельности критика. Так в 1838—39 гг., стоя во главе «Московского наблюдателя», он стремится сделать этот журнал органом умозрительным, органом «эстетического образования», интересующимся по преимуществу вопросами искусства, распространяющим новые, опирающиеся на философские и просветительские принципы, понятия о литературе и критике.

Показательно и самопризнание Белинского по этому поводу. «Журнал с таким направлением, которое я могу дать,—писал он И. И. Панаеву,—всегда будет для аристократии читающей публики, а не для толпы»². Но и в данном случае важно опять-таки отметить, что под «толпой» Белинский имел в виду читателей, которые охотно подписываются на «Библиотеку для чтения» и которые довольствуются утилитарно-развлекательным материалом, помещаемым на страницах этого журнала. Белинский не игнорировал рядового читателя. Но он не желал в своем журнале потакать духовно-примитивным притязаниям «большинства». «Не все статьи,—писал Белинский в «Московском наблюдателе»,—помещаются в журналах только для удовольствия читателей; необходимы иногда статьи ученого содержания, а такие статьи требуют труда и размышления»³. И некоторое время спустя, когда «Московский наблюдатель» прекратил существование, Белинский готов был объяснить неудачу журнала, между прочим, и тем, что философски неподготовленная русская публика не поняла и не поддержала его. «Тщетно представлял он («Московский наблюдатель») и изящную прозу, и изящные стихотворения, и новые идеи: публика видела одни новые, непонятные для нее слова, да неаккуратность в выходе книжек»⁴.

Во всяком случае ясно, что в представлениях раннего Бе-

¹ Белинский, т. II, стр. 380.

² Белинский. Письма, т. I, стр. 210. См. также в книге А. Н. Пыпина «Белинский, его жизнь и переписка». СПб, 1876 г., т. I, стр. 243—254.

³ Белинский, т. IV, стр. 8.

⁴ Там же, т. V, стр. 239.

линского журналу отводилась преимущественно роль руководителя на пути «просвещения и эстетического образования»¹.

Иная акцентировка зазвучала в журнальной концепции Белинского в 40-х годах, когда критик закладывал основы материалистической теории искусства, когда основным законом развития литературы он считал ее прямое активное служение общественным интересам.

Перед журналом Белинский теперь выдвигает на первый план социально-воспитательные, идейно-практические задачи, связанные с осуществлением программы революционно-демократического переустройства жизни. Именно в этом он видел главные современные потребности Родины, которые должен знать передовой журнал и беззаветно служить им. В рецензии на книгу профессора А. Никитенко «Опыт истории русской литературы» (1845 г.) Белинский писал: «В область литературы входит журналистика, брошюра, словом все, что легко, изящно и доступно для всех и каждого, для общества, для толпы, что популяризирует, обобщает идеи, знакомит с результатами науки и искусства и распространяет энциклопедическое образование, превращает интересы и вопросы, самые отвлеченные и глубокие, в интересы и вопросы жизни, для всех и каждого равно близкие и важные, словом сближает науку и искусство с жизнью»².

Читатель, прошедший школу Белинского, прекрасно понимал своего властителя дум. Он без особого труда расшифровывал эти его призывы превращать «интересы и вопросы самые отвлеченные и глубокие в интересы и вопросы жизни» как актуальную практическую постановку проблемы революции и социализма.

Белинский решительно склонялся к тому мнению, что журнал в России становится в своем роде единственным мощным и массовым средством идеологического и политического воздействия на общество. В особых условиях исторического развития страны надо искать причину того, что здесь литература, журналистика, университетская кафедра были теми основными легальными каналами, по которым проникали в общество и новые философские идеи, и новые социально-политические взгляды и социалистические учения. Они же были единственно возможной открытой формой борьбы с самодержавием и крепостничеством, с реакционной дворянско-буржуазной идеологией.

«Журналистика в наше время все,—писал Белинский,—и

¹ Белинский, т. III, стр. 61.

² Там же, т. IX, стр. 420. Подчеркнуто нами. См. также т. IX, стр. 239.

Пушкин, и Гете и сам Гегель были журналисты. Журнал стоит кафедры»¹.

«Для нашего общества журнал — все... Нигде в мире не имеет он такого важного и великого значения, как у нас. Не больше пяти сочинений разошлось у нас, во сто лет, в числе пяти тысяч экземпляров,—и между тем есть журнал с пятью тысячами подписчиков! Это что-нибудь значит! Журнал поглотил теперь у нас всю литературу—публика не хочет книг — хочет журналов,—и в журнале печатаются целиком драмы и романы, а книжки журналов—каждая в пуд весом. Теперь у нас великую пользу может приносить, для настоящего и еще больше для будущего, кафедра, но журнал большую, ибо для нашего общества, прежде науки, нужна человечность, гуманическое образование»².

Один из самых талантливых и передовых журналистов эпохи, Белинский лучше других знал и высоко ценил эту действительную воспитательную роль журнала и университетской кафедры.

Хорошо известно, в каких в конечном счете широких социальных аспектах автор «Письма к Гоголю» трактовал проблему «гуманического образования» и какой глубокий революционный смысл он вкладывал в слово «человечность». Передовой русский журнал должен быть, говоря словами Белинского из «Письма к Гоголю», «вождем, защитником, спасителем от русского самодержавия, православия и народности», он призван осуществить одну из крупных революционных задач современности—формировать критическое сознание русских людей, воспитывать в русском человеке гражданина и патриота, мужественного борца за демократические идеалы.

Случилось так, что под давлением логики русской истории решение этих задач возложено было на художественно-литературные журналы. Белинский это понимал. «У нас общественная жизнь,—писал он,—преимущественно выражается в литературе. Поэтому ничего нет мудреного, если все наши журналы по преимуществу—журналы литературные, наполняемые или произведениями литературы или толками о литературе»³. Литературному журналу Белинский отводил роль «гувернантки общества»⁴, идеологического руководителя народа. Эта ответственная роль под силу журналу, преодоле-

¹ Белинский. Письма, т. II, стр. 44.

² Там же, стр. 174. Ср. у А. И. Герцена: «Литература у народа, не имеющего политической свободы, — единственная трибуна, с высоты которой он может услышать крик своего негодования и своей совести».

³ Белинский, т. VIII, стр. 2.

⁴ Белинский. Письма, т. II, стр. 44.



шему «альманачную» пестроту или «бесцветность» сборника и ставшему последовательным органом передового общественного мнения, демократического мировоззрения.

4.

В связи с этим понятно, почему так настойчиво в журнальной концепции Белинского выдвигается вопрос о редакторе, о принципах подбора и отбора материала.

Белинский превосходно понимал, что журнал станет действительно демократическим идейным органом только в том случае, когда он объединит писателей более или менее одинаковых общественно-политических убеждений, более или менее близких эстетических взглядов. Настоящее журнальное сотрудничество возможно только на этой принципиальной идейной основе.

Белинский считался с тем фактом, что в конкретной обстановке развития русской литературы 30—40-х годов, при сравнительной бедности журналистских и писательских кадров, трудно обеспечить в журнале сотрудничество во всем между собой согласных литераторов.

И тем не менее Белинский осуждал идейную разногласицу в журнале, осуждал такое положение в нем, когда, говоря образным языком критика, «из одного города, да не одни вести».

Белинскому часто приходилось сталкиваться с фактами грубого нарушения «общего характера» журнала, с фактами разнобоя, невыдержанности, беспринципности, и он не устал напоминать о принципиальных основах журнального сотрудничества. «Подписываются или не подписываются критические и библиографические статьи в журнале,—писал Белинский по одному такому случаю,—это решительно все равно... Когда журналист (т. е. редактор)—человек без мнения, журнал его будет бесцветен и мертв, хотя бы его сотрудники и не подписывали под статьями своих имен. Когда же журналист знает свое дело,—статьи множества его сотрудников, с подписью их имен, всегда будут согласны с его мнением, потому что он не допустит до участия в своем журнале людей разномыслящих, о которых можно сказать: запели молодцы: кто в лес, кто по дрова!»¹.

Белинского возмущала либеральная мягкотелость, либеральная податливость некоторых идейно не чуждых ему литераторов, которые не считали зазорным публиковать свои произведения в журнальных органах враждебного лагеря. «Слышал я,—

¹ Белинский, т. X, стр. 162.

писал Белинский В. П. Боткину в апреле 1843 г.,—что Грановский дал Погодину статью: может быть он (Грановский) и хорошо сделал, только я этого не понимаю; впрочем, у всякого свой образ мыслей, и у нас в Петербурге многие литераторы не гнушаются печататься в «Пчеле» и «Маяке»—почему же московским гнушаться печататься в «Москвитянине»: ведь «Москвитянин» немногим чем глупее и подлее «Пчелы» и «Маяка»¹.

Вместе с тем, с другой стороны, Белинский решительно отвергал, по существу, вредную реакционную идею мирного соединения всех писателей, без различия их идеологических и творческих установок, под одной журнальной крышей. Он разоблачал болгаринскую версию относительно того, что в «Библиотеке для чтения» в середине 30-х годов было будто бы достигнуто такое единодушное сотрудничество. Белинский указывал, что рядом с журналом Сенковского существовали «Московский телеграф» Н. Полевого и «Телескоп» Надеждина, имевшие «своих постоянных сотрудников, которые не очень интересовались честью красоваться на страницах «Б. для Ч.» и что тогда же в противовес этой последней основался новый журнал «Московский наблюдатель», а затем и «Современник» Пушкина².

«Но теперь,—писал Белинский,—мысль о подобном соединении еще несбыточнее: теперь издается в России несколько журналов, соединяющих в себе труды одинаково мыслящих литераторов, которые не захотят сами участвовать в журнале, чуждом их убеждению; да если б и захотели, то для журнала от этого мало было бы прибыли, ибо из их соединенных трудов вышел бы престранный дивертисман»³.

На пути осуществления выдвинутого Белинским принципа идейного единомыслия, как основы журнального сотрудничества, стояли свои серьезные трудности, в частности и в особенности, новая тогда система денежного вознаграждения литературного труда. Белинский приветствовал гонорарный статут в литературе. Он считал его одним из прочнейших условий общей профессионализации писательского дела, что шло навстречу прогрессивным требованиям новой эпохи, подрывало «меценатство», «ребяческое литературничество», «диллетантизм»⁴.

Но Белинский не закрывал глаза на мрачные стороны, сопутствующие проникновению денег в область духовной куль-

¹ Белинский. Письма, т. II, стр. 361.

² Ср. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, стр. 68—69.

³ Белинский, т. VII, стр. 463.

⁴ Там же, т. IX, стр. 496—497. См. также т. VII, стр. 460; т. X, стр. 124 и др.

туры. Появляется «торгаш-литератор, готовый писать и за и против чего ни наймут его». Появляется беспринципное сотрудничество типа «Северная пчела» — «Сын отечества». Появляются писатели, которые «трудятся не для литературы, не для искусства, не для общества, а только для своих житейских выгод»¹. В этих буржуазных нравах «купли-продажи» Белинский видел прозную опасность для искусства, для журналистики. «Деньги поддерживают литературу,—писал он,—но не создают ее: иначе, литература была бы слишком пошлым явлением в жизни. Источник литературы—дух, гений, разум, историческое положение общества»...².

Единство убеждений, а не своекорыстный приобретательский расчет—вот, что должно быть фундаментом журнального сотрудничества. В ответ на зазывающие посулы «журнальных промышленников», отстаивавших тот взгляд, что литератор волен помещать свои произведения в любом журнале, где ему хорошо платят, Белинский писал: «Не все же русские литераторы готовы с аукциона продавать свою деятельность, или для денег дробить и растягивать ее на несколько журналов»³. «Литератор с убеждением никогда не изменит... ради денег»⁴.

В деле поддержания чистоты направления демократического журнала, успешного организационного обеспечения его издания Белинский отводил большую роль редактору. Белинский хорошо знал редакционную деятельность видных журналистов своего времени—Н. Полевого, Сенковского, Погодина, Греча, Краевского и др.

По Белинскому, редактор—обычно видное лицо в литературе—должен быть прежде всего человеком принципа, убеждения. Его неизменным правилом должен быть взгляд, что «истина не такая безделица, которою можно было бы жертвовать условным приличиям и приятным отношениям»⁵. Редактор—это человек со «вкусом, познаниями, талантом публициста, светлостью мысли и огнем слова, деятельный, весь преданный журналу, потому что журнал также, как искусство и наука, требуют всего человека без раздела и без измен себе; надобно, чтобы этот человек умел возбудить общее участие к своему журналу, завоевать в свою пользу общественное мнение, наделать себе тысячи читателей...»⁶.

Каждое слово, каждую черту этой замечательной характе-

¹ Белинский, т. X, стр. 481.

² Там же, т. VII, стр. 461.

³ Там же, т. VII, стр. 463.

⁴ Там же, т. IX, стр. 329.

⁵ Там же, т. X, стр. 326.

⁶ Там же, т. II, стр. 474.

ристики журналиста, редактора должно, конечно, прежде всего отнести к самому Белинскому. В мрачное николаевское лихолетье он был страстным, убежденным пропагандистом демократических идей, революционным трибуном, до конца преданным идеалам освободительной борьбы.

Еще в 1841 году Белинский писал Боткину: «Мы живем в страшное время,—судьба налагает на нас сжиму, мы должны страдать, чтобы нашим внукам было легче жить... Я литератор—говорю это с болезненным и вместе радостным и гордым убеждением. Литературе расейской моя жизнь и моя кровь».

Образцовым редактором Белинский считал Н. Полевого в годы его работы в «Московском телеграфе». В каждую книгу своего журнала он, по словам Белинского, вкладывал большой труд, он «постиг вполне значение журнала, как зеркала современности», не допускал балласта, не раболепствовал перед громкими литературными авторитетами, вел журнал смело, свободно, независимо, строго выдерживая раз принятое направление¹.

О других известных журналистах-редакторах Белинский был невысокого мнения. Невежество, продажность, холопство Булгарина были предметом постоянных насмешек критика. Белинский не одобрял редакторских приемов Сенковского, его бесцеремонное вмешательство в авторский текст, его падающую подстрижку произведений сотрудников под один слог и т. п., он возмущался тем, что Сенковский помещал в своем журнале рекламные «приятельские статейки»².

О Краевском—редакторе Белинский отзывался: «Ни ума, ни таланта, ни убеждения..., ни знания, ни образованности—и издает журнал, бывший лучшим русским журналом... Какой-нибудь Погодин, на которого он всех больше похож по бесстыдству, наглости и скаредной скупости, что-нибудь знает, имеет убеждения, хотя и гнусные, что-нибудь сделал»³.

Нам теперь хорошо известно, что не Краевскому, а Белинскому были обязаны своим успехом «Отечественные записки». Белинский как мог нейтрализовал буржуазно-дворянскую политику Краевского, стремившегося превратить журнал в доходное капиталистическое предприятие. Белинский вел яростную борьбу с цензурой, с подлыми агентами правительства в литературе—булгаринской «Северной пчелой» и прочей репутительной прессой.

С замечательной последовательностью и организаторским

¹ Белинский, т. X, стр. 330.

² Там же, т. VI, стр. 220; см. также т. III, стр. 30, 483; т. IV, стр. 265; т. V, стр. 100.

³ Белинский. Письма, т. III, стр. 286.

талантом Белинский-редактор обеспечивал активное участие в «Отечественных записках» передовых ученых и литераторов России.

Белинский умел воспитывать основные кадры сотрудников журнала в принципах идейного единства, в духе демократической партийности и верности общественному направлению журнала, его программе.

Журнал, говорил Белинский, не «пансионная тетрадка, в которой мальчики пробуют свои перья», он также и не «богадельня» и не касса для нуждающихся¹. Все, что ни публикуется в журнале, все должно выражать его направление, отвечать его программе. В письме к В. П. Боткину Белинский заявлял: «Ты говоришь, что стихи не обязаны выражать дух журнала, а я говорю: в таком случае и журнал не обязан печатать стихов. Из уст журнала не должно исходить слово праздно. Таково мое мнение. Журналист делает преступление, помещая в своем журнале статью, в помещении которой не может дать отчета. Балласт—это гибель журнала»².

Белинский зло смеялся над незадачливым редактором «Репертуара», который печатал в журнале такие несогласные с его направлением статьи, что многие утверждения их приходилось чуть ли ни на каждой странице оговаривать специальными примечаниями от редакции. «Так зачем же было помещать все это? — Верно, затем, — иронизировал Белинский, — что ваше издание есть корзина, в которую каждый может бросать все, что ему вздумается»³.

Белинский вменял в обязанность редактора исправлять статьи или не принимать их к опубликованию, если они не соответствуют духу журнала.

Замечательно, что Чернышевский, специально изучивший содержание соответствующих номеров «Телескопа» и «Московского наблюдателя» за время, когда во главе этих журналов стоял Белинский, поражался единству, цельному и характерному направлению этих органов. Это был результат редакторских усилий Белинского. «Московский наблюдатель»,—писал Чернышевский,—первый журнал, в котором мысль и поэзия гармонируют между собой, и в литературном отделе которого постоянно ограждаются сознательные стремления. Это первый в ряду таких журналов, какие имеем мы теперь, в которых поэзия, беллетристика и критика согласно идут к одной цели, поддерживая друг друга»⁴.

¹ Белинский, т. VII, стр. 229.

² Белинский. Письма, т. III, стр. 162.

³ Белинский, т. VII, стр. 132.

⁴ Н. Г. Чернышевский, т. III, стр. 201.

В примечании к статье «Разделение поэзии на роды и виды» (1841 г.) Белинский набросал план задуманной им книги «Теоретический и практический курс русской литературы». В нем критик собирался дать «свод своих идей об изящном и о русской литературе»¹. «Будет обращено полное внимание,—писал Белинский,—и на историю всех повременных изданий, имевших большее или меньшее, хорошее или вредное влияние на литературу и пользовавшихся заслуженной или незаслуженной известностью,—от начала журналистики до «Московского журнала» и «Вестника Европы» Карамзина, а от них до настоящего времени включительно»².

Некоторое время Белинский интенсивно работал над своим «Курсом». Так в конце 1842 г. он сообщал, что «перерывает старые журналы», ищет в них «материалов для составления полной истории русской литературы и русской журналистики»³.

По ряду причин Белинскому не удалось осуществить свое намерение. Историю журналистики он не написал. Но в разных статьях он оставил подробные отзывы о важнейших журналах прошлого и о современных изданиях. Изучение этих отзывов, заметок, характеристик открывает интересные дополнительные данные, подкрепляющие важнейшие положения революционной теории журнализма Белинского.

Начало «повременных изданий» Белинский относил к петровской эпохе, оценив их появление как выдающееся событие в истории русской культуры. В работах Белинского упоминается журналистика 1769—74 гг., Новиков аттестуется «одним из замечательнейших и умнейших людей екатерининских времен»⁴. Попутно также называются сумароковская «Трудолюбивая пчела»⁵, сатирические журналы, в которых сотрудничал И. А. Крылов⁶.

Но настоящий толчок журнальному делу в России, как справедливо заявил Белинский, был дан Карамзиным. «До Карамзина у нас были периодические издания, но не было ни одного журнала: он первый дал нам его. Его «Московский журнал» и «Вестник Европы» были для своего времени явлениями удивительными и огромными, особенно, если сравнить их не только с бывшими до них, но и с бывшими после них на Руси журналами, до самого «Московского телеграфа»... Какое разнообразие, какая свежесть, какой такт в выборе статей, какое умное, живое передавание политических новостей, столь инте-

¹ Белинский, т. VI, стр. 63.

² Там же, т. VI, стр. 64.

³ Там же, т. VII, стр. 465.

⁴ Там же, т. XI, стр. 197; т. X, стр. 161.

⁵ Там же, т. VII, стр. 365.

⁶ Там же, т. XII, стр. 505.

ресных в то время! Какая, по тому времени, умная и ловкая критика!»¹. В другом месте Белинский писал: «В своем «Московском журнале», а потом в «Вестнике Европы» Карамзин первый дал публике истинно журнальное чтение, где все соответствовало одно другому: выбор пьес—их слогу, оригинальные пьесы—переводным, современность и разнообразие интересов—умению передать их занимательно и живо, и где были не только образцы легкого, светского чтения, но и образцы литературной критики, и образцы умения следить за современными политическими событиями и передавать их увлекательно»². И, наконец, еще одна выдержка из статьи Белинского «Сочинения Александра Пушкина»: «Своим журналом, своими статьями о разных предметах и повестями он (Карамзин) распространял в русском обществе познания, образованность, вкус и охоту к чтению»³.

Таковы исторические заслуги Карамзина-журналиста. В данном случае важно подчеркнуть, что Белинский в свет своей теории журнализма особо выделил, во-первых, тесную связь журналов Карамзина с современностью, художественной и политической; во-вторых, наличие в них критического отдела, который, по словам Белинского, даже «деспотически» управлял «литературными мнениями»⁴; в третьих, широкую просветительски-образовательную функцию журналов, которые создали «русскую публику», «известный круг читателей».

Следующей крупной вехой в истории русской журналистики Белинский считал «Московский телеграф» Н. Полевого.

После 1812 г., когда «увенчанная славою Россия,—писал Белинский,—начала отдыхать от своих побед и торжеств и процветать миром в «гордом и полном доверия покое», наши обветшалые и заплесневелые журналы того времени и патриарх их, «Вестник Европы», начали терять свое влияние и перестали, с своими запоздалыми идеями, быть оракулами читающей публики»⁵.

«В начале 20-х годов,—писал в другом месте Белинский,—«Вестник Европы» был идеалом мертвенности, сухости, скуки и какой-то старческой заплесневелости. О других журналах не стоит и говорить: иные из них были, сравнительно, лучше «Вестника Европы», но не как журналы с мнением и направлением, а только как сборники разных статей. «Сын отечества» даже принимал на свои, до крайности серые и жесткие,

¹ Белинский, т. X, стр. 316.

² Там же, т. XI, стр. 219.

³ Там же, т. XI, стр. 208; также т. IX, стр. 482; т. XI, стр. 213.

⁴ Там же, т. I, стр. 379.

⁵ Там же, т. XI, стр. 335; т. X, стр. 320.

листки стихотворения Пушкина, Баратынского и других поэтов новой тогда школы, даже открыто взял на себя обязанность защищать эту школу; но тем не менее сам он представлял собою смесь старого с новым и отсутствие всяких начал, всего, что похоже на определенное и ни в чем не противоречащее себе мнение»¹.

Белинский специально изучал наиболее видные периодические издания первых двух десятилетий XIX века. Его внимание привлекали журналы, в которых сказывался дух оппозиции к старому и поиски нового. Он дважды упоминает орган дворянских конституционалистов «Дух журналов»², цитирует сатирические произведения из журнала А. Измайлова «Благонамеренный»³ и П. Строева «Современный наблюдатель российской словесности»⁴.

В числе литературных органов нового романтического направления, предшествовавших журналу Н. Полевого, фигурирует прямо не названная Белинским «Полярная звезда» К. Рылеева — «известный тогда альманах»⁵. Сочувственно в этой же связи упоминается и «Мнемозина» В. Кюхельбекера и Вл. Одоевского. В ответ на иронические замечания Булгарина об этом органе Белинский писал: «Г. Булгарин называет наш журнал (т. е. «Московский наблюдатель») продолжением «Мнемозины»... мы принимаем это обвинение за комплимент», это был журнал «искусства и знания», «мысли и логики»⁶.

Но все же, как об этом подробно шла речь выше, Белинский не находил настоящего развития журнализма в этом «наводнении альманахов», «приятельских журналов», «сборников», «листочков»⁷. «И... только с появления «Московского телеграфа», — писал Белинский, — начинается период настоящей журнальной деятельности»⁸.

Журнал Н. Полевого «с первой же книжки изумляет всех живостью, свежестью, новостью, разнообразием, вкусом, хорошим языком, наконец, верностью в каждой строке однажды принятому и резко выразившемуся направлению. Такой журнал не мог бы не быть замеченным и в толпе хороших журналов, но среди мертвой, вялой, бесцветной, жалкой журналистики того времени, он был изумительным явлением»⁹.

¹ Белинский, т. X, стр. 321.

² Там же, т. III, стр. 24; т. XI, стр. 330.

³ Там же, т. VII, стр. 210; т. VIII, стр. 277.

⁴ Там же, т. XI, стр. 328.

⁵ Там же, т. X, стр. 321.

⁶ Там же, т. III, стр. 376.

⁷ Там же, т. VII, стр. 473.

⁸ Там же, т. IX, стр. 482.

⁹ Там же, т. X, стр. 324.

Правда, в статье «Сочинения А. Марлинского» Белинский критически резко задел Полевого и его журнал, заявив, что «Телеграф» «во все время своего существования ни на одну иоту не сказал больше сказанного Марлинским». Но это замечание было брошено в пылу полемической борьбы с эпигонами романтизма, стремившимися опереться на авторитет Полевого и его журнала. Белинский больше никогда не повторял этого заявления.

Наоборот, Белинский ценил «Московский телеграф» за смелый «либеральный» курс, за то, что этот журнал стал знаменем передового «умственного движения своей эпохи», что высказывал он «свои мнения прямо», что он с достоинством и твердостью вел борьбу с общественным и литературным «староверством»¹.

Но к 1832—34 гг. журнал Полевого стал явно обнаруживать признаки отставания, «коснения». Буржуазно ограниченный Полевой не понял нового движения литературы к действительности, ее реализма, он не принял зрелые творческие достижения Пушкина, Гоголя².

Лидерство в русской журналистике перешло к «Отечественным запискам», а затем к «Современнику». Белинский не отрицал крупной роли «Библиотеки для чтения» в истории русской журналистики. Этот журнал сделал, по словам критика, своеобразный «переворот в русской литературе»: он ввел систематическую оплату литературного труда, утвердил форму «толстого журнала», «наделал много читателей»³. Это все способствовало профессионализации литературного дела. Но «Библиотека для чтения» не стала прогрессивным журнальным органом⁴.

В современной русской и зарубежной журналистике Белинский увидел опасное распространение особого типа журнала, вызванного к жизни торгашескими нравами буржуазной цивилизации, журнала беспринципного, приноравливающегося к грубым вкусам привилегированной «черни», «толпы» — дикого «степного помещика», преуспевающего купца, департаментского чиновника, николаевского офицера-службиста, реакционного церковника. На западе — это журналы, снискивающие славу Менцелям, в России — это «Северная пчела», это «темный

¹ Белинский, т. X, стр. 325—330; см. также Белинский. Письма, т. II, стр. 43.

² Там же, т. X, стр. 331.

³ Там же, т. II, стр. 379; т. IV, стр. 213; т. IX, стр. 449; т. X, стр. 124 и пр.

⁴ В книге В. А. Каверина «Барон Брамбеус», Л., 1929 г., сделана неудачная и по существу неправильная попытка оценить журнальную позицию Сенковского как прогрессивную. См. также кн. «Словесность и коммерция», М., 1929 г., стр. 338.

журнал» «Маяк», это «Библиотека для чтения» «барона Брамбеуса», похожая на «горластую», наглуую, зазывающую к себе покупателей, «лавку»¹.

В справедливой, пророческой характеристике Белинского родовыми чертами буржуазного журнала являются пошлая «посредственность», «эмпиризм», затхлые «рутинные понятия» и литературное барышничество.

«Библиотека для чтения» поднимает на щит благонамеренный «опыт», филистерскую «положительность», традиционную умеренность, считая опасным уклонением всякую свежую критическую мысль². «Для уловления толпы» этот пошлый журнал помещает «забавные» статьи, утверждающие, что «в искусстве хорошо то, что вам нравится, и худо то, что вам не доставляет удовольствия»³. «Библиотека для чтения» преследует истинный талант и «раздает венцы и бессмертие людям бездарным». Критический отдел здесь превращается в «рыночную площадь продажных похвал и браней»⁴.

Стремясь во что бы то ни стало «озадачить» читателя, «съоригинальничать», «Библиотека для чтения» потешается над великими мыслителями, «плоско острит» над их высокими идеями, цинично, шарлатански «выворачивает... на изнанку» мысли и факты, отыскивая «эгоизм в самопожертвовании, заблуждение в истине, глупость и тщеславие в добродетели»⁵. Пустым анекдотизмом, «лакейским остроумием», порнографическим балагурством выпачканы многие страницы этого пухлого издания. Журнал пичкает читателя «паясническими повестями», «безвкусными изделиями харчевных поваров вроде господина Александра Дюма с братией»⁶. На потребу обывателю этот журнал к «Отцу Горио» Бальзака приделывает новое «пошло-счастливое окончание, делая Растиньяка миллионером»⁷. Все здесь рассчитано на то, чтобы «заманить» подписчика, оглушить его «поддельным патриотизмом» и вместе с тем угодить ему «площадными эффектами» и «приторной сентиментальностью»⁸. Во главе такого журнала стоят «книжные спекулянты», которые прежде всего хлопочут о выгоде, о наживе. В адрес этих «журнальных приобретателей» Белинский посылал сатирическое четверостишие:

Мне в глаза наплюй,
По щекам отдуй,

¹ Белинский, т. II, стр. 350.

² Там же, т. II, стр. 513; т. IV, стр. 216; т. VIII, стр. 29.

³ Там же, т. IV, стр. 451—453.

⁴ Там же, т. III, стр. 59; т. IV, стр. 220.

⁵ Там же, т. VII, стр. 422; т. VIII, стр. 119.

⁶ Там же, т. X, стр. 480.

⁷ Там же, т. II, стр. 366.

⁸ Там же, т. X, стр. 481.

По лицу трезвонь —
Лишь карман не тронь¹.

Особенно много таких изданий, утверждал Белинский, в «журнальном мире Западной Европы». Во Франции и Англии, где «журналы издаются на акциях, капиталистами», есть свои «Библиотеки для чтения», как и свои Чичиковы—«только в другом платье... Они не скупают мертвых душ, а подкупают живые души на свободных парламентских выборах»².

В немногих словах Белинский вскрывает величайшую беспринципность реакционной буржуазной журналистики, господство в ней отвратительных понятий и нравов, продиктованных законами чистогана. «Как известно,—писал Белинский,—там, (т. е. в Европе) журнал может существовать и держаться только мнением, и потому там стараются иметь литературное или политическое мнение даже такие люди, которые способны иметь только кухонное или туалетное мнение. Многие с умыслом хватаются за какую-нибудь явную нелепость и всеми силами поддерживают ее, вопреки приличию, нравственности и здравому смыслу, чтоб только казаться людьми с мнением»³. И вот такие и подобные им «бессовестные промышленники», «торгаши мнений», «продавцы лжи»,—заключает критик,—издают журналы и приобретают вес в обществе.

В противоположность «Библиотеке для чтения» совсем другой тип журнала представляли собой «Отечественные записки», какими были они в 1840—46 гг., и в особенности «Современник». Замечательно яркую характеристику «Отечественных записок» Белинский дал в одном из писем к Н. В. Гоголю. «Очень жалею, — писал Белинский в апреле 1842 г.,—что «Москвитянин» взял у Вас все, и что для «Отечественных записок» нет у Вас ничего. Я уверен, что это дело судьбы, а не Вашей доброй воли—или вашего исключительного расположения в пользу «Москвитянина» и к невыгоде «Отечественных записок». Судьба же давно играет странную роль в отношении ко всему, что есть порядочного в русской литературе: она лишает ума Батюшкова, жизни Грибоедова, Пушкина и Лермонтова—и оставляет в добром здравии Булгарина, Греча и других подобных негодяев в Петербурге и Москве; она украшает «Москвитянин» вашими сочинениями и лишает их «Отечественные записки». Я не так самолюбив, чтобы считать «Отечественные записки» чем-то соответствующим таким великим явлениям в русской литературе, как Грибоедов, Пушкин и Лермонтов; но я далек и от ложной скромности бояться ска-

¹ Белинский, т. III, стр. 31.

² Там же, т. VII, стр. 334.

³ Там же, т. IX, стр. 394—395.

зять, что «Отечественные записки» теперь **единственный** журнал на Руси, в котором находит себе место и убежище честное, благородное и—смею думать—умное мнение, и что «Отечественные записки» ни в коем случае не могут быть смешиваемы с холопами знаменитого села Поречья»¹.

В заслугу журнала Белинский ставил прямую, опирающуюся на принципиальные начала, критику. «Отечественные записки» стали выразителем передового реалистического направления в литературе, духовным руководителем писателей «гоголевской школы». «Только в «Отечественных записках» видно живое стремление к мысли, к идее, живая любовь к истине, живое участие к судьбе русской литературы, и гордое отчуждение от всякого рода нелитературных интересов... Если бы еще не «Отечественные записки», то современная русская литература действительно представляла бы собой апотеоз жалкой посредственности»².

Подробно информируя в годовых обзорах о том, что было напечатано в журнале, Белинский утверждал, что «Отечественные записки» превратились в собирателя передовых общественно-литературных сил России и что даже враги признают за ними «огромное влияние на мнение публики»³. В этом немалая заслуга принадлежала самому Белинскому, как о том свидетельствуют современники.

«Статьи Белинского,—писал Герцен в «Былом и думах»,—судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли «Отечественные записки», тяжелый номер рвали из рук в руки. «Есть Белинского статья?»—«Есть»,—и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами.... и трех-четырех верований, уважений уже не бывало».

Как это видно из сравнительных оценок «Библиотеки для чтения» и «Отечественных записок», Белинский рассматривал эти журналы как два принципиально различных типа русской периодической печати. Если за «Отечественными записками» стоял положительный опыт многих передовых русских журналов с их активным стремлением идти в ногу с прогрессивными идеями века, то «Библиотека для чтения», имеющая предшественников и союзников в лице казенно-рептильных изданий Булгарина и Греча, выступила в совсем иной роли. Этот орган стал зачинателем той линии дворянско-буржуазной журналистики, реакционные традиции которой (беспринцип-

¹ Белинский. Письма, т. II, стр. 308.

² Белинский, т. V, стр. 240—241; т. VII, стр. 416, 508; т. VIII, стр. 48; т. X, стр. 19.

³ Белинский. Письма, т. III, стр. 88—89.

ность, приспособленчество, барышничество) будут продолжены позже Сувориным. На Западе этот тип периодических изданий неизменно процветал и процветает поныне, представленный херстами и иже с ними.

Однако, при всем значении «Отечественных записок» в истории прогрессивной русской журналистики, все же не этому органу суждено было стать первым журналом эпохи крестьянской демократии. Эта честь выпала на долю «Современника», в котором с наибольшей полнотой и последовательностью была реализована революционно-демократическая журнальная концепция Белинского.

6.

2 января 1846 г. Белинский писал Герцену о своем решении оставить «Отечественные записки». «Это желание,—заявлял критик,—давно уже было моей *idée fixe*... В журнале его (Краевского) я играю теперь довольно последнюю роль: ругаю Булгарина, этой самою бранью намекая, что Краевский—прекрасный человек, герой добродетели»¹.

Разрыв Белинского с «Отечественными записками» был вызван не только тяжелым материальным положением критика в этом журнале. Краевский по политическим, охранительным соображениям стремился свести на нет руководящее значение Белинского в журнале, как человека беспокойного и его изданию «опасного»².

«Он дает мне,—писал Белинский Герцену 14 января 1846 г.,—разбирать немецкие, латинские, французские буквари, грамматики; недавно я писал об итальянской грамматике. Все это не потому только, чтобы ему жаль было платить другим за такие рецензии, кроме платы мне, но и потому, чтобы заставить меня забыть, что я закваска, соль, дух и жизнь его лухлого, водяного журнала»...³. В одном из писем этого времени Белинский гневно заявлял: «Какая сволочь начала лезть в «Отечественные записки»! Великий критик со свойственной ему общественной чуткостью и проницательностью заметил, что «Отечественные записки» перестали удовлетворять идейно возросшие требования развивающегося в стране демократического движения и его участников. «Отечественные записки» уже стары,—писал Белинский Герцену,—и в них я сам стар, потому что, наладившись раз, как-то против моей воли, иду одною и тою же походкой. Я связан с этим журналом своего рода преданием: привык щадить людей, важных только для него,

¹ Белинский. Письма, т. III, стр. 88—89.

² Там же, стр. 105.

³ Там же, стр. 95.

и вообще держаться тона не всегда моего, а часто тона журнала... Поверь мне, что все мы в новом журнале будем те же, да не те, и новый журнал не будет «Отечественными записками» не по одному имени. Я надеюсь, что буду издавать журнал»¹.

Белинский вынашивал план учреждения нового журнального органа, который бы стал подлинным духовным руководителем демократических сил России. Белинский ощутил острую нужду в журнале, способном широко и смело обнародовать новые достижения, новые успехи русской материалистической и социалистической мысли, способном идти во главе освободительной борьбы в период подъема революционной энергии и революционных устремлений.

Приобретение Некрасовым и Панаевым журнала «Современник» открыло великому критику возможность осуществить свой план.

В «Современнике» Белинский последовательно опубликовал свои крупнейшие статьи 1846—1848 гг.—«Взгляд на русскую литературу 1846 года», «Выбранные места из переписки с друзьями Н. Гоголя», «Ответ «Москвитянину», «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Все эти работы идейно объединены и обусловлены той революционно-демократической системой взглядов, которая с наибольшей отчетливостью высказана критиком в знаменитом «Письме к Гоголю», подводившем, по словам В. И. Ленина, «итог литературной деятельности Белинского»².

Названные выше статьи Белинского, в том числе и в особенности «Письмо к Гоголю», по существу явились программными, поскольку они определяли и раскрывали революционно-демократическое направление журнала «Современник». Белинский получил в свои руки журнальный орган, который он постарался сделать трибуной философского материализма, собирателем и организатором прогрессивных сил в литературе и науке, деятельным пропагандистом и проводником революционной программы преобразования страны, задавленной крепостниками и абсолютизмом. Каждой своей статьей, помещенной в «Современнике», каждой строкой своих писем, написанных в этот период, Белинский упорно воевал с реакционной и либеральной идеологией, решительно объявлял себя «гордо и убежденно нетерпимым», с ненавистью относился ко всем компромиссам. Он горячо и смело создавал свои огромной силы и проницательности революционные обобщения и прогнозы ближайших исторических судеб русского народа. Этот факт уже сам по себе свидетельствует о том, каким общественно боевым,

¹ Белинский. Письма, т. III, стр. 110.

² В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 20, стр. 223.

по-настоящему партийным журналом хотел сделать критик «Современник» и действительно сделал его.

В этой связи необходимо отметить, как принципиально неправильные суждения автора монографии «Современник» в 40—50 гг.» о том, что «Белинский в течение краткого периода своего руководящего участия в «Современнике» обнаружил тенденцию эволюционировать скорее направо, чем налево», что «Белинский конца 1847 и начала 1848 г. несколько отошел от позиций революционного демократизма, на которых он стоял с 1841 по 1846 г.» и что «направление «Современника» в эти годы было бы ошибочно характеризовать с помощью этого термина» и что, наконец, «и Белинский рассматриваемого периода, и большинство сотрудников «Современника», и самый «Современник» в целом верили в возможность мирного обновления русской жизни с помощью идущих сверху буржуазных реформ»¹.

В значительной мере эти выводы основаны на слишком узком, одностороннем и потому ошибочном понимании общественной программы, сформулированной автором «Письма к Гоголю» в известных словах: «самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть»².

Это заявление Белинского нельзя, невозможно сводить к «вопросу о реформах», как совершенно правильно заметил Д. Заславский³.

Не говоря уже о том, что Белинский возможный правительственный реформизм в крестьянском вопросе рассматривал как акт в высшей степени вынужденный, самый негодующий тон письма, беспощадная по своей резкости характеристика России, которая «представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми», где «есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей!», суровое разоблачение мистики и религии, энергичные призывы к передовым писателям бороться за полное освобождение народа от духовного, экономического и политического гнета крепостников и самодержавия—все это и многое другое в «Письме» Белинского служило утверждению идеи революционной ликвидации старого феодального порядка.

Отвечая веховцам, злобно нападавшим на революционный демократизм Белинского, Ленин писал: «Или, может быть, по

¹ В. Евгеньев-Максимов. «Современник» в 40—50 гг., Л., 1934, стр. 126—127.

² В. Г. Белинский. Собр. соч. в 3 томах. М., 1948, т. III, стр. 708.

³ Д. Заславский. К вопросу о политическом завещании Белинского, «Литературное наследство», том 55, М., 1948.

мнению наших умных и образованных авторов, настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян? История нашей публицистики не зависела от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета?»¹.

Страстная революционная публицистика Белинского в «Современнике» питалась великим возмущением народных масс, ненавидевших палаческий крепостнический режим.

В своих программных статьях в «Современнике», определявших направление журнала, Белинский с величайшей силой обрушился на реакционное славянофильство, на официальную и неофициальную идеологию, защищавшую «православие, самодержавие и народность». Огромный вред славянофильских разглагольствований Белинский видел в том, что лежащая в их основе помещичья реакционная политика застоя маскировалась выспренними, внешне демократическими заявлениями о национальной самобытности русского народа, кликушеским голошением о том, что они, славянофилы, «больше других знают и любят русский народ»².

Критик-демократ, разоблачая эту маскировку апологетов крепостничества, зло высмеивал их народные повести и стихи, в которых виден «барин, неловко костюмировавшийся крестьянином»³, «барич, который изучал народ через своего камердинера и думает, что любит его больше других, потому что сочинил или принял на веру готовую о нем мистическую теорию»⁴.

С другой стороны, Белинский, стоявший на позициях революционно-демократического патриотизма, нанес ряд сокрушительных ударов по космополитическим идеям либералов-западников, пренебрежительно относившихся к России и русскому народу, преклонявшихся перед европейской буржуазной цивилизацией. «Пора нам перестать,—писал Белинский,—восхищаться европейским только потому, что оно не азиатское, но любить, уважать его, стремиться к нему потому только, что оно человеческое»⁵.

Белинский верил в могучие творческие силы русского народа—«одного из способнейших и даровитейших народов в мире».

«Нам, русским,—заявлял критик,—нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении: из всех славянских племен только мы сложились в крепкое и могучее

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 16, стр. 108.

² В. Г. Белинский, Собр. соч. т. III, стр. 755.

³ Там же, стр. 754.

⁴ Там же, стр. 758.

⁵ Там же, стр. 653.

государство...Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль»¹.

Видя в народе решающую силу прогресса, Белинский стремился и всей своей деятельностью, и многообразной деятельностью влиятельного «Современника» в целом поддержать демократические элементы русского общества, раскрыть подлинно революционную роль народа в истории. Белинский и «Современник» боролись за то, чтобы разжечь революционную энергию в народе.

Таким образом, идея революционного патриотизма—центральный пункт общественной программы «Современника», душа его направления как журнального органа. Все заботы Белинского—идейного руководителя «Современника», его организатора и редактора сводились к тому, чтобы отстоять теоретические основы революционно-демократического патриотизма, распространять его принципы на все области научного и литературного творчества. Именно под этим углом зрения Белинский провел в журнале блестящую защиту «натуральной школы», ее самобытности, ее критического реализма, ее демократизма, ее активной обращенности к самым сложным, к самым острым социальным проблемам современности.

То новое, революционно-демократическое направление, которое придал «Современнику» Белинский, естественно, обязывало его усовершенствовать редакционное руководство журналом, по-новому сконструировать его важнейшие отделы и таким образом организовать сотрудничество идейно близких писателей и публицистов, чтобы обеспечить цельность, единство своего органа. Все это было совсем нелегким делом. Журнал Белинского подвергался грубому цензурному нажиму властей. Об одной из важнейших своих статей этого времени—«Ответ «Москвитянину»»—Белинский писал: «Она искажена цензурою варварски»². Не только сохранилось во всей своей отвратительной силе, но еще больше стало нестерпимым то положение, которое критик с великой горечью охарактеризовал в письме к Герцену в 1845 году: «Ведь я попрежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и как я думаю. А чорт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать?—мертвый капитал!»³.

Политические враги Белинского от Булгарина до Ю. Самарина и других из славянофильского лагеря пытались дискредитировать «Современник», обвиняя его «в односторонности и тесноте образа мыслей»⁴. Эти заявления принимали порой характер просто на просто доноса.

¹ В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 654—655.

² В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 298.

³ Там же, стр. 87.

⁴ «Москвитянин», 1847, ч. 2-я. стр. 135.

Тяжело складывались для Белинского и внутриредакционные отношения. Официальным редактором «Современника» был умеренный либерал Никитенко. Белинский и его кружок вынуждены были пойти на эту меру, чтоб гарантировать журнал от полицейских случайностей. Между тем, внутренняя цензура Никитенко давала себя чувствовать. Об этом писал Белинский В. П. Боткину в феврале 1847 г.: «Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошею, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству... Эффект этой книги был таков, что Никитенко, ее пропустивший, вычеркнул у меня часть выписок из книги, да еще дрожал и за то, что оставил в моей статье. Моего он и цензура вычеркнули целую треть, а в статье обдуманной пометка слова—важное дело»¹.

Статьи Белинского так ярко контрастировали с умеренными писаниями Никитенко, что этим обстоятельством незамедлительно воспользовались враги «Современника», обвиняя журнал в отсутствии «единства направления»².

Белинскому приходилось защищаться. «Журналов у нас немного,—писал он,—но все-таки больше, нежели сколько есть у нас людей, способных своими трудами поддерживать журналы. У нас большое счастье для журнала, если он успевает соединить труды нескольких людей и с талантом, и с образом мыслей, если не совершенно тождественным, то по крайней мере не расходящимся в главных и общих положениях... Лишь бы журнал имел общий характер, так что с его представлением в уме всякого соединилось бы известное направление: этого для него пока совершенно достаточно, чтобы быть ему хорошим журналом»³.

Белинский давал тон журналу, его статьи определяли его общий характер. Что касается Никитенко, то его в общем немногочисленные журнальные выступления никак не делали погоды. Тем не менее Белинский, как об этом будет сказано ниже, все делал для того, чтобы уже без оговорок, полностью и последовательно осуществить в «Современнике» свой революционно-демократический идеал журнала, отличающегося идейной монолитностью и цельностью⁴. На этом пути его подстерегало серьезное препятствие.

¹ В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 185.

² «Москвитянин», 1847 г., ч. 2-я, стр. 135.

³ Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 730—731.

⁴—Белинский писал Боткину в апреле 1847 г.: «О, если бы мне только ожить,—да лишь бы московские друзья наши не охладели в своей решимости поддержать «Современник» — осенью же нынешнюю это был бы журнал, именно такой, какого в наше время нужно!» (Письма, т. III, стр. 207).

Воспользовавшись как поводом теми недоразумениями чисто формального порядка, которые сопутствовали вхождению Белинского в редакцию «Современника», либеральные «друзья-враги» критика—Боткин, Кавелин, Грановский и др. отказались от обязательного сотрудничества в «Современнике», пожелали помещать свои статьи и в журнале Белинского и в «Отечественных записках» Краевского. Известно, как бурно реагировал на это Белинский в своих письмах¹. Скоро он, впрочем, понял, что «московские друзья», устраивая обструкцию Некрасову, не столько вдохновлялись защитой его самого от будто бы меркантильных притеснений Некрасова, сколько выражали свое несогласие с тем новым направлением, которое принял «Современник».

Либералы-западники ни в коей мере не сочувствовали Белинскому в той борьбе, которую он повел на страницах «Современника» с космополитическими взглядами В. Майкова. Больше того, они охотно подхватили клеветническую версию о примирении «Современника» со славянофилами. Откликаясь на эти враждебные толки, Белинский писал Боткину в январе 1847 г.: «Какой ожесточенный и хитрый враг «Современника»—Краевский или Булгарин,—уверил вас всех, будто в отделе наук и художеств постановили мы непременно законом помещать только статьи русские, касающиеся России и писанные людьми, могущими доказать неоспоримо свое русское происхождение по крайней мере двадцатью четырьмя коленами?»². В сущности, под лозунгом мнимого славянофильства Белинского, либералы-западники стремились опорочить революционный патриотизм критика-демократа, поднявшего «Современник» на борьбу за самобытную передовую русскую культуру и литературу против раболепного преклонения перед буржуазной Европой³.

Как известно, по ряду организационно-практических соображений и в интересах самого же Белинского, а также заботясь об упрочении финансового положения журнала в будущем, Некрасов отказался от мысли официально вводить критика в число издателей «Современника». Однако эта мера не только не устраняла Белинского от руководящей роли в издании журнала, но, напротив того, усиливала его значение в этом смысле, так как при достаточном материальном обеспечении критика ему открывался полный простор и свобода

¹ В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 178 и др.

² Там же, т. III, стр. 160.

³ Ср. в письме Белинского к И. С. Тургеневу от 19 февраля 1847 г.—«выдумал он (Кавелин), что по 2 № «Современника» видно, что этот журнал положительно подлый, и указал на две мои статьи, которые он считает принадлежащими Некрасову». (Письма, т. III, стр. 178).

действий в отношении идейного руководства «Современником», в отношении редакционной организации его деятельности. Достаточно перечитать письма и статьи Белинского 1847 — 1848 гг., чтобы сразу уяснить истинное положение критика в «Современнике». Его место в журнале—это место хозяина, авторитетного редактора, а не просто влиятельного и талантливого сотрудника.

Выдвинутая Белинским демократическая программа «Современника» потребовала конструктивных изменений главнейших отделов журнала («Словесность», «Критика и библиография», «Науки и художества») и коренного улучшения редакционного руководства. С тем и другим Белинский блестяще справился, несмотря на болезнь, несмотря на цензурные и иные трудности, о которых шла речь выше. И «Современник» Белинского не только по названию стал отличаться от прочих журнальных органов 40-х годов. Это был первый и действительно замечательный журнал развивавшейся революционной демократии.

В беллетристическом отделе «Современника» Белинский взял решительный курс на поддержку, на популяризацию талантливых произведений отечественной литературы, реалистических романов и повестей писателей «натуральной школы». Принципиальное значение этого патриотического поворота к пропаганде достижений русской литературной культуры Белинский превосходно разъяснил в одной из первых своих статей, опубликованных в «Современнике». «Русская повесть в журнале,—писал он в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.»,—предпочитается переводной, и мало того, чтобы повесть была написана русским автором, необходимо, чтобы она изображала русскую жизнь. Без русских повестей теперь не может иметь успеха ни один журнал. И это не прихоть, не мода, но разумная потребность, имеющая глубокий смысл, глубокое основание: в ней выражается стремление русского общества к самосознанию, следовательно, пробуждение в нем нравственных интересов, умственной жизни. Уже безвозвратно прошло то время, когда всякая посредственность иностранная казалась выше всякого таланта русского. Умея отдавать справедливость чужому, русское общество уже умеет ценить и свое, равно чуждаясь как хвастливости, так и унижения. Но если оно более интересуется хорошею русскою повестью, нежели превосходным иностранным романом,—в этом виден огромный шаг вперед с его стороны. В одно и то же время уметь видеть превосходство чужого над своим и все-таки ближе принимать к сердцу свое,—тут нет ложного патриотизма, нет ограниченного пристрастия: тут только благородное и законное стремление сознать себя»...¹.

¹ В. Г. Белинский Собр. соч., т. III, стр. 650.



Как уже отмечалось выше, либералы-западники враждебно встретили это заявление Белинского, они отрицательно отнеслись к его патриотической программе всемерно утверждать приоритет творений русской художественной мысли перед чужестранной. Но Белинский упорно и последовательно держался намеченной линии. «Переводные романы и повести,— писал он в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 г.»,—уже не заслоняют собой оригинальных; напротив, общий вкус публики отдает последним решительное предпочтение»¹.

«Всякое сколько-нибудь живое и замечательное явление в русской литературе,—писал Белинский В. П. Боткину в ноябре 1847 г.,—радует меня в тысячу раз больше, нежели действительно огромное явление в европейской литературе»².

И в письмах, и в ответственных журнально-критических выступлениях Белинский с осуждением отмечал пристрастие некоторых литераторов и не лучшей части русской читающей публики к «вздорным сказкам»—романам А. Дюма³. Критик-демократу претила буржуазная узость и ограниченность даже таких великих западных художников, как Гете и Диккенс⁴.

Помимо всего прочего и это обстоятельство убедило критика в правильности избранного им пути—выдвигать на первый план в журнале русскую литературу, русских писателей. Он с гордостью отметил тот факт, что лучшие романы и повести русских авторов идейно перерастали произведения даже крупнейших западных мастеров слова.

Вместе с тем, Белинский обрушился на «дрянную односторонность» славянофилов, которые атаковали беллетристический отдел «Современника» за то, что в нем печатались хотя и русские вещи, но принадлежащие перу писателей «натуральной школы». Отвечая этим реакционным «витязям прошедшего и обожателям настоящего», критик-демократ писал: «Какие журналы пользуются наибольшим успехом, если не те, в которых помещаются произведения натуральной школы и которых направление совпадает с направлением этой школы? Скажем больше: без этих произведений натуральной школы теперь невозможен успех никакого журнала»⁵.

Белинский отвергал как реакционно-охранительные по своему существу славянофильские обвинения писателей «натуральной школы» в том, что они в своих произведениях только разоблачают, только отрицают, только рисуют плутов и не показывают «благородных лиц», и не раскрывают «положитель-

¹ В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 773.

² В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 270.

³ В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 773.

⁴ В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 196, 325.

⁵ Белинский. Собр. соч. т. III, стр. 753.

ные стороны нашей народной физиономии». Положительным героем современности Белинский считал русского человека, стоящего на почве революционного отрицания крепостнической дикости и самодержавного произвола. Но именно образы таких «хороших людей» русская литература, по существующим условиям, и не может создать и пропагандировать. «Литература все-таки не может,—писал критик,—пользоваться... хорошими людьми, не входя в идеализацию, риторiku и мелодраму, т. е. не может представлять их художественно такими, как они есть на самом деле, по той простой причине, что их тогда не пропустит цензурная таможня. А почему? Потому именно, что в них человеческое в прямом противоречии с тою общественной средою, с которой они живут»¹. Как известно, только через десяток-другой лет передовой русской литературе представилась возможность познакомить Россию с образами революционеров, с образами Рахметовых и Добросклоновых и таким путем хотя бы частично решить ту задачу, огромную общественную важность которой прекрасно понимал еще в свое время Белинский.

Беллетристический отдел «Современника», благодаря усилиям Белинского, намного превосходил соответствующие отделы других журналов, в том числе и конкурировавших с журналом Белинского «Отечественных записок», не говоря уже об уныло-скудном «Москвитянине» или «Библиотеке для чтения». В 1847—48 гг. в «Современнике» были напечатаны «Кто виноват?», «Из записок доктора Крупова», «Сорока-воровка» Герцена, «Обыкновенная история» Гончарова, «Записки охотника» Тургенева, «Антон Горемыка» Григоровича, стихи Некрасова, одним словом, такие произведения, которые вошли в золотой фонд русской классической литературы, которые отличались широтой идейного содержания, силой и глубиной критики крепостнической действительности.

В это самое время беллетристический отдел «Отечественных записок» заполнялся, главным образом, переводными романами А. Дюма, Э. Сю, П. Феваля, Ф. Купера и других. За исключением двух ранних повестей Салтыкова и некоторых произведений Достоевского, кстати сказать, значительно уступавших его «Бедным людям», «Отечественные записки» в 1847—1848 гг. ничего фундаментального не дали в области оригинальной русской реалистической прозы и поэзии.

Белинский с полным основанием утверждал в одной из последних своих статей: «В «Современнике» не было и не будет помещено ни одной повести, которая бы, по искреннему убеждению редакции, не заключала в себе каких-нибудь хороших сторон, делающих ее стоящею печати, и уж было напеча-

¹ В. Г. Белинский, Письма, т. III, стр. 311.

тано несколько весьма замечательных произведений в этом роде»¹.

На новых основаниях стремился организовать Белинский в «Современнике» отдел «Критики и библиографии».

Основной задачей критического отдела он считал борьбу за создание самобытного, подлинно народного реалистического искусства, способного ставить коренные вопросы исторической жизни русского общества, способного революционно воспитывать народ. Белинский ориентировал критику «Современника» на разоблачение всякого рода реакционных теорий, отрывавших литературу от жизни, замыкавших ее в душные рамки аполитичного художественного созерцания. «Отнимать у искусства, — писал Белинский, — право служить общественным интересам — значит не возвышать, а унижать его».

«Служить общественным интересам» — на материалистическом и демократическом языке критика значило отстаивать идеалы революционной борьбы с самодержавием и крепостничеством, защищать социализм, отмечать вреднейшие идейки либерально-космополитической апологии буржуазного Запада и славянофильской идеализации феодальной патриархальщины.

С точки зрения Белинского журнальная критика не должна ограничиваться освещением узко литературных и эстетических вопросов. Разбирая конкретное художественное или научное произведение, она обязана предлагать читателю широкие философские, публицистические и политические обобщения и выводы с позиций передовой революционной теории.

Белинский круто повернул русскую критику от поверхностных литературных «разборов» и случайных стилевых похвал и порицаний к глубокому идейному анализу литературных явлений и к оценкам, выраставшим на почве уяснения общественных запросов жизни, на почве уяснения требований живых сил нации.

В соответствии с этим Белинский сосредоточивал внимание сотрудников критического отдела на необходимости обобщения самых крупных явлений, самых значительных и характерных фактов литературной, научной и общественной жизни страны. Он обещал читателям в каждой первой книжке журнала помещать итоговые обзоры «литературной деятельности за истекший год»². С этой целью Белинский решил объединить в

¹ В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 733. Ср. в письме к В. П. Боткину в ноябре 1847 г.: «Повести у нас — объядение, роскошь; ни один журнал никогда не был так блистательно богат в этом отношении; а русские повести с гоголевским направлением теперь дороже всего для русской публики, и этого не видят только уже вовсе слепые». (Письма, т. III, стр. 271).

² В. Г. Белинский Собр. соч., т. III, стр. 770, 773.

«Современнике» в один отдел критику и библиографию. «Почти во всех других журналах, — писал Белинский, — критика составляет особый от библиографии отдел. Пишущий эти строки семилетним тяжким опытом дознал невыгоду такого разделения. Под критикой разумеется статья известного объема и даже особенного от рецензии тона. Замечательных книг, подлежащих ведомству серьезной критики, у нас выходит так мало, что обязанность писать по критике каждый месяц поневоле делается чем-то вроде тяжелой поставки, ибо много замечательного печатается в журналах. Поэтому, представляя отчеты наши публике о всех более или менее примечательных явлениях русской литературы, мы не будем ни сколько заботиться, что выйдет из нашего разбора — критика или рецензия. Пусть сами читатели наши решают это, каждый по своему вкусу и разумению. Этим мы надеемся доставить им услугу, избавив журнал наш от балласта многословия и надутости, неизбежного иногда при двойном разделении критики на большую, или собственно критику, и малую, или рецензию... О книгах ничтожных даже отрицательно, по нашему мнению, не стоит труда ни писать, ни читать... С другой стороны, чуждые всяких притязаний на энциклопедическую многосторонность познаний, мы не будем ничего говорить о специальных сочинениях, как бы ни были они замечательны, если они выходят из круга наших занятий»¹.

В качестве приложения к «Современнику» Белинский намерен был давать от времени до времени «полные библиографические списки всех без исключения, выходящих в России книг на русском языке, с обозначением типографии, формата, числа страниц и даже, по возможности, цен»².

Благодаря статьям Белинского критический отдел «Современника» стал одним из самых целеустремленных и содержательных во всей русской журналистике 40 гг. Тем не менее Белинский не был доволен им и даже со свойственной ему резкостью и прямоотой заявлял: «У нас вовсе нет критики (которая, после русских повестей, важнейший отдел в журнале), да и библиография-то не совсем такова, как следует быть»³.

Эти решительные оценки вызывались тем, что по ряду причин, и прежде всего ввиду болезни критика, Белинскому не удалось в полной мере поставить критико-библиографическую часть журнала так, как он хотел и планировал. Сам Белинский собирался написать для «Современника» цикл статей о Лермонтове и Гоголе, о писателях 18-го столетия — Ломоно-

¹ В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 682.

² Там же, стр. 683.

³ В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 207.

сове и Державине, кроме того, он стремился привлечь к активному участию в критическом отделе журнала «московских друзей» и выдвинувшихся молодых способных литераторов (напр., Дудышкина), которые сотрудничали у Краевского и были не прочь, подчиняясь обаянию авторитета великого критика, перейти на работу в «Современник». Смерть прервала энергичную организаторскую и творческую деятельность Белинского. И только почти десятилетием спустя усилиями Чернышевского и Добролюбова критический отдел «Современника» поднялся на ту идейную высоту, о которой мечтал в свое время Белинский.

Что касается отдела «Науки и художества», то и в отношении постановки этого важного отдела журнала у Белинского были свои принципиальные соображения, не потерявшие значения и по сей день. «Журнал... занимается и наукой, — писал критик в 1847 г., — но не для науки; его цель не просвещение, а образование; его задача: поставить незанимающегося наукой человека в возможность обратить для себя вопросы науки в вопросы жизни»¹.

Белинский стоит у истоков замечательного по своему передовому содержанию и великим историческим результатам процесса глубочайшей демократизации русской науки, укрепления ее связей с «вопросами жизни». Именно на этом пути, на пути служения народу, наша отечественная наука добилась огромных успехов,—и сейчас, в наше время, в эпоху осуществления сталинской программы строительства коммунистического общества заняла в стране исключительно большое и почетное место.

Белинский вменял в прямую обязанность журнального органа широко и систематически популяризировать выводы передовой науки и тем самым способствовать практической реализации ее достижений в жизни страны. Вот почему Белинский старательно заботился о том, чтобы публикуемые в «Современнике» научные работы были бы даны в общедоступном изложении, доходчиво и интересно. «Для журнала, — писал Белинский,—статьи ученого содержания тогда только важны и дороги, когда они, по общности интереса и по изложению, имеют всю заманчивость и легкость беллетристической статьи»².

Помимо разобранных выше программных, принципиальных установок Белинского по организации важнейших отделов

¹ В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 284.

² Там же, стр. 283.

«Современника» лучше всего его роль фактического руководителя журнала, а не просто «обыкновенного сотрудника и работника», характеризуется его практической редакционной работой.

В своем месте указывалось, какое огромное значение придавал Белинский делу правильного подбора сотрудников журнала. Назойливое вмешательство дельца Краевского не позволило критику в полной мере и последовательно утвердить в «Отечественных записках» принципиальные основы журнального сотрудничества. Совсем иное положение сложилось в «Современнике». Белинскому принадлежал решающий голос в отборе сотрудников для журнала и в регулировании их деятельности. Великий критик широко воспользовался своим правом редактора поощрять и поддерживать или, наоборот, ограничивать и даже прекращать сотрудничество в журнале тех или иных литераторов. Белинский прекрасно отдавал себе отчет в том, что «Современник» станет действительно новым типом журнала, журналом русской революционной демократии, если в нем будут принимать дружное участие люди, идейно близкие друг другу, люди партии, принципиальные, убежденные, готовые посвятить свои труды решению великих общественных задач и проблем современности, готовые до конца идти в борьбе с самодержавием и крепостничеством.

Белинский резко расходился с теми литераторами, которые не отвечали этим принципиальным требованиям сотрудничества в «Современнике».

Об идейно безликом Н. А. Мельгунове критик-демократ писал В. П. Боткину в 1847 г.: «Николай Александрович человек умный и образованный, с копотливым усердием он следит за всем новым, и нет ничего нового, чего бы не принял он к сведению. Но, по своей натуре, он не в состоянии усвоить себе никакого резко определенного, **характеристического** образа мыслей. Он примиритель и московский Одоевский. Он чуть не плачет, когда у нас, при нем, Шевырева называют подлецом, ... и я уверен, что он тоже чуть не плачет, когда Шевырев, при нем, честит меня по-своему. Ему хотелось бы всех нас свести и помирить. Он не понимает антипатии убеждений и натур. Поэтому, роль его жалка: обе крайние стороны смотрят на него, как на половину своего, а в сущности ничьего. Это отражается и в его статьях: он хлопочет, чтобы в них не было односторонности, пристрастных убеждений, нетерпимости, узкости в созерцании и понятиях,—а достигает только того, что в них нет закваски, крепости, что они бесцветны, ни то, ни се»¹.

¹ В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 200—201.

Эта блестящая тирада направлялась не только и не столько против Мельгунова лично, сколько против сотрудников-литераторов типа Мельгунова, а к таковым относились и либеральные «московские друзья» критика, которые не считали зазорным публиковать свои вещи и там и сям, и в «Современнике» Белинского, и в «Отечественных записках» Краевского, и даже в самом «Москвитянине» Погодина.

Не удовлетворяли Белинского в качестве журналистов и такие литераторы, как А. И. Кронеберг, который с головой ушел в прошлое и никак не интересуется настоящим. «Кронеберг,—писал Белинский,—только переводчик, а как сотрудник—хуже ничего нельзя придумать. Современное для него не существует, он весь в римских древностях, да в Шекспире»¹.

Белинский весьма нелестно отзывался и о сотрудничестве в журнале А. А. Комарова, который небрежно и путанно составлял свои «ученые известия» («Вследствие этого подлец Комаришко из «Современника» изгоняется») ².

Белинский вменял в прямую обязанность редактора исправлять статьи или не принимать их к опубликованию, если они не отвечают направлению журнала. В одном из «Парижских писем» П. Анненкова, печатавшихся в «Современнике», Белинский вычеркнул то место, где автор довольно пресно-назидательно толковал о «Лукреции Флориани»—новом романе Ж. Занд.

«Мне была невыносима мысль, — писал Белинский В. П. Боткину,—что в «Современнике» явится такого рода суждение» ³. С поучительной последовательностью Белинский пресекал какие бы то ни было попытки принизить значение «Современника» как общественно-воспитательного органа и низвести журнал до положения, так сказать, домашнего издательского предприятия, обслуживающего печатные нужды приятельской корпорации. Белинскому была совершенно чужда мысль, что «журнал должен издаваться не для пользы общества, а для удовольствия некоторых лиц» ⁴. Именно в этой связи надо осмыслить и оценить протестующие суждения критика о панаевской уступчивости, нежелание Белинского помещать в «Современнике» статью «из какого-то немецкого журнала только потому, что это будет приятно Н. Ф. Павлову», или, наконец, решительное сопротивление Белинского мельгу-

¹ В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 172.

² Там же.

³ Там же, стр. 176.

⁴ Там же, стр. 202.

новской попытке завести на страницах журнала «Современник» беспредметный личный диспут с Аксаковым «О Москве и Петербурге». «Такого спора,—писал критик,—принять в журнал никогда не решимся»¹.

Об Н. Г. Фролове, помещавшем в «Современнике» длинные статьи о Гумбольдте, Белинский замечал Некрасову: «Это зачем вы печатаете?—Да что ж такое,—он хорош с Грановским, почему же не напечатать,—отвечал мне Некрасов.—Фролов человек умный, но ум его поражен хронической болезнью, не то насморком, не то запором. Такие сотрудники — гибель для журнала».

Без преувеличения можно заявить, что редакторская практика Белинского в «Современнике» послужила хорошей школой в первую очередь для Некрасова, которому суждено было стать издателем и редактором самых передовых русских журналов в 60 и 70-х гг. Не случайно великий критик писал о Некрасове: «Он—золотой, неоцененный сотрудник для журнала»². На революционных традициях Белинского—журналиста и редактора воспитывались Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и М. Е. Салтыков-Щедрин—три других крупнейших деятеля демократической журналистики в России. В одной из последних своих статей—«Ответ «Москвитянину»—Белинский с полным основанием мог заявить о себе: «Публика и сама сумеет увидеть разницу между человеком, у которого литературная деятельность была призванием, страстью, который никогда не отделял своего убеждения от своих интересов, который, руководствуясь врожденным инстинктом истины, имел больше влияния на общественное мнение, чем многие из его действительно ученых противников,—и между каким-нибудь баричем, который изучил народ через своего камердинера и... между служебными и светскими обязанностями, занимается также и литературою в качестве дилетанта и из году в год высиживает по статейке, имея вдоволь времени показаться в ней умным, ученым и, пожалуй, талантливым... В наше время талант сам по себе не редкость, но он всегда был и будет редкостью в соединении с страстным убеждением, с страстной деятельностью, потому что только тогда может он быть действительно полезен обществу»³.

«Страстное убеждение», «страстная деятельность»—все это теперь расшифровывается как революционное убеждение, как революционная деятельность—и именно этими своими качест-

¹ В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 203.

² Там же, стр. 190.

³ В. Г. Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 758.

вами Белинский поднял «Современник» на такую идейную высоту, на какой не стоял до этого ни один из русских журналов.

Белинский с гордостью отмечал успех «Современника». «Современник» нравственно процветает,—писал Белинский,—...авторитет его велик, у нас в Питере на него все смотрят, как на первый, т. е. лучший русский журнал»¹. Между тем, «Отечественные записки», с которыми порвал критик-демократ, катились вниз, утрачивали свою былую славу. «От «Отечественных записок» несет мертвечиной»², — заявляет критик. Революционный демократ Белинский пророчески предсказал бесславную кончину журналу, который от номера к номеру снижал тон и погружался в тину либерального рутинерства и благонамеренности. Своим либеральным «друзьям-врагам», рьяно поддерживавшим «Отечественные записки» Краевского, Белинский писал в ноябре 1847 г.: «По нашему убеждению журнал, издаваемый свинцовой ж..., вместо мыслящей головы, не может иметь никакого направления, ни хорошего, ни дурного, а если «Отечественные записки» доселе имеют направление, и еще хорошее, это потому, что они еще не успели простыть от жаркой топки,—вы знаете кем сделанной... Но уже несмотря на то, противоречий, путаницы, промахов—довольно; погодите немного—то ли еще будет... Вспомните мое слово, если в будущем году не появится там таких статей и мнений, которые лучше всех моих доводов охладят ваше участие к этому журналу»³.

Белинский ошибся в одном—он не учел того, что его корреспонденты скорее, чем он это предполагал, соберутся под знамена откровенно верноподданнического либерализма. Что же касается «Отечественных записок», то его прогноз оправдался целиком и полностью. В силу исключительно тяжелых цензурных условий, создавшихся благодаря реакционному курсу николаевского правительства, «Современник» не имел возможности высказать свой взгляд на революционные события во Франции в феврале 1848 г.⁴.

Помня заветы Белинского, журнал все же намеками вскользь упоминал о политических потрясениях на Западе. Иначе повели себя «Отечественные записки» Краевского. В 7-й книжке этого журнала за 1848 г. была помещена редакционная статья «Россия и Западная Европа в настоящую

¹ В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 199, 202.

² Там же, стр. 206.

³ В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 201.

⁴ В. Евгеньев-Максимов. «Современник» в 40 — 50 гг., Л. 1934, стр. 150—153.

минуту». В статье холопски славословилась русская «патриархальная, отеческая, самодержавная власть», высказывалось восхищение «умилительным зрелищем незыблемой законности» в крепостнической России и злобно писалось о своеволии злоумышленников-революционеров, за которыми слепо идет «буйная толпа», похожая на «стадо диких зверей». Либерально-западнический журнал заговорил языком правоверного славянофила-реакционера. Революционные выступления в Европе либеральные «Отечественные записки» объяснили тем, что народ здесь издавна воспитан «в крамолах, заговорах», «без религии и любви к монарху»¹. Тот факт, что «западники» и «славянофилы» в грозном 1848 году открыто и с трогательным единодушием обрушились на революционную, республиканскую идеологию, на материализм и социализм, этот факт лишний раз свидетельствует о том, что основное содержание идейной борьбы в русском обществе сороковых годов принципиально неправильно сводить к столкновениям западничества и славянофильства. Борьба шла между революционной демократией, возглавлявшейся Белинским и Герценом, с одной стороны, и либерально-западническим и реакционно-славянофильским лагерем, стоявшим в конце концов на почве защиты дворянских классовых интересов, с другой. «Современник» Белинского стал идейным центром революционной демократии. Огромный успех этого журнала продемонстрировал сплочение демократических сил страны, новый подъем революционной мысли и революционного действия в России. И совсем не случайно, а вполне закономерно, что именно «Современник», а не какой-либо другой журнальный орган в 60-х годах, в эпоху Чернышевского и Добролюбова, стал идейным вдохновителем крестьянской революции. При всей тяжести реакционной поры 1848—55 годов «Современник» все же не остыл от «жаркой топки» Белинского, он сохранил традиции критика-демократа, как бы ни мешали этому цензурный террор и засилье дворянских либералов в журнале после гибели великого революционера. Белинский был выдающимся революционным теоретиком журнализма. В трудах Белинского впервые было разработано стройное учение о журнале как о последовательном и цельном демократическом органе, призванном формировать передовое общественное сознание читателей, воспитывать в русском человеке подлинного патриота, врага царизма и крепостничества. И опять-таки не случайно, что именно Чернышевский в первой же своей крупной работе, опубликованной на страницах «Современника», высоко

¹ «Отечественные записки», 1848, т. LIX, кн. 7. Современная хроника России, стр. 3—12.

положительно оценил вклад Белинского в теорию русской демократической журналистики. Белинский—заявлял знаменитый автор «Очерков гоголевского периода русской литературы»—первый всесторонне объяснил нам, «что такое журнал». Белинский первый всей своей деятельностью журналиста показал пример самоотверженного служения делу народа, передовым революционным идеям века.

БЕЛИНСКИЙ И ДРАМАТУРГИЯ А. Н. ОСТРОВСКОГО

1.

В последнее время в специальной литературе уже указывалось на идейные связи Островского с Белинским. Эти связи справедливо усматриваются в близости творчества Островского к принципам натуральной школы, которые пропагандировались Белинским. Ближайшим образом имеется в виду общность между Белинским и Островским в понимании литературной деятельности как общественного служения, в следовании Островского за призывами Белинского к изображению современного общества, в стремлении Островского так же, как и Белинского, обличать недостатки жизни и тем самым способствовать изменению действительности.

В обоснование этих сближений справедливо высказываются соображения о том, что Островский не мог пройти мимо статей Белинского вообще и его театральных статей в особенности. Для подтверждения припоминается показание Н. Барсукова со слов Т. Филиппова о том, что молодой Островский был постоянным читателем «Отечественных записок», в спорах ссылаясь на мнения этого журнала и наизусть цитировал статьи из него. Из наследства Белинского при этом имеются в виду его статьи 40-х годов, в частности, выделяется статья Белинского «Петербург и Москва» (1845), в которой характеристика московского купечества могла содействовать развитию интереса Островского к купеческому быту.

Отмечается и внимание Белинского к «среднему сословию», обладавшему сравнительно более высоким уровнем образования или, по крайней мере, стремлением к образованию, что у Островского впоследствии отозвалось на таких образах, как Иванов и его дочь Лиза в «Чужом пиру похмелье», Корпелов, Грунцов, Наташа, Евгения в «Трудовом хлебе», Кулигин в «Грозе». Призывы Белинского к созданию реалистической литературы для широких масс читателей («беллетристика») и взгляд Белинского на театр, как наиболее народный вид ис-

кусства, сопоставляются с позднейшими высказываниями Островского о значении театра в просвещении масс. Припоминается, что Островский в речи, обращенной к А. Е. Мартынову, «не выделял себя из ряда писателей натуральной школы», что критики-славянофилы (Т. Филиппов, Е. Эдельсон, Ап. Григорьев) при всех стараниях «не могли оторвать от натуральной школы произведения Островского 40-х годов, особенно его пьесу «Свои люди—сочтемся»¹.

Соответствие принципам Белинского указывается и в литературно-критических статьях Островского 1850—51 гг. Островский требовал правдивого изображения действительности (принцип «реализма»), отвергал искусственность, манерность, романтическую «темноту», требовал простоты и ясности. Островский считал, что литература отражает развитие общества (принцип «историзма»), призывал к изучению своего народа, (принцип «народности»), защищал обличительное направление в литературе (критический реализм), условием художественности считал содержательность, наличие серьезной мысли (идейность), требовал изображения типичных характеров, в частности, чистоты и типической верности языка действующих лиц².

Все это совершенно справедливо. Все эти соображения и сопоставления в достаточной степени свидетельствуют о том, что Островский в своей литературной деятельности взял то направление, которое в 40-х годах возглавлялось и обосновывалось Белинским.

Тем не менее, нельзя не заметить, что высказанные положения имеют слишком общий характер. Они не раскрывают специфики Островского, и роль Белинского в формировании новой драматургической системы остается неясной. Определение, какими характеризуется Островский как последователь Белинского (реализм, обличительство и проч.), в одинаковой степени могут быть отнесены и к предшественнику Островского, к Гоголю (и не к одному Гоголю). Между тем, если речь идет о Белинском, как о начинателе и пропагандисте нового литературного течения, то мы вправе ожидать, чтобы вместе с раскрытием общности Островского с лучшими традициями Гоголя указывалось и на то в Островском, где он, под влиянием Белинского, создаёт нечто новое, отличное от Гоголя и более близкое к Белинскому, представителю иного времени и носителю иных общественных требований. Вопрос о влиянии

¹ Л. Лотман. «Островский и революционные демократы». Вестник Ленинградского университета, 1948. № 6.

² А. И. Ревякин. «А. Н. Островский. Жизнь и творчество». Москва, 1949, стр. 132—137.

Белинского на драматургию Островского неотделим от вопроса о соотношении Островского с традицией, идущей непосредственно от Гоголя.

Усвоение Гоголя было почти неизбежным шагом для всякого писателя, начинавшего свою деятельность в 40-х годах.

Преемственность между двумя большими писателями никогда не бывает повторением. Творчество Островского развивалось в иных общественных условиях и определялось иными идейными предпосылками. Какие стороны творчества Гоголя принял и продолжал Островский — этот вопрос одновременно является также и вопросом о его отношении к Белинскому, пропагандировавшему Гоголя в совершенно определенном смысле. Известно, что творчество Гоголя для Белинского было сильнейшей опорой в пропаганде новых взглядов на литературу. В творчестве Гоголя уже были заложены те основы, которые ставились Белинским в программу литературной жизни для её дальнейшего движения. Каковы эти основы и как их претворил Островский, — этот вопрос является общим для определения отношений Островского как к Белинскому, так и к Гоголю.

Еще более заметно влияние Белинского должно было сказаться в творчестве Островского там, где Островский отличается от Гоголя.

Каждый ощущает, что Островский составляет собою какой-то новый этап в развитии русской драматургии. Островский — преемник Гоголя, но он же и начинатель новой драматургии, отвечающей потребностям, задачам, идейным требованиям и уровню иного времени. В чем состоит различие между ними?

Для всех ясно, что в творчестве Островского представлена иная жизненная среда, иные люди, в иной обстановке. Сразу замечается и то, что по общему характеру изображения человека Островский сильно отличается от Гоголя. Сюжетное сложение пьес Островского тоже очень далеко от гоголевского. Но в чем же состоит принципиальная сторона этих отличий? Где то основное, исходное идейно-новое, что побудило Островского быть не только продолжателем Гоголя, но и создателем особой драматургической системы?

Многое различное, конечно, вызывалось различиями в самом предмете изображения: Гоголь представил русскую жизнь 30-х годов, а Островский ту же жизнь, но более позднюю; Гоголь в своем кругозоре имел по преимуществу одну среду, а Островский иную и пр. Но, конечно, разница между Гоголем и Островским состоит не только в том, что предмет их изображения различен. Перед тем и другим писателем жизнь ставила неодинаковые вопросы и даже одинаковый объект наблюдений выступал перед ними не в одинаковых

сторонах. В силу различия в идейных запросах и люди и все формы жизни для каждого из них повернулись особой стороной.

Изменился общий познавательный подход к человеку, изменилась и вся драматургическая концепция. Сказалось ли в этом новаторстве Островского то, чем он был идеологически обязан Белинскому?

• Белинский в обосновании и в пропаганде принципов натуральной школы, опираясь на Гоголя, дополнял и продолжал его, раскрывая иные, раздвигающие перспективы. Пошел ли по этому пути Островский, продолжая, дополняя и изменяя Гоголя? Те идейные основы, которые в творчестве Островского видоизменили гоголевскую традицию и дали новый тип бытовой драмы,—не имели ли они связи с идейным воздействием Белинского?

2.

Первую попытку к определению своеобразия Островского сравнительно с Гоголем сделал Б. Алмазов в статье «Сон по случаю одной комедии», написанной вскоре после появления в печати первой законченной пьесы Островского «Свои люди—сочтемся»¹.

Сходство между Гоголем и комедией Островского Б. Алмазов усматривает лишь в общности их материала. «И комедия Гоголя и новая комедия изображают одного рода людей — людей нравственно испорченных». Но в изображении Гоголя,—по словам Б. Алмазова,—преобладает «утрировка», «преувеличение», «гипербола», между тем как «в новой комедии» присутствует одна лишь «математическая верность действительности. «...Каждый из этих двух писателей по-своему употребляет этот материал: один с необыкновенной, ему только свойственной яркостью и рельефностью выставляет пошлость и недостатки своих действующих лиц; другой со свойственной ему одному математической верностью изображает своих действующих лиц, не преувеличивая в них их пошлости и недостатков». Гоголю,—утверждает далее Алмазов,—мешает быть верным действительности его «лиризм». «В творчестве Гоголя много субъективного». «...Гоголь, выводя своих героев, высказывает при этом свое воззрение на них, на их действия, на их разговоры...». «Гоголь живописец не только окружающей его действительности, но и живописец собственных впечатлений, рождающихся с ним при взгляде на предмет. Изображая в своих гиперболах то впечатление, которое овладевает им при взгляде на описываемый им предмет, он сообщает читателю это же самое впечатление, и таким образом ставит его на свое

¹ «Москвитянин» 1851, кн. 10. Комедия Островского «Свои люди — сочтемся» была напечатана в ж. «Москвитянин», 1850, кн. 6.

место, заставляет его смотреть на предмет с одной с ним точки зрения»... «Гоголь одажен сильной, непреодолимой, болезненной ненавистью к людским порокам и людской пошлости. Это причина его высокого лирического юмора, и это же причина и тому, что он не может спокойно изображать действительность, не может оставаться математически ей верен»

В противоположность Гоголю, утверждает Алмазов, — целью Островского было «не выказывать выпукло людские пороки, не расписывать людские добродетели, но изображать действительность как она есть, — художественно воспроизводить её». «Он не комик: он самый спокойный, самый беспристрастный, самый объективный художник». Он подобен пушкинскому дьяку, который «спокойно зрит на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева»... «Его комедия смешна только потому, что верно изображает такую сферу, которая смешна и в действительности. Ему все равно, какую сферу ни изображать — он изобразит всякую равно художественно, равно близко к действительности».

Вскоре Б. Алмазова повторил Ап. Григорьев. Различение «народности» Островского от «сатирического» таланта Гоголя у Ап. Григорьева сводилось, в конце концов, к тому же утверждению «объективности» и «спокойствия» у Островского в противоположность «напряженности» и «гиперболе» Гоголя. Гоголь, по словам Григорьева, «по натуре своей» не смог выразить своего отношения к действительности иначе как «в юморе и притом в юморе страстном, гиперболическом»¹. Островский же свободен от излишней взволнованности и чужд всяких крайностей; он обладает «коренным русским мирозерцанием, здоровым и спокойным, юмористическим без болезненности, прямым без увлечений в ту или иную крайность»². В попытках А. Григорьева обособить Островского от гоголевской традиции выражалось его отрицательное отношение к обличительным тенденциям натуральной школы, резкая вражда с революционно-демократическим направлением и стремление защитить патриархальные «устои» русской жизни, важные для его реакционных славянофильских идеалов. Поводы к оправданию так называемых «положительных» патриархальных начал давал в известной степени и сам Островский такими своими пьесами, как «Не в свои сани не садись», «Бедность — не порок», «Не так живи, как хочется» (об этом будет речь ниже).

¹ Ап. Григорьев. «Русская литература в 1851 году». Полное собрание сочинений, под ред. В. С. Спиридонова, т. 1, 1918, стр. 110.

² Ап. Григорьев. «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене». Там же, стр. 215.

По мере того как развивалось творчество Островского во второй половине 50-х годов, оснований к отрицанию критического смысла его произведений оказывалось все меньше и меньше. Не замечать в Островском его «суда над действительностью» становилось невозможным. Тем не менее, поскольку борьба с критическим направлением в русской литературе для реакционной критики не утрачивала своей остроты, попытки противопоставить Островского Гоголю, как писателя, далекого от обличительства, не прекращались.

Подлинного различия не было. В славянофильской критике речь шла не о том, чтобы учесть критическое содержание творчества Островского и определить его особенности в отличие от гоголевского обличения, а о том, чтобы приглушить, нейтрализовать и совсем заслонить его критическое существо. Отрицательные типы и отрицательные стороны действительности, представленные Островским, объявлялись лишь частностью, не столь для него характерной, усиленно подчеркивались светлые положительные элементы, говорилось о всесторонности Островского, о его авторской доброте и благожелательности к своим героям, а «обличение» если и признавалось, то оно объявлялось свободным от всякой преднамеренности, независимым от авторской воли и пр. При этом разные образы и разные стороны творчества Островского представлялись в каком-то механическом сочетании: рядом со «спокойствием» и «бесстрастием» говорилось об авторском различии хорошего и дурного, разные типы (положительные и отрицательные) характеризовались без всякого уяснения положения, в какое они взаимно поставлены, разные черты характеров выделялись без обозначения их смысла в общем содержании данного лица и пр.

После статей Добролюбова «Темное царство» и «Луч света в темном царстве» никто не оспаривал наличия у Островского отрицательного изображения известных сторон действительности (самодурство). Но это признание оставалось на положении механического придатка: уверения о «спокойствии» и «бесстрастии» Островского, в отличие от Гоголя, повторялись попрежнему.

Ап. Григорьев, реагируя на статьи Добролюбова, вынужден был признать их справедливыми, хотя и односторонними¹. Однако и после такого признания Ап. Григорьев своих утверждений о «спокойствии» Островского нисколько не изменил и даже не усложнил. В статье «После «Грозы» Островского» (1860) по вопросу об отношении Островского к Гоголю он повторил лишь то, что писал об этом раньше: «Я на-

¹ Ап. Григорьев. «После «Грозы» Островского». Сочинения, т. I, СПб., 1876, стр. 453.

родность противопоставил чисто сатирическому отношению к нашей внутренней бытовой жизни, следовательно, и под народностью Островского разумел объективное, спокойное, чисто поэтическое отношение к жизни... «Строй отношений к жизни и манеру изображения, свойственные Островскому, считаю я совершенно отличными от таковых же Гоголя». В развитие этой мысли А. Григорьев включил в свою статью большие извлечения из статьи Б. Алмазова «Сон по случаю одной комедии»¹.

Несколько позднее Е. Эдельсон², сравнивая Островского с Гоголем и оперируя теми же представлениями об «объективности» и «спокойствии» Островского, впадает в совершенно обнаженное противоречие самому себе. «Сатира,—пишет он,—прежде всего предполагает или строго носимый идеал, или ясный и определенный образ мыслей и убеждений. Мы очень хорошо знаем, какой высокий, неосуществимый идеал породил сатирическую деятельность Гоголя, или какой образ мыслей дал сюжет таланту Грибоедова. Но ни того, ни другого в деятельности Островского не отыщешь, или, по крайней мере, не уловишь в ясных чертах». Задача Островского, по словам Эдельсона, состояла только в том, чтобы «дать тип, а не передать свой образ мыслей, не внушить что-либо, не сообщить то или другое настроение духа»... Основа мировоззрения Островского, по мнению Эдельсона, есть «простое благодушное гуманное отношение его к своим типам, как к живым людям...». И только.

Но, с другой стороны, Эдельсон тут же пишет, что Островский «мыслит типами», что он среди борющихся мнений о жизни «сохраняет вполне свободным свой собственный взгляд», что он «не может оставаться равнодушным к тому, что изображают другие умы на пользу человечества», что, «выводя какое-нибудь лицо», Островский «не оставляет никакого сомнения в том, хороший или дурной, в сущности, человек является по его воле перед вами», что «твердая постановка этих типов и яркое нравственное их освещение» составляют главные заслуги Островского перед русским обществом. Каким образом отсутствие всякого «идеала» и даже сколько-нибудь определенного «образа мыслей» могло сочетаться с твердостью «свободного собственного взгляда» и «ярким нравственным освещением типов»—Эдельсон оставляет без объяснений.

Различение между Гоголем и Островским на том основании, что один из них является страстным «лириком» и «субъек-

¹ Ап. Григорьев. Собрание сочинений, т. I, СПб., 1876, стр. 469—472, 475.

² «Библиотека для чтения», 1864, кн. I.

тивным» поэтом, а другой «эпически» уравновешенным и «спокойным» созерцателем, — со всеми противоречиями, внутренней несогласованностью и непоследовательностью, — продолжало существовать и дальше, в последующих десятилетиях¹. Кроме кругов, так или иначе связанных со славянофильством, такое понимание повторялось некоторыми представителями либеральной критики. В отголосках с разными вариантами та же мысль высказывалась и в советское время.

А. М. Скабичевский² общим для Гоголя и Островского считал лишь то, что оба они брали материал для своего творчества «из обыденной, серенькой русской жизни, из среды мелкого люда». «Но далее между ними лежит пропасть» (401). Островский бесстрастно и спокойно изображает своих героев; он «не только не смеется над ними (своими героями), а совсем отсутствует в своих пьесах, и действующие лица говорят и действуют словно помимо его воли, как бы они говорили и действовали в самой жизни» (401). Пьесы Островского, — пишет далее Скабичевский, — «ничего более, как объективно-беспристрастные представления жизни без малейшего побуждения что-либо осмеять или оплакать» (403). Подобно Пимену Пушкина, Островский «спокойно зрит на правых и виновных, не ведая ни жалости, ни гнева» (404).

И рядом с этим, не замечая своей непоследовательности, А. Скабичевский здесь же говорит, что Островский «ни одного нового направления и веяния не упускал из виду», что в «Семейной картине» и в «Своих людях» «отношение его к изображаемым московским купеческим нравам является отрицательным», а в пьесах «Не в свои сани не садись» и «Бедность — не порок» «наибольшую симпатию возбуждают люди, не тронутые западною цивилизациею», что более поздними пьесами Островский «принимал живое и горячее участие в демократическом движении шестидесятых годов» (405—408).

Позднее, к общим местам об «объективности» и «спокойствии» Островского, в отличие от «страстности» и «гиперболичности» Гоголя, прибавились столь же общие замечания о его большей близости к Пушкину, поэту, будто бы, одаренному тем же «спокойствием» и потому для Островского и более созвучному. Гоголю, — писал Б. В. Варнеке, — мир «представляется галлереей, где собраны не то страшные призраки, не то уродливые искаженные хари. Островский, видя и эти уродства жизни... замечает и утеху глаз — лазоревые цветы

¹ Д. Аверкиев. «Эпоха» 1864, кн. 9 — А. И. Незеленов, «А. Н. Островский в его произведениях». СПб., 1903, стр. 14 и 16.

² А. М. Скабичевский. «История новейшей литературы». СПб., 1897, стр. 401—408.

жизни и усердно изображает их в своих пьесах, тогда как для Гоголя они были густо заслонены постоянными тучами его больной души. Поэтому Гоголь бежит от мира, а Островский приемлет его с тем спокойствием, которое в нашей литературе свойственно, кажется, одному только Пушкину, наиболее близкому из всех наших писателей к Островскому»¹.

О том же сходстве Островского с Пушкиным (в противоположность Гоголю) говорил А. Фомин². Островский, по словам Фомина, «обошел тот путь, по которому в значительной гармонии с Мольером шел Гоголь» и пошел «по пути Шекспира и Пушкина» с их «эпически объективными отражениями жизненных тканей». В чем же состоит эта «эпическая объективность», определяющая сходство между Пушкиным и Островским, ни Б. Варнеке ни А. Фомин не раскрывают. В другой статье, помещенной в том же сборнике, А. Фомин, возвращаясь к мысли о «шекспировском» и «пушкинском» началах у Островского (в его отличие от Гоголя), сближающую общность их мировоззрения характеризует только цитатой из Ап. Григорьева, где тот говорит об Островском, как об обладателе «коренным русским мирозерцанием, здоровым и спокойным, юмористическим без болезненности, прямым без увлечений» и пр.³.

Исходя из тех же понятий о «спокойствии» и «эпичности» Островского, Н. П. Кашин совсем отрицал связь Островского с Гоголем⁴. В более поздней статье он признал «влияние Гоголя на Островского» в том смысле, что Островский, как и Гоголь, стоит «на твердой почве действительности», с тем отличием, что Гоголь был «сатириком», а Островскому было свойственно «соединение высокого с комическим» и «полное, всестороннее изображение жизни»⁵.

На соотношении творчества Гоголя и Островского сравнительно недавно останавливался Н. И. Пруцков⁶. Его замеча-

¹ Б. В. Варнеке. «Приемы творчества Островского». Сб. «А. Н. Островский», под ред. Б. В. Варнеке. Одесса. 1923, стр. 61—62.

² А. А. Фомин. «Связь Островского с предшествующей драматической литературой». Сб. «Творчество А. Н. Островского», под ред. С. К. Шамбинаго, М.—П., 1923, стр. 1—25.

³ А. А. Фомин. «Черты романтизма у Островского», там же, стр. 118 (слова А. Григорьева почему-то А. Фоминым приписываются А. Н. Добролюбову).

⁴ Н. П. Кашин. «Островский и Гоголь». «Родной язык и литература в школе», 1928, № 4/5.

⁵ Н. П. Кашин. «Островский—сотрудник «Москвитянина». «Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина». Сб. IV, 1939, стр. 59—60.

⁶ Н. И. Пруцков. «Проблемы художественного метода передовой русской литературы 40—50 гг.» Грозный, 1947, стр. 109—114.

ния ничего нового не вносят. Н. И. Пруцков, так же как и его предшественники, говорит о «спокойствии» Островского, о его «эпичности», о «пушкинском умении следовать жизни», о «подлинно объективном творчестве», о «высоком подлинном искусстве» и пр., не разъясняя своего понимания этих общих слов и не раскрывая оснований к разному применению их к Гоголю, с одной стороны, и к Островскому—с другой.

Таким образом, все имеющиеся попытки обозначить писательскую индивидуальность Островского, сравнительно с Гоголем, сводились к указанию, во-первых, большего «спокойствия» Островского, в отличие от «гиперболизма» и «страстности» Гоголя, во-вторых, к указанию на наличие положительных героев у Островского, которые совсем отсутствуют в пьесах Гоголя. При этом второе часто представляется как проявление первого: в силу «спокойствия» и «объективного» беспристрастия и бесстрастия Островского, в его творчестве, будто бы, с одинаковой безгневностью отражается и хорошее и дурное, и положительное и отрицательное, в полном и нераздельном смешении, как происходит в жизни.

Несостоятельность подобной точки зрения очевидна. Если спокойствие или беспокойствие в данном случае понимать как выражение авторского темперамента, сообщающего некий общий тон авторскому рисунку, то вопрос об организации художественных произведений, как определенной концепции, явно не попадает в сферу этой обусловленности. Такого рода различия вообще для историко-литературных целей не могут составить опоры. Концепция создается мыслями и стремлениями художника, и общий тон, свойственный его личности, не исключает возможности самых разнообразных идейных построений.

Если же спокойствие понимать как выражение авторского безразличия к тому, о чем он пишет, то такое понимание еще меньше может удовлетворить, так как оно неминуемо приводит к отрицанию у автора всяких идей и чувств, превращает его в механический аппарат, слепо воспроизводящий все, что окажется в поле его отражения.

Действительно, в творчестве Островского имеются лица не только с отрицательными, но и с положительными качествами, причем лица с отрицательными качествами не всегда смешны, черты их представлены не в такой концентрации, как у Гоголя, общее впечатление от них иное, чем от гоголевских,— в результате общая картина жизни получается иная и в иной эмоциональной окраске. Во всем этом имеется свой смысл. Если у Островского в одной и той же пьесе присутствуют лица с качествами самыми разнообразными, дурными и хорошими, то это совмещение, конечно, не было простым механическим

приплюсованием одного к другому. Пьеса не есть галерея портретов, размещенных на стене в простой рядоположности. Между всеми элементами надо предполагать какую-то связь, т. е. внутреннее логическое соотношение. Все лица со всеми их качествами демонстрируются автором в одной общей идейной теме, их сочетание автором каким-то образом понято, потому они и оказались сведёнными вместе. В чем же состоит их соотнесённость? Автор показывает людей с определенной стороны. С какой стороны?

Если у Островского в изображении людей нет той концентрации, как у Гоголя, то это вовсе не значит, что у него совсем нет никакой концентрации. У него есть своя концентрация. В чем же она состоит? У Гоголя был свой познавательный и целеустремленный отбор явлений, у Островского свой. Но у того и другого был отбор. Без отбора нет и мысли, так же, как без мысли нет отбора. В чем же состояла эта запрашивающая мысль, которая определяла для того и другого писателя своеобразие их активного кругозора в наблюдениях над жизнью?

Разграничительную черту между Гоголем и Островским надо искать в их коренных художественно-познавательных установках, сообщающих качественное единство в сложении лиц и событий у одного в отличие от другого.

3.

Отношение творчества Гоголя к творчеству Островского в основном аналогично тому положению, какое занимал Гоголь по отношению к натуральной школе. Все, что в художественном методе Гоголя воспринималось и разъяснялось Белинским, как ценнейшее достижение, и что явилось основополагающим фондом для натуральной школы, все это в полной мере разделяет и Островский. С другой стороны, и то принципиально новое, что в натуральной школе стало преобладающим, а у Гоголя находилось лишь в зародышевом виде («Шинель»), у Островского заняло ведущее и центральное место.

Островский воспринял реализм Гоголя, его внимание к обыкновенным, наиболее постоянным формам действительности, к быту, к человеческой ежедневности, к тем формам психики, которые являются принадлежностью людской массы.

Вслед за Гоголем Островский продолжал обличительное, критическое направление в русской литературе. Воспроизводимая им действительность освещается со стороны ее несовершенства, уродства и несоответствия тем идеалам, которые подсказываются требованиями нормального, духовно-живого, разумного и здорового человеческого существования.

Островский, как и Гоголь, является глубоко-национальным писателем. Жизнь людей, их нравы, их бытовые привычки, образ поведения и содержание их стремлений представлены у обоих писателей в живой укорененности в той общественной и бытовой обстановке, которая давалась русскими условиями, русской действительностью и русскими бытовыми историческими традициями, выраставшими на основе давних самодержавно-крепостнических отношений.

Во всем этом проявляется не только. преимвственная близость Островского к Гоголю, но и несомненное влияние на него со стороны Белинского, в свете статей которого воспринимался Гоголь. Об этом, в первую очередь, свидетельствуют литературно-теоретические высказывания Островского.

Роль Гоголя в развитии русской литературы Островский определял в том же смысле, как и Белинский. Рост реализма и самобытности в русской литературе Островский ставил в связь с развитием и углублением критической, обличительной мысли, поднимающейся от сатир Кантемира к всестороннему анализу русской действительности в творчестве Гоголя. Островский расценивает Гоголя в целостном историко-литературном процессе, видит в нем завершителя давних исторических стремлений русской литературы к самобытности, к жизненной правде, к сатирическому суду над действительностью.

Говоря об обличительном направлении в русской литературе и в связи с этим определяя историческое место Гоголя, Островский в схеме повторяет историко-литературную концепцию Белинского. «История русской литературы,—пишет он,—имеет две ветви, которые, наконец, слились: одна ветвь прививная и есть отпрыск иностранного, но хорошо укоренившегося семени; она идет от Ломоносова через Сумарокова, Карамзина, Батюшкова, Жуковского и проч. до Пушкина, где начинает сходиться с другою; другая от Кантемира через комедии того же Сумарокова, Фонвизина, Капниста, Грибоедова до Гоголя; в нем совершенно слились обе, дуализм кончился. С одной стороны: похвальные оды, французские трагедии, подражания древним, чувствительность конца 18 столетия, немецкий романтизм, неистовая юная словесность; а с другой: сатиры, комедии, комедии и «Мертвые души». Россия как будто в одно и то же время в лице лучших своих писателей проживала период за периодом жизнь иностранных литератур, и воспитывала свою до общечеловеческого значения»¹.

Истоки собственной литературной деятельности, как писа-

¹ Отзыв о повести Е. Тур «Ошибка». «Москвитинин», 1850. № 7, кн. 1, отд. 4, стр. 90—91.

теля драматурга, Островский, вместе с развитием всей само-бытной «сценической литературы» в России, возводил к Го-голю, основоположнику «нового направления в нашей литера-туре». «Наконец,—говорил Островский в речи на обеде в честь артиста А. Е. Мартынова 10 марта 1859 г.,—самую большую благодарность должны принести вам мы, авторы нового на-правления в нашей литературе, за то, что вы помогаете нам отстаивать самостоятельность русской сцены. Наша сцениче-ская литература все еще бедна и молода,—это правда, но с Гоголя она стала на твердой почве действительности и идет по прямой дороге»¹.

Такие высказывания ставят Островского в непосредствен-ную близость с Белинским. Однако здесь еще возможны сом-нения. Известную правомерность и естественность обличи-тельного направления в русской литературе по-своему при-знавали и славянофилы. Огромное значение Гоголя для всего литературного движения 40-х годов тоже в определенном смысле не отрицали и славянофилы. Важным является содер-жание принципов, которые служили для обоснования этих признаний. Сличение идей Белинского и Островского необхо-димо продолжить.

В частности, особое внимание вызывает выделение Остров-ским нравственной сферы, как ближайшей и важнейшей об-ласти творческого художественного воспроизведения. Откуда у него возникало это подчеркнутое и настойчивое возведение литературных задач к вопросам нравственности?

Нельзя не заметить, что Островский, говоря об обществен-ной функции литературы, особенно часто и настойчиво поль-зуется термином «нравственный». Связь искусства с общест-венной жизнью, по его взглядам, осуществляется в том, что «**нравственная жизнь общества, переходя различные формы,** дает для искусства те или другие типы, те или другие задачи». Русскую литературу, по его словам, отличает от всех иных ее «**нравственный, обличительный характер**». Далее, говоря о том, что правдивый художественный образ содействует пре-одолению прежних, несовершенных форм жизни и заставляет искать лучших, Островский прибавляет: «одним словом, заставляет быть **нравственнее**». И далее все развитие мыслей о важности обличительного содержания в литературе он за-канчивает замечанием: «Это обличительное направление на-шей литературы можно назвать **нравственно-общественным направлением**»². В известном письме от 26 апреля 1850 г. к В. И. Назимову о комедии «Свои люди—сочтемся» Островский

¹ «А. Н. Островский о театре». М.—Л., 1947, стр. 24.

² Отзыв о повести Е. Тур «Ошибка», стр. 89—91.

пишет: «Согласно понятиям моим об изящном, считая комедию лучшею формою к достижению нравственных целей и признавая в себе способность воспроизводить жизнь преимущественно в этой форме, я должен был написать комедию или ничего не написать»¹. В статье о комедии А. Жемчужникова «Странная ночь», говоря об общественной роли комедии, Островский все современное направление в литературе называет «нравственно-обличительным»².

Можно было бы подумать, что такое настойчивое словопотребление и напоминание о нравственных функциях и задачах искусства было навеяно на Островского спецификой журнала «Москвитянин» с известными пристрастиями этого круга к вопросам нравственного совершенства. Однако это совсем не так. Вся система мыслей Островского говорит о том, что он и в этом случае шел за Белинским.

4.

Вопросы общественной нравственности в передовой мысли 40-х годов имели огромный практический смысл. Вместо романтических или славянофильских построений абстрактных этических «идеалов», Белинским и Герценом интерес направлялся к тому, что в нравственной сфере существует реально, как сила, действующая в быту, в подлинных практических отношениях между людьми. Зло крепостнической действительности открывалось не только в формах государственных и общественных отношений, но и в бытовых привычных интересах людей, в их понятиях о должном, в представлениях о собственном достоинстве, в особенностях бытового общения и в тех морально-бытовых «правилах», которые практически, ходом самой жизни, вырабатываются и осуществляются в массе, сказываясь в постоянных «житейских отношениях» (выражение Белинского).

Призывы Белинского к изучению и изображению «обыденности» во многом были призывами к пересмотру крепостнических традиций в области бытовой практической морали. Приступая к рассмотрению романа «Евгений Онегин», Белинский писал: «Чтобы верно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особность;—а этого нельзя иначе сделать, как узнав фактически и оценив философски ту сумму правил, которыми держится общество. У всякого народа две философии: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая—ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти философии находятся более или менее в близком соотношении друг к другу; и кто хочет изображать

¹ «Ежегодник имп. театров», 1901—1902, прилож. 4.

² «Москвитянин», 1850, № 13, кн. 1. отд. 4.

общество, тому надо познакомиться с обеими, но последнюю особенно необходимо изучить. Так точно, кто хочет узнать какой-нибудь народ, тот прежде всего должен изучить его—в его семейном домашнем быту»¹.

От абстрактно-моральной точки зрения оценка значения порока Белинским решительно переносилась в социальный план. Нравственный кругозор или привычный кодекс «правил» Белинским рассматривался не замкнуто, не в индивидуально-моральной характеристике, не в абстрактно-теоретическом соотношении с произвольно понятым «идеалом», а в его практических следствиях, проявляющихся в живых, обиходных отношениях между людьми. «Так как сфера нравственности,—писал он,—есть по преимуществу сфера практическая, а практическая сфера образуется преимущественно из взаимных отношений людей друг к другу, то здесь-то, в этих отношениях,—и больше нигде,—должно искать примет нравственного или безнравственного человека, а не в том, как человек рассуждает о нравственности, или какой системы, какого учения и какой категории нравственности он держится» (XII, 35).

Белинский по разным поводам останавливался на выяснении практически-жизненной роли нравственных понятий, на их зависимости от условий общественной среды и от общего состояния культуры. В прогрессивном росте нравственного общественного кругозора усматривался залог лучшего будущего. «Зло скрывается не в человеке, но в обществе,—так как общества, понимаемые в смысле формы человеческого развития, еще далеко не достигли своего идеала, то неудивительно, что в них только и видишь много преступлений. Этим же объясняется и то, почему считавшееся преступным в древнем мире считается законным в новом, и наоборот; почему у каждого народа и каждого века свои понятия о нравственности, законном и преступном» (XII, 107).

В задачах, какие ставились перед литературой, Белинским выделялись общественно-воспитательные цели. В определении положительной роли литературы в жизни общества он указывал на ее нравственно-возвышающее значение. «Литература,—писал Белинский,—была для нашего общества живым источником даже практических нравственных идей» (X, 135)... «Литература действует не на одно образование, но и на нравственное улучшение общества... Все наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась... исключительно в литературе: она живой источник, из которого

¹ В. Г. Белинский. «Полное собрание сочинений», т. XII, 1926 г. стр. 85.—В дальнейшем все цитаты из сочинений Белинского приводятся по изданию под ред. С. А. Венгерова (тт. I—XI) и под редакцией В. С. Спиридонова (тт. XII и XIII).

просачиваются в общество все человеческие чувства и понятия» (X, 136—137).

В трактовке общественных пороков Белинский в первую очередь считал важным раскрыть их укорененность в моральных «правилах», по условиям жизни выработавшихся и принятых в данной среде. В заслугу художнику он ставил его способность открыть и указать порок там, где он сам себя не замечает.

Положительную особенность сатиры Кантемира и его продолжателей Белинский усматривал в том, что она раскрывала недостатки русской жизни, «которые она застала в старом обществе не как пороки, но как правила жизни, как моральные убеждения» (X, 135).

Говоря о Гоголе, Белинский выделял его заслугу в изображении порока не как злодеяния, а как следствия общих нравственных убеждений и настроений соответствующей среды. Обличение тем самым направлялось на общие привычные и ходовые моральные нормы, которые порождались и внушались всем обиходом крепостнической действительности. «Но заметьте, что в нем это не разврат,—писал он о городничем,—а его нравственное развитие, его высшее понятие о своих объективных обязанностях: он муж, следовательно обязан прилично содержать жену; он отец, следовательно должен дать хорошее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партию и, тем устроив ее благосостояние, выполнить священный долг отца. Он знает, что средства его для достижения этой цели грешны перед богом, но он знает это отвлеченно, головою, а не сердцем, и он оправдывает себя простым правилом всех пошлых людей: «не я первый, не я последний, все так делают». Это практическое правило жизни так глубоко вкоренено в нем, что обратилось в правило нравственности» (V, 56—57).

Порочность определяется Белинским не столько по степени дурной моральной настроенности ее носителя, сколько по степени вреда, какой наносится практическим поведением человека, безразлично, с какой моральной настроенностью это поведение соединяется. «Теперь мы убедились, — пишет Белинский,—что лицемерить и неллицемерно любить ложь равно вредно, что умышленно противоборствовать истине и неумышленно преследовать ее есть одинаковое зло. Трудно даже решить, отчего больше проигрывает общество: от злобы ли злых людей, или от равнодушия, тупости, неповоротливости, односторонности, кривосмотрения людей, по природе добрых, которые ни рыба, ни мясо» (XI, 52).

В другом месте по поводу романов Вальтера Скотта Белинский писал: «В его романах вы видите и злодеев, но пони-

маете, почему они -- злодеи, и иногда интересуетесь их судьбой. Большею же частью в романах его вы встречаете мелких плутов, от которых происходят все беды в романах, как это бывает и в самой жизни. Герои добра и зла очень редки в жизни; настоящие хозяева в ней — люди середины, ни то, ни се» (VII, 106).

В отзыве о романе «Кто виноват?» Белинский подчеркнул, что выводимые автором лица «люди не злые, даже большею частью добрые, которые мучат и преследуют самих себя и других чаще с хорошими, нежели с дурными намерениями, больше по невежеству, нежели по злости» (XI, 118).

В самих нравственных понятиях, для большинства привычных и беззлобных, образовавшихся в условиях давней традиции крепостничества, Белинский и Герцен указывали бесконечные источники преступлений против личности. Смысл романа «Кто виноват?» Белинский определил как «страдание, болезнь при виде непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом, и еще больше без умысла» (XI, 116).

В «Капризах и раздумьях», сочувственно цитированных Белинским, Герцен писал: «Добрейший человек в мире, который не найдет в душе жестокости, чтобы убить комара, с великим удовольствием растерзает доброе имя ближнего на основании морали, по которой он сам не поступает»... «...Мещанин во дворянстве очень удивился, узнавши, что он сорок лет говорит прозой—мы хохочем над ним; а многие лет сорок делали злодеяния и умерли лет восьмидесяти, не зная этого, потому что их злодеяния не подходили ни под какой параграф кодекса» (X, 230—231).

Герцен приглашал ввести микроскоп в нравственный мир, «рассмотреть нить за нитью паутину ежедневных отношений», «подумать о том, что (люди) делают дома», о «будничных отношениях, обо всех мелочах, к которым принадлежат семейные тайны, хозяйственные дела, отношения к родным, близким, присным, слугам», присмотреться к слезам жен и дочерей, отдающих себя в жертву по принятой нравственной обязанности.

Все это звало к изучению бытовой обиходной морали, выполняющей и по-своему регулирующей жизнь огромной массы людей; все это требовало от литературы живого вмешательства в ходячие моральные представления с тем, чтобы послужить их исправлению и возвышению, осветить крепостническую неправду требованиями справедливости и разума.

В литературно-теоретических взглядах и в собственной художественной практике Островский следует этому призыву.

В оправдание обличительного и общественно-воспитательного направления в литературе Островский останавливается на

изменяемости нравственных идеалов, указывая при этом на последовательное совершенствование нравственных представлений в зависимости от общего прогресса в культуре человечества. Представления о величии и героизме, или о низости и слабости человека Островский соотносит с нравственными понятиями определенного исторического времени. Оценочно возвышающий или осуждающий свет, в каком выступают человеческие качества в разных литературных произведениях, в понимании Островского, является результатом нравственного кругозора и морального уровня эпохи и среды. Его внимание привлечено к таким фактам литературной истории, где с наибольшей ясностью выступает переменчивость морально-оценочных представлений и где определившаяся временем недостаточность нравственных понятий компенсируется их дальнейшим историческим ростом и возвышением.

Островский напоминает, что герои греческой древности Ахилл и Одиссей для последующего времени во многом утрачивают свой ореол. С другой стороны, бесспорное для нового времени величие Сократа было не понято современниками и осмеяно Аристофаном. Доблесть средневекового рыцаря по своему нравственному уровню для последующего времени оказывалась неприемлемой, а по своей практической неприменимости стала смешной и вызвала, в конце концов, комический образ Дон-Кихота.

«Древность, пишет Островский,—чаяла видеть человека в Ахилле и Одиссее и удовлетворялась этими типами, видя в них полное и изящное соединение тех определений, которые тогда выработались для человека и больше которых древний мир не успел еще заметить ничего в человеке; с другой стороны, легкая и изящная жизнь афинская, прикидывая Сократа на свой аршин, находила его лицом комическим. Средневековый герой был рыцарь, и художество того времени успело изящно соединить в представлении человека христианские добродетели с зверским ожесточением против ближнего. Средневековый герой идет с мечом в руках водворять кроткие евангельские истины: для него праздник не полон, если среди божественных гимнов не раздаются из пылающих костров вопли невинных жертв фанатизма. При другом воззрении, тот же герой сражается с баранами и мельницами»¹.

Мысль об исторической относительности нравственных понятий, взгляд на литературный тип, как на отражение идейного духа эпохи, оценка разных этических идеалов в свете их исторической принадлежности—все это перекликается с Бе-

¹ Отзыв о повести Е. Тур. «Ошибка», «Москвитянин», 1850, № 7, кн. 1, отд. IV. стр. 90.

линским. Нельзя не заметить, что примеры, какие привлекает Островский из литературы прошлого, Ахилл и Одиссей, Сократ и Аристофан, средневековое рыцарство и Дон-Кихот, были и для Белинского постоянными примерами к общей мысли об изменении нравственных идеалов в истории человечества.

Для своего времени,—писал Белинский,—Ахилл и Одиссей, вместе с другими героями «Илиады» и «Одиссеи», были «полными представителями национального духа» древней Греции. Ахилл—«герой по преимуществу, с головы до ног облитый нестерпимым блеском славы, полный представитель всех сторон духа Греции, достойный сын богини» (VI, 91). «Одиссей—представитель мудрости в смысле политики» (VI, 91; ср. VI, 346—347; VII, 92; VIII, 139). При воззрении нового времени внутренняя ценность их героизма упала. По новым понятиям героические заслуги Ахилла снижаются уже тем, что подвиги свои он совершает лишь благодаря чудесной помощи богини Афины, хотя по понятиям своего времени для Ахилла в этом ничего умаляющего не заключалось (XI, 179—180). Самое содержание морального воодушевления Ахилла во многом для современного человека не показалось бы высоким. «Если бы,—писал Белинский,—в наше время какой-нибудь воин стал мстить за павшего в честном бою друга или брата своего, зарезывая на его могиле пленных врагов,—это было бы отвратительным, возмущающим душу зверством; а в Ахилле, умиляющем тень Патрокла убийством обезоруженных врагов, это мщение—доблесть, ибо оно выходило из нравов и религиозных понятий общества его времени» (VIII, 67).

То же и об Одиссее как о герое. «Одиссей есть апофеоза человеческой мудрости; но в чем состоит его мудрость? В хитрости, часто грубой и плоской, в том, что на нашем прозаическом языке называется «надувательством». И между тем, в глазах младенческого народа, эта хитрость не могла не казаться крайнюю степенью возможной премудрости» (VI, 88).

Говоря о Сократе, Белинский особенно выдвигал мысль о том, что его судьба сложилась столь печально не от особо дурных качеств его врагов, а от тех отсталых понятий, с которыми столкнулась мудрость Сократа и которые были общей принадлежностью времени. «Палачи его, афиняне,—писал Белинский,—нисколько не были ни бесчестны, ни развратны, хотя они и погубили Сократа». В частности, Аристофан, осмеявший Сократа в комедии «Облака», нисколько не был ниже уровня нравственности своего времени. «Оставим в стороне наши добрые и невинные учебники и скажем прямо, что с понятием об Аристофана должно соединяться понятие о благороднейшей и нравственнейшей личности». Виноват он был лишь в том, что он разделял общие предрассудки своего

времени и видя «падение поэтических верований гомерической Эллады», «думал помочь горю, защищая старину против нового, осуждая новое во имя старого и приняв охранительное оппозиционное положение в отношении к движительному действительности Сократа» (XII, 348—349). Остальные и неверные понятия, препятствующие прогрессу, для Белинского были страшнее злой воли отдельных людей.

В том же соотносительном несовпадении старого и нового освещался Белинским и образ Дон-Кихота. Дон-Кихот «смешон именно потому, что он анахронизм». Рыцарственность средних веков «с ее восторженным понятием о чести, о достоинстве привилегированной крови, о любви, о храбрости, о великодушии, с ее фанатической и суеверною религиозностью» оказалась неприменимой к условиям нового времени и вызвала против себя реакцию в лице Дон-Кихота (VIII, 134). «А что такое Дон-Кихот?—Человек вообще умный, благородный, с живою и деятельною натурою, но который вообразил, что ничего не стоит в XVI веке сделаться рыцарем XII века — стоит только захотеть» (XI, 253, ср. VII, 104).

В поступательном развитии нравственных понятий морально преобразующее значение литературы, как для Белинского, так и для Островского, мыслилось в том, что она помогает замене старых, обветшалых представлений новыми, более широкими и более достойными человека, как разумного существа. «...Публика ждет от искусства,—писал Островский,—облечения в живую, изящную форму своего суда над жизнью, ждет соединения в полные образы подмеченных у века современных пороков и недостатков... И художество дает публике такие образы, и этим самым поддерживает в ней отвращение от всего резко определившегося, не позволяет ей воротиться к старым, уже осужденным формам, а заставляет быть нравственнее»¹.

5.

Обращение к изображению действительности, признание общественных обличительно-воспитательных целей искусства, стремление к бытовой правде, желание понять и показать человека в типичных обстоятельствах и условиях его среды, внимание к нравственным понятиям, существующим в практических бытовых отношениях между людьми,—все это во многом объясняет и характеризует творчество Островского в его идейной близости к Белинскому. Но все это пока еще касается лишь общих предпосылок и не открывает ближайшей проблематической заинтересованности писателя, той заинтересованности, которая видит волнующие противоречия жизни, раскрывает столкновение противоположных сил или стремле-

¹ «Москвитянин», 1850, № 7, кн. 1, отд. IV, стр. 92.

ний, рождает гнев, сожаление или радость, распределяет оценочный свет по всем фактам и, в конце концов, определяет схождение пьесы в ее конфликте и движениях.

Эта главная, центральная, определяющая и направляющая заинтересованность у Островского состояла в его постоянном внимании к личности человеческой, стесненной в удовлетворении своих естественных, светлых и лучших запросов

Пересмотр бытовых отношений с точки зрения высшей гуманности в наибольшей мере включает Островского в идейную специфику 40-х годов, связывая его с той линией передовой мысли, которая создавалась Белинским и Герценом.

В противовес крепостническому порабощению личность человека провозглашалась Белинским и Герценом основным мерилом всех оценок. Во имя личности в области философии заявлялся протест против гегелевского фатализма, подчиняющего личность абстрактному всеобщему «объективному духу». Во имя личности производилась переоценка всех моральных норм. Во имя личности крепостного крестьянина подвергались суду усадебные помещичьи порядки. Пересмотр угнетающих традиций в семейных нравах и критика всех форм бюрократического подчинения тоже осуществлялись во имя личности.

Всюду ставился вопрос об угнетении. В передовом идейном движении этих лет раскрывались и развивались задачи, суммированные Белинским в письме к В. Боткину от 15 января 1841 года: «Вообще все общественные основания нашего времени требуют строжайшего пересмотра и коренной перестройки, что и будет рано или поздно. Пора освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности»¹.

В художественной литературе критика действительности направлялась в защиту угнетенного «маленького человека». Зло крепостнической жизни всюду воспроизводилось на примерах печальной судьбы угнетенной и страдающей личности. В этом состояло главное идейное новаторство передовой литературы 40-х годов. В «Станционном смотрителе» Пушкина, в «Шинели» Гоголя было этому лишь намечено начало. Широкое развитие эта тема могла получить только в 40-х годах, в результате общего сложения антикрепостнического идейного движения, выразившегося в защите прав угнетенной личности.

В изображении порочных сторон русской действительности центр тяжести был перенесен от внутренней анатомии самого порока к его действенным результатам и последствиям для окружающих. В «Деревне» и «Антоне Горемыке», в рассказах Тургенева и стихотворениях Некрасова, в романе «Кто вилю-

¹ В. Г. Белинский. «Письма», т. II, стр. 203.

ват?» и повести «Сорока-воровка» Герцена, в «Запутанном деле» Салтыкова изображены не только пустота, духовная ограниченность, сытая, скучающая барственность, но и судьба людей, которые зависят и страдают от них. Проявления духовной ограниченности, пошлости, моральной тупости и мелкого эгоизма во всякой среде вызывают интерес по их действию на жизнь и человеческое достоинство обиженных людей. В этом направлении менялся весь писательский кругозор.

В связи с развитием крестьянского освободительного движения в передовой мысли 40-х годов многое в русской действительности, существовавшее и раньше, становится впервые зримым и заметным.

Устанавливается новый принцип критики действительности. Наблюдение над жизнью регулируется новым акцентом творческого внимания сообразно иной общей познавательной и практической задаче. Развивается восприимчивость ко всяким формам угнетения личности и в том числе к тем крепостническим моральным представлениям, которые содержали в себе источники и оправдание насилия и пренебрежения к человеку.

В упомянутых выше «Капризах и раздумьях» Герцена имеется этюд, который прекрасно показывает новый исходный принцип в наблюдениях над жизнью, когда в самом процессе наблюдения изучающий интерес от носителей порока перемещается к их жертвам. Сказав о необходимости и важности изучения «семейных отношений», о дикости и тупости домашних нравов, о темноте и преступности обиходных нравственных понятий, Герцен заключает это так: «Когда я хожу по улицам, особенно поздно вечером, когда все тихо, мрачно, и только кое-где светится ночник, тухнувшая лампа, догорающая свеча,—на меня находит ужас; за каждой стеной мне мерещится драма, за каждой стеной виднеются горячие слезы. слезы, о которых никто не сведает, слезы обманутых надежд. слезы, с которыми утекают не одни юношеские верования человеческие, а иногда и самая жизнь. Есть, конечно, дома, в которых благоденственно едят и пьют целый день, тучнеют и спят беспробудно целую ночь, да и в таком доме найдется хоть какая-нибудь племянница, притесненная, задавленная. хоть горничная или дворник, а уж непременно, хоть кому-нибудь да солоно жить»¹.

То, что было говорено о порочности русской жизни Гоголем, нисколько не утрачивало актуальности, но при новых задачах требовало пополнения.

¹ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений под ред. М. К. Лемке, т. IV, стр. 402. — Полн. собр. соч. Белинского, т. X, стр. 232.

Гоголя продолжали, развивали, заостряли и проясняли в том, что у него было неясного или недосказанного в гуманистических выводах.

Досказывание Гоголя в этом направлении было начато Белинским. Белинский вполне отдавал отчет в «недоговоренности» гоголевской сатиры и иногда, сколько было возможно по условиям цензуры, приоткрывал тот перспективный план, в котором должны были мыслиться не только комические фигуры порока, но и его трагические жертвы.

В отзыве о «Современнике», т. 11 и 12 (1838 г.) Белинский, объясняя важность ярких, художественно-типических подробностей, дает такой пример: «Помните ли вы,—обращается он с вопросом к читателю,—как майор Ковалев ехал на извозчике в газетную экспедицию, и, не переставая тузить его кулаком в спину, приговаривал: «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!». И помните ли вы короткий ответ и возражение извозчика на эти понукания—«Эх, барин!», слова, которые приговаривал он, потряхивая головой и стегая возжей свою лошадь... Этими понуканиями и этими двумя словами «Эх, барин!» вполне выражены отношения извозчиков к майорам Ковалевым» (IV, 74).

В статье о «Горе от ума» (1840), раскрывая сущность комического в «Ревизоре», Белинский не забыл упомянуть о том, какие трагические возможности заключены в смешных страстишках действующих лиц этой пьесы.

На основе комических мечтаний гоголевского городничего о генеральстве Белинский указал, какие последствия могут возникать от подобных начальственных поползновений. «В комедии («Ревизор») есть свои страсти, источник которых смешон, но результаты могут быть ужасны. По понятию нашего городничего, быть генералом значит видеть перед собою унижение и подлость от низших, гнести всех не-генералов своим чванством и надменностью: отнять лошадей у человека нечинного или меньшего чином, по своей подорожной имеющего равное на них право; говорить «братец» и «ты» тому, кто говорит ему «ваше превосходительство» и «вы» и проч. Сделайся наш городничий генералом—и когда он живет в уездном городе, горе маленькому человеку, если он, считая себя «не имеющим чести быть знакомым с г. генералом», не поклонится ему или на балу не уступит места, хотя бы этот маленький человек готовился быть великим человеком!... Тогда из комедии могла бы выйти трагедия для маленького человека» (V, 71—72).

Возражая против идиллического истолкования «Мертвых душ» славянофилами, Белинский писал: «Константин Аксаков готов находить прекрасными людьми всех изображенных в ней героев... Это, по его мнению, значит понимать юмор Го-

голя... Что бы он ни говорил, но из тону и из всего в его брошюре видно, что он в «Мертвых душах» видит русскую «Илиаду». Это значит понять поэму Гоголя совершенно навыворот. Все эти Маниловы и подобные им забавны только в книге, в действительности же избави боже с ними встречаться, а не встречаться с ними нельзя, потому что их таки довольно в действительности, следовательно, они представители некоторой ее части». Далее Белинский формулирует общий смысл «Мертвых душ» в собственном понимании: «истинная критика должна раскрыть пафос поэмы, который состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом»... И далее ставит известный ряд вопросов, из которых каждый, исходя из комического факта поэмы, наводит на мысли о трагических сторонах русской жизни, какие предполагаются этим фактом: «Отчего прекрасную блондинку разбранили до слез, когда она даже не понимала, за что ее бранят» и пр. И затем заканчивает: «Много таких вопросов можно выставить. Знаем, что большинство почитает их мелочными. Тем-то и велико создание «Мертвые души», что в нем сокрыта и разанатомирована жизнь до мелочей, и мелочам этим придано общее значение. Конечно, какой-нибудь Иван Антонович, кувшиное рыло, очень смешон в книге Гоголя и очень мелкое явление в жизни; но если у вас случится до него дело, так вы и смеяться над ним потеряете охоту, да и мелким его не найдете... Почему он так может показаться важным для вас в жизни — вот вопрос!». (VII, 443—444).

В печатных высказываниях Белинский между Гоголем и натуральной школой не проводил никакого разграничения. И это понятно. Обозначить то принципиально новое, что натуральная школа вносила в обличительную традицию Гоголя, это значило бы объявить борьбу не только с духовным уродством, порождаемым крепостничеством, с пошлостью, обывательской тупостью и моральной слепотой, не только с бюрократическими плутнями, взяточничеством, казнокрадством и иным лихоимством,—это значило бы открыто признаться в начатой войне против основного принципа и устоя крепостнических порядков, против угнетения—самодержавно-государственного, помещичьего, бюрократического, полицейского, семейного, бытового во всех формах его проявления.

В тех условиях, в которых приходилось вести борьбу Белинскому, наоборот, надо было «заметать следы» и не наводить на мысль о коренной взрывчатости, заложенной в новых принципах обличения, надо было показать, что нападки на действительность со стороны натуральной школы не выходят за пределы прежней сатирической традиции, исторически

признанной и так или иначе допускавшейся правительством. Поэтому Белинский в печатных статьях ставил на вид лишь то, что натуральную школу связывает с предшествующей традицией и замалчивал о том, что в ее обличительных основах было нового.

В обстановке полицейского надзора всякое оправдание критики действительности нуждалось в защитной маскировке. И Белинский, защищая новое направление, рядом с аргументами по существу, прибегал к доводам, специально направленным для надзирателей. «Здесь мы не можем не упомянуть,—писал он в «Ответе «Москвитянину»,—о просвещенном и благодетельном покровительстве, которым наше правительство всегда ободряло сатиру: оно допустило к представлению и «Недоросля», и «Ябеду», и «Горе от ума», и «Ревизора». И наше общество было достойно своего правительства: за исключением второй из этих комедий, слабой по выполнению, все другие в короткое время сделались народными драматическими пьесами» (XI, 27). А по поводу всей этой статьи («Ответ «Москвитянину») Белинский 22 ноября 1847 года писал К. Д. Кавелину: «Вы, юный друг мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, для кого и для чего она писана. Дело в том, что писана она не для вас, а для врагов Гоголя и натуральной школы, в защиту от их фискальных обвинений. Поэтому я счел за нужное сделать уступки, на которые внутренне и не думал соглашаться, и кое-что изложил в таком виде, который мало имеет общего с моими убеждениями касательно этого предмета. Например, все, что вы говорите о различии натуральной школы от Гоголя, по-моему, совершенно справедливо; но сказать этого печатно я не решусь: это значило бы наводить волков на овчарню, вместо того, чтобы отводить их от нее. А они и так нашли на след, и только ждут, чтобы мы поговорились»¹.

И Белинский был прав. Враги начинали уже понимать специфику обличительных ударов натуральной школы. В той статье, против которой направлен был «Ответ «Москвитянину», Ю. Самарин в укор натуральной школе заметил: «Бы чиновничий, кажется, уже исчерпан; теперь в моде быт провинциальный, деревенский и городской. Лица, в нем действующие, с точки зрения наших нравоописателей, подводятся под два разряда: бьющих и ругающих, битых и ругаемых, побои и брань составляют как бы общую основу, на которой бледными красками набрасывается слегка пошлый узор любовной интриги»².

¹ В. Г. Белинский. «Письма», т. III, стр. 299.

² Ю. Ф. Самарин. «О мнениях «Современника» исторических и литературных». Собрание сочинений, т. I, М., 1877 стр. 86.

Враждебное замечание Ю. Самарина правильно улавливало основную идейную ось натуральной школы, то есть обличение угнетения, разделяющего население страны на две далеко неравных категории: «бьющих и ругающих, битых и ругаемых».

Письмо К. Д. Кавелина к Белинскому, где он писал «о различии натуральной школы от Гоголя», до нас не дошло. Поэтому мы не знаем пункты, вызвавшие столь определенное согласие Белинского. Сколько можно судить по ответным замечаниям Белинского в письме к К. Д. Кавелину от 7 декабря 1847 г., речь шла о социальном качестве изображаемых пороков.

С одной стороны, Белинский здесь напоминал Кавелину цель, какую он имел в виду, когда в «Ответе «Москвитянину»» настойчиво разъяснял типичность и распространенность пороков, изображаемых Гоголем. «Что касается до добродетелей Собакевича и Коробочки, вы опять не поняли моей цели; а я совершенно с вами согласен. У нас все думают, что, если кто, сидя в театре, от души гнушается лицами в «Ревизоре», тот уже не имеет ничего общего с ними, и я хотел заметить, с одной стороны, что самые лучшие из нас не чужды недостатков этих чудищ, а с другой, что эти чудища — не людоеды же»¹. Эти разъяснения противостояли стремлениям реакционной и славянофильской критики притупить и отвести гоголевскую сатиру, представив типы Гоголя как не характерное исключение. В этом ничего отделяющего Гоголя от натуральной школы нет.

Но вот дальше Белинский прибавляет такое замечание: «А вы правы, что собственно в них нет ни пороков, ни добродетелей. Вот почему заранее чувствую тоску при мысли, что мне надо будет писать о Гоголе, может быть, не одну статью, чтобы сказать о нем мое последнее слово; надо будет говорить многое не так, как думаешь... Что между Гоголем и натуральною школою целая бездна; но все-таки она идет от него, он отец ее, он не только дал ей форму, но и указал на содержание. Последним она воспользовалась не лучше его (куда ей в этом бороться с ним), а только сознательнее»².

В этом замечании названо качество гоголевских героев, которое ощущалось Белинским, как разграничительная черта между Гоголем и натуральной школой, причем черта такая, о которой в печати он говорить не хотел. В словах: «собственно, в них нет ни пороков, ни добродетелей», очевидно, имелась в виду не генетическая «невинность» гоголевских героев в смыс-

¹ В. Г. Белинский. «Письма», т. III, стр. 312.

² Там же, стр. 312.

ле их социальной обусловленности. Об этом Белинский говорил и печатно, и в такой «невинности» у Гоголя ничего отличного от натуральной школы не было. В этом отношении натуральная школа целиком следовала за Гоголем. Отсутствие «пороков» и «добродетелей» в данном случае Белинским, очевидно, понималось в смысле моральной «невинности», взятой с результативной стороны (гоголевские пороки непосредственно не производят ни добра, ни зла для окружающих). То, что у Белинского, Герцена было в главном поле внимания (жертвы порока), у Гоголя это содержалось лишь потенциально и перспективно. Практические следствия порока для страдающей стороны у Гоголя оставались не обозначенными¹. Гоголя надо было «досказывать», то есть раскрывать мысль о бесправных народных массах и о необходимости устранения господствующего крепостнического угнетения. То, что у Гоголя было недосказано, это Белинским ставилось в сознательную программу для натуральной школы. Явственно об этом говорить было невозможно: «это значило бы наводить волков на овчарню», и Белинскому в печати приходилось об этом умалчивать, или говорить только намеками и отдаленно².

6.

Первые литературные опыты молодого Островского осуществлялись под прямым воздействием Гоголя, «Сказание о том, как квартальный надзиратель пускался в пляс» продолжает гоголевскую тематику о мелочности и пошлости обывательских чувств; все лица представлены здесь в гоголевской коми-

¹ Об этом подробнее будет сказано ниже, при сравнении Гоголя с Островским.

² В содержательных статьях А. Лаврецкого и Н. Степанова, посвященных вопросу об отношении Белинского к Гоголю, высказывания Белинского о Гоголе в письмах к К. Д. Кавелину остаются без учета (А. Лаврецкий. Гоголь в оценке Белинского и Чернышевского. «Лит. критик», 1938, кн. 4.—А. Лаврецкий, Белинский. Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм. М. 1941.—Н. Степанов. Белинский и Гоголь. Сб. «Белинский историк и теоретик литературы». М.—Л., 1949). В статьях Н. И. Мордовченко (Белинский в борьбе за натуральную школу. «Лит. наследство», т. 55. М., 1948; Белинский в борьбе за Гоголя в 40-е годы. Сб. «Белинский. Статьи и материалы». Изд. Ленинградского гос. университета, 1949) письма Белинского к Кавелину, наряду с иными богатыми материалами, используются, но вопросы о том, в каком смысле говорил Белинский, что у гоголевских героев «собственно нет ни пороков, ни добродетелей» и почему именно от этого он чувствовал «тоску при мысли, что ему надо будет писать о Гоголе», иначе сказать, в какой связи с этим находится вынужденный отказ Белинского писать о различии между Гоголем и натуральной школой—эти вопросы не получают объяснения. В статье С. Машинского «Белинский о Гоголе» (В кн. «Белинский о Гоголе». Статьи, рецензии, письма. Под ред. С. Машинского, М. 1949) на эти вопросы тоже не имеется никакого отклика.

ческой разработке. В работе над «Записками замоскворецкого жителя» («Кузьма Самсоныч», «Две биографии») проявляются идеи Белинского и Герцена о губительном влиянии среды и дурного воспитания, убивающего и искажающего в человеке лучшие инстинкты. В «Иване Ерофенче» дается образ «бедного человека», загубленного грубыми условиями жизни¹.

Важно заметить это направление творческого движения молодого Островского. Если в первом опыте («Сказание») в центре авторского внимания находится нечто смешное и порочное (отрицательное) само по себе, то в дальнейшем внимание сосредоточивается на страдающем лице; все остальное, порочное, показано применительно к его судьбе и оценочно взвешивается его печальной жизнью.

Для второй точки зрения «указал содержание» тоже, конечно, Гоголь («Шинель», «Записки сумасшедшего»), но специальная сосредоточенность на этом, для творчества Островского почти единственная и исключительная, могла образоваться только в условиях общего идейного движения 40-х годов, возглавляемого Белинским.

Едва ли молодой Островский осваивал и разделял взгляды Белинского во всех их социальных и политических выводах. Для Белинского с защитой прав угнетенной личности соединялись, в конце концов, революционные перспективы. У большинства представителей натуральной школы таких революционных перспектив не было. Тем не менее «натуральная школа» в ее идейном обосновании была порождена Белинским. Подход к оценке и освещению крепостнических нравов с позиций гуманизма, во имя лучших и естественных запросов угнетенной личности, воспитался и сформировался у Островского, как и у других представителей натуральной школы, под его могучим влиянием, распространявшимся на все передовое идейное и литературное движение 40-х годов.

В пору деятельности Белинского, когда вырастала и формировалась натуральная школа, между революционным демократизмом и либерализмом полного размежевания не было, и принципы критики крепостничества, устанавливаемые Белинским, воспринимались и разделялись с общих антикрепостнических позиций, объединявших писателей с разным политическим сознанием, в том числе и таких, которые не могли подняться и не поднимались до идеи крестьянской революции (Тургенев, Григорович и др.).

¹ См. Л. М. Лотман. «Записки замоскворецкого жителя» А. Н. Островского (История и эволюция замысла). Институт литературы Академии наук СССР. Труды отдела новой русской литературы, I. М.—Л., 1948.—А. И. Ревякин. «Художественная проза раннего Островского», Ученые записки Московского городского педагогического института, т. VII, 1946.

Передовое значение натуральной школы состояло в том, что ею поднимался протест против крепостнического угнетения (защита угнетенной личности) и в связи с этим устанавливались новые и иные способы литературного обличения недостатков действительности.

Островский воспринял и в своем творчестве реализовал эту обновленную критическую антикрепостническую точку зрения.

Насколько существенные преобразования внесла эта точка зрения в драматургию Островского (сравнительно с гоголевской драматургией), об этом свидетельствует непосредственное сравнение пьес Островского с творчеством Гоголя.

Самое разительное отличие между пьесами Гоголя и Островского состоит в том, что у Гоголя нет жертвы порока, а у Островского всегда присутствует страдающая жертва порока.

У Гоголя порок разоблачается и обличается сам по себе, в его внутренней несостоятельности. В статье «О русской повести и повестях Гоголя» Белинский писал: «Есть вещи, столь гадкие, что стоит только показать их в собственном их виде, или назвать их собственным их именем, чтобы возбудить к ним отвращение» (II, 229). И Гоголь показывает эти вещи, называя их именами Перерепенко, Довгочхуна, Манилова, Собакевича, Плюшкина и пр. Каждый гоголевский тип, воплощая в себе известные качества порочности, духовной бедности и ничтожества, содержит в себе и свое отрицание. Раскрываемое в гоголевском юморе внутреннее содержание порока само по себе вызывает к нему отрицательное отношение и стремление к его преодолению и устранению. В пьесах Островского порок изображается не только во внутренней несостоятельности, но в непосредственном губительном, трагическом воздействии на жизнь других людей.

В «Ревизоре» выступает вся неприглядность жизни старой крепостнической России. Так или иначе тут представлены и взяточничество, и казнокрадство, и судебное лихоимство, и легкомысленно обывательское отношение к службе, и сплетни, и служебное чванство, и пустота мелкого любопытства, и хвастовство, и праздность, и ничтожество интересов и пр. «Отовсюду, — писал Гоголь, — из разных углов России, стеклись сюда искажения из правды, заблуждения и злоупотребления, чтоб послужить одной идее»...

Читателю или зрителю легко представить, какова была жизнь в том кругу для человека, сколько-нибудь сохранившего человеческие чувства и оказавшегося под властью этих людей и их понятий. Но эта страдающая сторона в непосредственной сценической демонстрации у Гоголя не представлена. Она лишь предполагается.

Этот перспективный план жизни, где присутствует не толь-

ко порок, но и его жертвы, в «Ревизоре» лишь несколько приоткрывается появлением высеченной унтер-офицерской вдовы, купцов и большого количества просителей, какие тянутся с жалобами к Хлестакову. Но весь этот эпизод, важный для характеристики господствующих в городе нравов, остается все же только эпизодом, в конфликтном сложении и движении пьесы он никакой роли не играет. В фокусе пьесы находится только сама порочность или моральная недостаточность всех собранных здесь лиц.

В литературе о «Ревизоре» было обращено внимание на появление унтер-офицерши и слесарши—в комическом или не в комическом плане они представлены¹. Конечно, в каком-то оттенке это не безразлично, хотя комизм сам по себе в вопросе об отношении к лицу не имеет решающего значения: сочувственное отношение к лицу может сочетаться с присущими ему комическими чертами (напр., Акакий Акакиевич в «Шинели»). Но в данном случае дело даже не в этом. Дело в том, что вся пьеса, наполненная изображением зла, в определяющей и движущей коллизии своей проводится без участия тех, кто непосредственно страдает от этого зла. Порок разоблачает себя сам, собственным ничтожеством и уродством.

Гоголю, конечно, были видны и жертвы порока, но прямым предметом его изображения были не они, а сами носители порока, их духовный уровень, благодаря которому становится возможной столь низменная и ничтожная жизнь. Объясняя роль городничего, Гоголь писал: «Человек этот более всего озабочен тем, чтобы не пропускать того, что плывет в руки. Из-за этой заботы ему некогда было взглянуть построже на жизнь или же осмотреться получше на себя. Из-за этой заботы он стал притеснителем и очерствел почти неприметно для самого себя, потому что злобного желания притеснять в нем нет; есть только просто желание прибирать все, что ни видят глаза. Просто он позабыл, что это в тягость другому, и что от этого трещит у иного спина»².

Городничий забыл, но Гоголь, конечно, не забыл об этом «другом», у которого «трещит спина». Гоголь взволнован тем, как об этом забыть можно. Об этом и написана пьеса.

¹ Напр. В. Данилов в статье «Ревизор» со стороны идеологии Гоголя («Родной язык в школе», 1926, № 10) характеризовал обе роли мещанин как «сильно комические». В. В. Гиппиус отрицал это, находя, что «в этой эпизодической паре больше бытовой колоритности, чем собственно комизма». В. В. Гиппиус «Проблематика и композиция «Ревизора». Сб. «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», под ред. В. В. Гиппиуса, изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1936, стр. 171.

² «Предупреждение для тех, которые пожелаю бы сыграть, как следует, «Ревизора». Сочинения Н. В. Гоголя, изд. 10, т. VI, стр. 249—258.

Действие в пьесах Гоголя складывается в сфере вольных или невольных столкновений разных порочных типов. Смешные или порочные черты одного характера вступают в противоречивое общение с иными, столь же смешными и порочными чертами другого лица, и в клубке этих взаимодействий раскрывается и показывается убожество, уродливость, моральная неприглядность одной и другой стороны.

Так происходит в «Ревизоре», в «Женитьбе», в «Игроках», в том же роде намечен конфликт в сценах «Тяжба», «Утро делового человека». Конечно, при этом кто-то «терпит». В «Ревизоре», в конце концов, неудачником оказался городничий, в «Женитьбе» «терпят» все отодвинутые Кочкаревым женихи, а потом, после того как Подколесин выпрыгнул в окно, «терпит» и Агафья Тихоновна. В «Игроках» «терпит» обманутый Ихарев. Но так как у «потерпевшего» при этом находятся в ущербе только те же смешные или порочные побуждения, так как подлинно человеческое и в этом случае совсем не затрагивается, то действительно страдающей стороны не оказывается.

У Островского порок почти во всех пьесах ниспровергается зрелищем того урона, который он наносит для жизни другой, здоровой личности. Вместе с пороком у Островского всегда воспроизводится и та сторона, которая от него страдает.

Сообразно идеям Белинского и Герцена, Островский усваивает практическую точку зрения в оценке человека и его поведения. Моральные свойства личности Островский измеряет по степени их жизненного значения для общества, для окружающих. «Человек должен быть в обществе,—писал он в статье о «Тюфяке» Писемского, — а для общества мало, если он только сам по себе хорош: он должен быть хорош и для других, чтобы и другим было хорошо с ним, и тогда только может он требовать внимания и уважения, когда сам отвечает требованиям общества»¹.

Соотносительно перефразируя, то же можно сказать и о плохом: Островский изображает не только то, как человек бывает сам по себе плох, но и то, как от него бывает плохо и для других. И это второе является для него главным показателем в обнаружении дурного. Островский видит порок там, где он мешает жить хорошему.

Кроме того, самые пороки, изображаемые Островским, в морально-качественном содержании различны от пороков, изображаемых Гоголем.

В наблюдениях над человеком акцент внимания у обоих писателей не одинаков, они на разное смотрят.

¹ «Москвитянин», 1851, № 7. кн. 1, стр. 380.

Сам Гоголь несколько раз формулировал исходную точку своих наблюдений над жизнью и обозначил тот круг пороков, на который был устремлен его взгляд. Гоголь преследует все ничтожное, мелкое и пустое в человеке, «пошлость пошлого человека», мелочную занятость и «вздоры», которые отвлекают человека от серьезных задач жизни. Ему страшно, «на что расходуетя человек», его удручает «обнаруженная человеческая бедность». Он смотрит, как люди «заняты хлопотливо, суетливо, даже жарко своим (пустым) делом, как бы важнейшею задачею своей жизни». Его печалит и смешит «пустяк их заботы». Гоголь по преимуществу наблюдает и видит человека там, где он с серьезностью отдается ничтожному интересу.

• Моральная или социальная преступность гоголевских лиц выступает лишь в конечном итоге, как проявление мелочности и пошлости, но не как прямое нарушение благополучия другого лица.

Перерепенко любит дыни, любит свою бекешу со смушками, любит почувствовать себя достаточным хозяином, у которого всего много, любит свое «тонкое» обращение с людьми, и гордится этим, и вся жизнь его этим занята. В итоге получается человеческая измельченность желаний, «пошлость пошлого человека». Но эта порочность Ивана Ивановича в прямом смысле не посягает на другого человека. Правда, Иван Иванович наносит обиды Ивану Никифоровичу: назвал его гусакom, подпиливает его хлев и пр., но все это непосредственно вредящее оказывается в действии только в силу мелочности того же Ивана Никифоровича. Страдают, в конце концов, оба, но не столько друг от друга, сколько от самих себя.

Мечтательство Манилова — порок, потому что оно делает его человеком негодным и бесполезным. Но это мечтательство прямым образом не затрагивает другой личности. То же, по своему, можно сказать о Ноздре, о Коробочке, о Петухе, о Тентетникове и др. У всех порок, в сущности, состоит в ничтожестве интереса, ради которого они не видят в жизни ее действительно важной и серьезной стороны. Но самый этот «интерес», волнующий и оживляющий каждого из них, не находится в губительном конфликте ни с кем. В этом смысле выше были отмечены слова Белинского: «в них, собственно, нет ни пороков, ни добродетелей».

В «Ревизоре» Гоголь обличает общую духовную бедность всех действующих лиц. В итоге вся эта картина духовного убожества, пустоты, измельченности желаний, моральной слепоты, праздности, мелкого тщеславия, узаконенного плутовства и равнодушия к общественному злу неминуемо порождает представления об обманутых людях, о забытых обидах, о бюро-

кратической и крепостнической несправедливости, о народе, который несет последствия подобного управления страной. И пьеса воспринимается в ее огромном социальном значении, как смех сквозь слезы.

При этом, если увидеть обобщающий принцип в сложении каждого лица, определивший отбор всех присвоенных им качеств и объединивший их в одно целое, то оказывается, что в основе порочности каждого из них находится нечто, не относящееся к прямому моральному злу. Гоголь обличает их общую духовную бедность, преследует «пустяк их заботы». Смешное и гадкое состоит в том, что люди заняты своими «пустяками», «как бы важнейшею задачею своей жизни». Сами по себе эти пороки почти у всех (кроме, разве, Сквозника-Дмухановского) не содержат прямого вреда для другого. Источником зла и предметом осмеяния является сама мелочность, ничтожество, «пошлость пошлого человека». Ляпкин-Тяпкин «даже не охотник творить неправду», его одолевает «страсть к псовой охоте», и он иногда берет взятки «борзыми щенками». Но в сценическом поведении Ляпкина-Тяпкина подвергается обличению и осмеянию даже не это, а еще иной «пустяк», более мелкий. Комизм его, как пояснял Гоголь, состоит в том, что он «занят собою», ему хочется щегольнуть своим умом «выказать себя», найти повод своим «умным» «догадкам и соображениям». От зрителя училищ и почтмейстера совсем никому нет обиды. Бобчинский и Добчинский виноваты только в том, что они «больны необыкновенной чесоткой языка», их одолевает «желание иметь о чем рассказать», «и эта страсть стала их движущей страстью и стремлением к жизни». «Страсть» Хлестакова, по существу, тоже невинна: «он чувствует только то, что везде можно хорошо порисоваться», в нем «нет никакого соображения и глупость во всех поступках»... Анна Андреевна и Марья Антоновна вовлечены в пьесу тоже только со стороны своих женских «пустяков», какие составляют предмет их «заботы»¹. А все вместе говорит о несоответствии этих людей ни человеческому достоинству вообще, ни тому положению, какое они занимают.

То же и в «Женитьбе», то же и в «Мертвых душах». Позднее в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь пояснял: «Мне бы скорее простили, если бы я выставил картинных извергов, но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, нежели все его пороки и недостатки».

¹ Все слова, поставленные в кавычках, взяты из «Предупреждения для тех, которые пожелали бы сыграть, как следует, «Ревизора». Сочинения Гоголя, изд. 10, т. VI, стр. 249—258.

Островский, изображая порочную сторону жизни, тоже имеет в виду нечто низменное, вздорное и ничтожное, но у него все эти «вздоры» всегда содержат в себе нечто вредное и непосредственно тягостное для других людей.

Островского интересует нравственная порочность в собственном смысле, т. е. порочность отношений человека к человеку. Островский подмечает в людях то, что в их интересах, в жизненных понятиях и в поведении ведет к нарушению благополучия другого человека: прямой обман из-за корыстных расчетов, грубые понятия, ведущие к устранению духовных связей, дикие проявления тщеславия, унижающие человеческое достоинство и т. п. Центром характеристики каждого лица у Островского является его нравственный облик, круг нравственных понятий, проявляющихся в отношениях к другим людям.

Пузатов и Ширялов, Большов и Подхалюзин, Мерич и Беневоленский, Добротворский и Анна Петровна, Вихорев и Баранчевский, Гордей Торцов и Коршунов, Брусков и Аграфена Платоновна, Вышневецкий и Юсов с Белогубовым, Уланбекова и Леонид, Кабанова и Дикой и пр.—все взяты и показаны прежде всего со стороны присущих им нравственных понятий, ведущих к нарушению личности другого человека.

И у Островского так же, как у Гоголя, порочные герои в собственном сознании часто не отдают себе отчета в низменности своих понятий и ничтожестве интересов. Они поступают сообразно нравам своей среды и ничего предосудительного в своем поведении не видят. Слова Гоголя и Белинского, разъясняющие в этом смысле роль городничего, были цитированы выше. Островский в этом отношении следует Гоголю; его герои, по темноте своего нравственного сознания, часто тоже «не знают, что творят», и дурные дела, поэтому, часто ими совершаются с полным благодушием и уверенностью в своей правоте и добродетели: таковы Анна Петровна Незабуткина и Добротворский в «Бедной невесте», Аграфена Платоновна из комедии «В чужом пиру похмелье», Юсов и Белогубов из «Доходного места». В разной степени это присуще и другим лицам. В этом смысле и у Гоголя и у Островского порочные люди могут выступать с одинаковой субъективной «невинностью». Но кроме этой, социально генетической невинности, порочное у гоголевских лиц имеет особый характер «невинности» в смысле отсутствия прямой обиды для окружающих.

Эта особенность многое объясняет в том, почему в пьесах Гоголя и Островского юмор занимает столь различное место.

Сообразно предмету и целям гоголевских обличений, его поражающим орудием, главным образом, был смех, «без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала

бы так человека»¹. Для Гоголя вывести порок на сцену прежде всего значило подвергнуть его публичному бичующему осмеянию. «Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков! на сцену их, на смех всем!»². И вся конструкция гоголевских пьес, и в подборе действующих лиц, и в сюжетном сложении, была направлена к воздействию силою смеха: «насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете»³.

Всякий элемент, уводящий от смеха, Гоголь считал ослабляющим силу «общественной комедии», удаляющим ее от прямых целей. В частности, на этом основании Гоголь ставил за пределами комедии «любовный ход», то есть любовную завязку. В том виде, как подобная завязка практиковалась в водевилях и мещанских пьесах, она отвергалась Гоголем по неудовлетворительности внутреннего содержания: «Как ничтожны эти театральные любовники с их картонной любовью!» С другой стороны, глубокое и содержательное изображение любви, с точки зрения Гоголя, в комедии помешало бы господству бичующего смеха. «...Любовь и все другие чувства, более возвышенные, тогда только произведут высокое впечатление, когда будут развиты во всей глубине. Занявшись ими, неминуемо должно пожертвовать всем прочим. Все то, что составляет именно сторону комедии, тогда уже побледнеет, и значение комедии общественной непременно исчезнет»⁴.

При иной постановке, когда имеется в виду представить не только порок, но и тех, кого он теснит и давит, изображение «возвышенных чувств» в обличительной пьесе становится не только естественным, но и необходимым, хотя бы от этого пьеса и перестала быть чисто комической. Так, у Гоголя в сценическом фрагменте, опубликованном им под заглавием «Отрывок», тема столкновения лучших взглядов и чувств сына с нелепыми тщеславными претензиями матери естественно приводит к изменению общего сценического тона: диалог между матерью и сыном, в целом, уже не комичен.

Но у Гоголя это лишь намек, начало, совсем небольшой кусок жизни, «отрывок». Это положение, у Гоголя лишь намечавшееся, у Островского, в силу развивавшихся общественных воздействий 40-х годов, усилилось, получило широкое применение в освещении множества жизненных фактов и в драматургическом сложении пьес стало постоянной системой.

¹ «Театральный разъезд»... Сочинения, изд. 10, т. 2, стр. 514.

² «Петербургские записки 1836 года». Сочинения, изд. 10, т. 5, стр. 517.

³ «Театральный разъезд»... Там же, т. 2, стр. 514.

⁴ «Театральный разъезд»... Сочинения, изд. 10, т. 2, стр. 488.

Юмор, подобный гоголевскому, где обличается сама «пошлость», у Островского встречается в раннем прозаическом творчестве («Сказание о том, как квартальный надзиратель пускался в пляс») и в таких пьесах, как «Утро молодого человека», «Неожиданный случай», трилогия о Бальзаминове.

В других пьесах такой юмор у Островского присутствует лишь частично, в отдельных моментах. Непосредственная демонстрация уродующего и губительного воздействия порока на жизнь других людей ставила юмору Островского, в отличие от Гоголя, определенные границы. Присутствие страдающей жертвы порока во многом исключало возможность смешного. Эти границы были ощутимы уже в первых пьесах Островского. Не во всем смешны Пузатов и Ширялов, когда хвастаются своими успехами, потому что в их рассказах, вместе с откровенным плутовством и жадностью, уже видны и те, кто от них страдает. В конце пьесы для Марьи Антиповны, сестры Пузатова, в сватовстве Ширялова уже приоткрывается трагический исход. В «Своих людях» в привычных нравах изображаемой среды обнажается прямая бесчеловечность. Поэтому смешное в Большове, в Подхалюзине, в Липочке в какой-то мере уже сочетается с ужасным. Смешна Липочка в мечтах о женихе из «благородных», но она уже не смешна в беседе с отцом в конце последнего акта.

Конечно, правы все те, которые с появлением этих пьес увидели в Островском прямого продолжателя Гоголя.

И в «Картинах семейного счастья» и в «Своих людях» обнажаются мошеннические проделки, плутовство и голый обман. Причем все порочное, так же как у Гоголя, совершается с простодушием, с сознанием правоты («все так делают»), с расчетом на одобрение и даже с самохвальством и гордостью. Пузатов, Ширялов, Большой и Подхалюзин в этом отношении ничем не отличаются от гоголевского городничего (ср. «мошенников над мошенниками обманывал» и пр.).

Но патетика «Картины семейного счастья» и «Своих людей» состоит не только в этом, не только в изображении стяжательства. И в той и в другой пьесе уже намечается конфликтно-драматическая коллизия в страдающем положении лучших человеческих чувств, которые в этом мире голого барыша и выгоды не находят себе никакого места.

В «Картинах семейного счастья» за фигурами Пузатова, Ширялова и Степаниды Трофимовны Островский в лице Маши и Матрены Савишны уже заставляет ощутить этот обойденный и неудовлетворенный мир иных желаний. Тем самым и в ироническом заглавии пьесы («Семейное счастье») предуказывается ее драматический смысл. В «Своих людях» Большой в конце пьесы несет кару не только за свое мошенничество, но

и за свое общее бездушие в семейном быту (дочь «обута, одета, накормлена—чего ей еще хочется?» «На что я и отец, коли не приказывать! Даром что ли я ее кормил!» и пр.).

Обе пьесы, оставаясь комедиями, одновременно демонстрируют семейную драму.

Вполне и до конца эта драматическая постановка центрального конфликта определилась в «Бедной невесте».

И в построении и в содержании «Бедной невесты» имеется много общего с «Женитьбой» Гоголя. Справедливо было отмечено, что «Женитьба» знаменовала переход к драматургической системе Островского: «Медленное развитие действия, диалоги с характеризующей установкой, эпизоды, мало связанные с основным сюжетом,—все это подготовляло композицию комедий Островского, определяющуюся бытовыми и сатирическими целями»¹.

И в тематическом содержании «Женитьба» близка к «Бедной невесте». В «Женитьбе» и в «Бедной невесте» обличаются дикие примеры женитьбы и выхода замуж по чужому сватовству, по примеркам случайным и внешним, исключаящим то подлинно человеческое, что должно быть. Но тут же между этими двумя пьесами ощущается и принципиальное различие. Силой гоголевского смеха бездушие и ничтожество всех участников этого обычая в «Женитьбе» взрывается изнутри, как внутреннее противоречие разуму. Верный себе, Гоголь и здесь изображает «потрясающую тину мелочей», случайных и ничтожных, но морально опутывающих человека, владеющих его сознанием и изгоняющих все, что должно быть в нем действительно серьезного и значительного. Островский смотрит на то, что в этом бездушии таится страшного для других людей. И он представил судьбу свежего человека, который сталкивается с этим бездушием и оказывается в его власти. Страдающая личность Марьи Андреевны превращает комедию в трагедию.

Конечно, здесь речь идет не о различии в степени и силе обличения у Гоголя и Островского, а о различии в ином качестве, в иной природе, в ином способе обличения. Степень силы обличения у того и другого писателя этим несколько не сравнивается и взаимно не умалется. Указывается лишь на историческое различие в самом характере обличения.

О гоголевском смехе Добролюбов писал: «Посмотрите, в самом деле, как забавны все эти Чичиковы, Ноздревы, Сквозники-Дмухановские, и пр. и пр. Но меньше ли от того вы их презираете? Расплывается ли в вашем смехе хоть одна из гадостей этих лиц? Нет, напротив,—этим смехом вы их только конфузите как-то, так что смущенные и сжавшиеся фигуры их

¹ А. Л. Слонимский «История создания «Женитьбы» Гоголя». Сб. «Русские классики и театр». Л.—М., 1947, стр. 332—333.

так навсегда и остаются в вашем воображении, как бы скованными во всей своей отворачивательности»¹.

Новые запросы действительности, иное усмотрение жизненно-драматических коллизий, новая сосредоточенность на раскрытии действенной стороны обличаемых пороков привели Островского к иным драматическим ситуациям и к полному преобразованию жанра.

Узел, образующий движение пьесы, у Островского почти всегда состоит в противоречии между здоровыми, чистыми желаниями людей и теми темными, порочными силами, которые преграждают путь этим чистым желаниям. Изображая порок, Островский всегда что-то защищает от него, кого-то ограждает. В центре пьес Островского всегда находится страдающее лицо, с доверчивой непосредственностью ищущее осуществления чистых чувств и наталкивающееся на темные силы, корыстные расчеты, стяжательство, нравственную тулость, чванство, самодурство и пр.

Тем самым меняется все наполнение пьесы. Пьеса окрашивается страдающим лиризмом, входит в разработку свежих, морально-чистых или поэтических чувств; усилия автора направляются к тому, чтобы резко выдвинуть внутреннюю законность, правду и поэзию подлинной человечности, угнетаемой и изгоняемой в обстановке господствующей корысти и обмана.

Царство денег и денежные отношения, погоня за достатком, этика карьеристической и узко-материальной выгоды—в пьесах Островского всегда соотнесены с судьбою чистых чувств и светлых желаний, которые задыхаются, гибнут, страдают и ропщут в этом мире голого расчета. И то, что у Гоголя могло быть смешным, у Островского становится ужасным.

Страсть к обогащению, приобретательство, корыстные стремления, ради которых «извращается понятие правды», изображались и Гоголем. Городничий и Чичиков во многом являются предшественниками типов Островского. Однако раскрытие психологии и общий тип в изображении приобретателя у Островского иной. Предметом изображения у Гоголя является «внутренний механизм приобретательства, «ничтожество» его побуждений. Результативная сторона приобретательского хищничества у Гоголя почти отсутствует. У Островского приобретатель всегда поставлен лицом перед своей жертвой. И многое смешное, что было возможным для Гоголя, становится невозможным для Островского. Ничтожество Подхалюзина, Вихорева, Копрова, Дульчина, Окомова и др. рядом с раскрытием страдания обманутых жертв перестает быть смешным.

¹ Н. А. Добролюбов. «Мишура», комедия А. Потехина. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1934, стр. 423.

Гоголь подметил, какую огромную роль в жизни играет честолюбивая, мелко-тщеславная сторона человеческих желаний. Рисуя «пошлость пошлого человека», Гоголь не один раз останавливался и на этом «электричестве», движущем мечту и поступки многих. Иван Иванович Перерепенко, поручик Пирогов, Чертокуцкий, Манилов, Ноздрев, Чичиков—все по-своему живут этой мечтой. У одних претензии совсем невинны и безвредны, их честолюбие не идет дальше надежды перещеголять всех дынями, арбузами и амбарами, затейливой бекешей, коляской, приятностью манер, отвагой на охоте, столичным шиком, рассказами удивительных новостей и пр. У других это соединяется уже с некоторым желанием произвести трепет и показать свою власть. Хлестаков мечтательно лжет, как он управляет департаментом: «просто землетрясение, все дрожит, трясется как лист» и пр. Городничий тоже мечтает: «Ведь почему хочется быть генералом? Потому что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегери и адъютанты поскачут везде вперед: «лошадей!». И там на станциях никому не дадут, все дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там стой городничий!».

У Гоголя эта тема за пределы комического освещения не выходит. Пустые желания кого-нибудь сокрушить и раздавить своим великолепием обличаются Гоголем в самом их субъективном источнике. Получается смешно, поскольку нет лиц, на которых эти желания осуществляются и у которых от этого «спина трещит». Но стоит только представить такой случай и смешное станет страшным. Возникает представление о самодурстве.

Самодурство, конечно, известно было русской жизни и до Островского. Однако его открыл Островский, и открыл именно потому, что в силу общей направленности своего внимания к жертвам морального зла, он и к человеческому гонору в наблюдавшейся им среде подошел с той стороны, где от него страдают люди.

Угнетательская сущность самодурства определена известными словами Аграфены Платоновны в пьесе «В чужом пиру похмелье»: «Самодур, это называется, коли вот человек никого не слушает, ты ему хоть кол на голове теши, а он все свое. Топнет ногой, скажет: кто я?.. Тут уж все домашние ему в ноги должны, так и лежать, а то беда».. Самодурство упоено безответной покорностью другой стороны. Эта дикая форма честолюбия неминуемо предполагает жертвы, над которыми самодурство куражится. На них и остановился взгляд Островского. И порок предстал в другом повороте. За мелочностью

и ничтожеством выступила его зловещая деспотическая угнетающая сторона.

Островский после Гоголя вернул на сцену любовь. И это, конечно, не только потому, что в самой жизни существует любовь, не в силу какого-то разжижающего «бесстрастия», «беспристрастия» или «объективности», а в силу новой и своеобразной идейной заинтересованности в судьбе тех положительных начал, которые составляют здоровую и светлую сторону жизни. Тема любви для Островского была не способом сценической «занимательности» и не механическим придатком к обличительству, а предметом гуманистической защиты и орудием критики. Любовь всегда берется Островским как пример и залог чистых человеческих отношений между людьми в противоположность всему корыстному, узкому, тупому, дикому, жестокому, денежному, тщеславному и продажному, что было предметом его обличения. Свежее и чистое чувство у Островского, среди царства темных сил, всегда занимает страдательное, драматическое положение.

Темные (или дурные) понятия Незабуткиной, Добротворского, Мерича, понятия Вихорева и его среды, понятия в семье Торцовых, понятия Брускова и Аграфены Платоновны, Вышневого, Юсова и Кукушкиной, Уламбековой и Леонида, Дикого и Кабанихи и пр. противопоставляются естественным и законным чистым человеческим запросам Марьи Андреевны, Дуни, Любви Гордеевны, Лизы Ивановой, Жадова, Полины, Нади, Катерины и пр., и в ходе пьесы все дурное потому и оказывается ужасным, что оно трагически нарушает здоровое и светлое существование человека и тем самым обличает свою неестественную, уродливую сущность.

Нравы и понятия, узаконенные привычкой и обычаем, Островский проверял естественными духовными запросами личности. Жизненное столкновение здоровых запросов личности с угнетающей обстановкой грубости, пошлости, дикости, обмана и корысти стало у Островского основой драматического конфликта почти всех его пьес.

В конце 1863 года М. Е. Салтыков-Щедрин в отзыве о «Горькой судьбине» Писемского сущность наиболее правдивого сложения драматического положения (как оно ему представлялось) определил так: «...Что, в сущности, может составлять содержание драмы вообще? Это содержание может составлять исключительно протест, протест, быть может, и не формулирующийся определенным образом, но явственно выдающийся из самого положения вещей, из того невыносимого противоречия, в котором находится действие или требование, послужившее для драмы основой, с его обстановкой. Есть требования и действия, которые сами по себе не идут в разрез

ни указаниям здравого рассудка, ни общим законам человеческой природы, но которые тем не менее, вследствие известных условий общественного развития, признаются незаконными. Сила естественная и (с точки зрения драматурга) разумная, но вследствие разных причин попорченная и непризнанная, представляется в борьбе с силою искусственной и (тоже с точки зрения драматурга) неразумною, но, вследствие тех же причин, торжествующею и установившеюся — вот единственный материал, из которого может возникнуть действительное драматическое положение»¹.

В этих формулировках очень точно отражается драматургическая сущность пьес Островского в их основном конфликтном строении.

Салтыков-Щедрин считал Островского основоположником современной ему обличительной драматургии и предметом подражания всех второстепенных писателей-драматургов его времени². Едва ли можно сомневаться в том, что, определяя тип драматических положений, наиболее соответственный современному ему «условиям общественного развития», Салтыков-Щедрин ориентировался, главным образом, на образцы, представленные Островским.

Этот новый тип драмы, осуществленный Островским, явился следствием того идейного кругозора, который был драматургом воспитан в общественной обстановке 40-х годов под воздействием демократической социальной и литературной теории Белинского.

7.

В вопросе об отношении творчества Островского к идейным традициям Белинского осложняющим фактом является тесное, хотя и временное, идейное содружество Островского со славянофильским кружком «молодой редакции» «Москвитянина».

В каком отношении кружок «Москвитянина» находился к идейному наследию Белинского? Если Островский являлся сторонником идей Белинского, если вся структура его произведений в основном обосновывалась и воодушевлялась идеями, идущими от Белинского, то общение с кружком «Москвитянина» не должно ли было привести Островского к самопротиворечию, к отказу от тех идей, которые определяли самые коренные основы его творческих стремлений? Тогда должно было бы последовать резкое изменение всего характера его твор-

¹ «Петербургские театры». «Современник», 1863, № 11. Полное собрание сочинений, т. 5, М. 1937, стр. 167—168.

² См. отзыв М. Е. Салтыкова-Щедрина о пьесе Н. А. Потехина «Наши безобразники». «Современник», 1864, № 1. Полное собрание сочинений, т. 5, М., 1937, стр. 366—367.

чества, и его драматургическая система не могла бы иметь последовательного единства.

Между тем, при всех различиях между пьесами Островского раннего периода его деятельности в них остаётся некая общая основа, одинаково характерная и для «Семейной картины» и для «Своих людей», и для «Не в свои сани не садись», и для «Бедности не порок» и даже для «Не так живи, как хочется».

Следовательно, при славянофильских отклонениях у Островского сохранялись те исходные установки, которые шли в соответствии с общими демократическими заветами Белинского и обеспечивали общий тип пьес в их образном и конструктивном сложении.

Надо предполагать, что для кружка молодых москвитянцев идеи Белинского в какой-то мере тоже не были чужды. Иначе идейное сближение с ними со стороны Островского было бы совсем невозможным.

Надо предположить также, что Островский среди молодых москвитянцев сохранял известную идейную самостоятельность и независимость. Иначе следование принципам Белинского в той мере, в какой это свойственно Островскому, тоже оказалось бы невозможным.

Очевидно, уклонения Островского в сторону славянофильства касались лишь таких сторон, которые оставляли нетронутыми принципы его бытового реализма и идею гуманистической защиты личности.

Так оно и было.

Обстоятельства, которые подготовили содружество молодой редакции «Москвитянина», во многом не ясны. Неизвестно, когда началось знакомство Островского с теми лицами, которые потом объединились в «молодой редакции». Неизвестно, что собою представляли эти лица по идейным взглядам в ту пору, когда между ними устанавливались первые связи. Неизвестно, в каком направлении развивались их взгляды в ближайшие годы перед объединением в «Москвитянина». Неизвестно даже и то, в какой мере была им присуща общность взглядов при сотрудничестве в «Москвитянина».

До недавнего времени со слов Т. Филиппова было принято думать, что в круг идей славянофильства Островский вместе со своими молодыми друзьями стал входить с 1846 года. Т. Филиппов рассказывал Н. Барсукову, что Островский, в момент знакомства с ним, в 1846 году «всецело принадлежал к так называемому западническому направлению», но что сам Филиппов тогда уже «имел особенный взгляд на народную жизнь» (т. е. славянофильский взгляд) и своим исполнением

народных песен быстро очаровал Островского и привел его к своим воззрениям¹.

Найденное В. А. Бочкаревым в архиве Е. Эдельсона письмо Т. Филиппова к Е. Эдельсону от 12 апреля 1847 г. показывает, что не только Островский, но и сам Филиппов и Эдельсон в 1847 г. нисколько не были славянофилами. В письме говорится о сочувственном отношении Филиппова к «Письмам об изучении природы» Герцена, напечатанным в «Отечественных записках», о его пристрастии ко «времени эмансипации» в истории народов и в частной жизни человека, о каких-то волнующих его, но недозволенных вопросах², — одним словом о том, что не только не идет в соответствие со славянофильством, но явно свидетельствует об идейном сочувствии к передовым воззрениям Герцена и Белинского.

В письме Т. Филиппов сообщает: «Я прошу Островского прислать мне продолжение» (т. е. продолжение «Писем» Герцена). По этому поводу В. А. Бочкарев справедливо замечает: «Если Островский посылал Филиппову «Отечественные записки» с «Письмами» Герцена, то трудно предположить что он это сделал не читая «Писем». Возможно также, что они были еще раньше прочитаны Островским, который, по словам самого Филиппова, увлекался в эти годы западничеством»³.

О том же идейном настроении свидетельствует также и письмо Т. Филиппова и А. Н. Островского от 20 февраля 1848 г. к Е. Эдельсону, где, правда, в шутливой форме, но достаточно ясно проявляется их сочувственный интерес к революционным событиям во Франции⁴.

Идейно-передовые настроения молодых друзей Островского, главным образом, в их университетские годы, подтверждаются также некоторыми косвенными данными, касающимися биографий Т. Филиппова, Б. Алмазова, Е. Эдельсона.

Однако считать на этом основании, что все эти лица в период первоначального формирования молодого кружка и в первые годы сотрудничества в «Москвитянине» находили общую почву для своего объединения исключительно в духе передовых идей Герцена и Белинского (последнего периода его деятельности) никак нельзя.

А. Григорьев в автобиографических заметках сообщает:

¹ Н. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. XI, стр. 65.

² «Ученые записки Куйбышевского Педагогического института», вып. 6, 1942, стр. 191—192.

³ Там же, стр. 184.

⁴ Письмо частично напечатано в книге А. И. Ревякина «А. И. Островский». Учпедгиз, 1949, стр. 148.

«Явился Островский и около него, как центр, кружок,—в котором **нашлись** все мои дотоле смутные верования»¹. Слово «нашлись» подчеркнуто А. Григорьевым, следовательно, оно для него не было случайным. Показание поставлено между 1850 и 1851 г. Таким образом, оно относится ко времени сложения кружка «Москвитянина», в состав сотрудников которого А. Григорьев вошел с 1851 г.² Каковы были «верования» А. Григорьева к 1851 году, об этом достаточно известно.

В университетские годы Ап. Григорьев был поклонником Белинского, сторонником освобождения крестьян и сторонником реформ для России. В 1845 г. он написал ряд нецензурных стихотворений на политические темы. М. Е. Салтыков-Щедрин встречал Ап. Григорьева на «пятницах» у Петрашевского. От увлечения идеями утопического социализма Ап. Григорьев тогда же вскоре отрекся (драма «Два эгоизма»). В 1846 г. в статьях, помещенных в «Финском вестнике», Григорьев выступал, как славянофил. Однако скоро разошелся и со славянофилами, заняв особую линию между ними и «западниками». В 1847 г. Ап. Григорьев помещал свои статьи в «Московском Городском Листке», сотрудником которого одновременно состоял и Островский. Завязавшееся в этой обстановке общение между ними, очевидно, продолжалось и далее.

К этому же времени славянофильские тенденции у Ап. Григорьева уже определились³. Кроме других статей, в 1847 г. в «Московском Городском Листке» была напечатана статья Ап. Григорьева о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»⁴. К октябрю—декабрю 1848 г.

¹ «А. А. Григорьев. Материалы для биографии». Под ред. В. Княжина: П. 1917, стр. 305.

² В недавно опубликованной А. И. Ревякиным записке Островского об условиях его участия в журнале «Москвитянин» Ап. Григорьев упоминается вместе с Е. Эдельсоном как сотрудник этого журнала. А. И. Ревякин считает, что «Условие» Островским «могло быть написано только в 1850 году». Если бы это было так, то надо было бы считать, что Григорьев вошел в журнал раньше 1851 года. Однако, известно, что ни в 1849, ни в 1850 гг. А. Григорьев в «Москвитянине» ничего не печатал и сотрудником журнала еще не был. Он стал там печататься только с 1851 года. Только с этого времени, следовательно, Островский мог его назвать «имеющим налицо сотрудником» журнала. — Государственная библиотека имени В. И. Ленина. Записки отдела рукописей. Выпуск XI. Москва, 1950, стр. 146.

³ См. его высказывания о Гоголе в опубликованной Н. И. Мордовченко рецензии на «Петербургский сборник» Некрасова, помещенной в «Ведомостях СПб городской полиции», 9 февраля 1846 г. (Ученые записки ленингр. госуд. педагогич. института им. А. И. Герцена т. 67) и в «Финском Вестнике», 1846, т. IX.

⁴ «Гоголь и его последняя книга». «Моск. Гор. Листок», 1847, №№ 56, 62—64.

относятся письма Ап. Григорьева к Гоголю. В конце 1851 г. писалась статья Ап. Григорьева «Русская литература в 1851 г.», теоретическое содержание которой с его прежними высказываниями находится в полном принципиальном согласии. Следовательно, основные тенденции и принципы Ап. Григорьева с 1847 года Островскому были уже известны.

Тем больше имеется оснований говорить о самостоятельности и независимости Островского по отношению к Григорьеву.

Несомненно, в идейных стремлениях и взглядах Островского и Ап. Григорьева была какая-то общая сфера. Иначе их идейное общение и затем дружба были бы совершенно необъяснимы.

В некоторых отправных положениях, взятых в самом общем смысле, у Ап. Григорьева было нечто общее с Белинским. От литературы Ап. Григорьев требовал самобытности, живой связи с действительностью, реальной конкретности образов, типичности и обоснованности литературных образов условиями и обстановкой русской жизни. Например, касаясь повестей А. В. Дружинина¹, Григорьев упрекал его в том, что «почва, на которой автор строит свои создания, не есть ни французская, ни немецкая, ни русская: она—общая, годная для всех стран»... «Его романы и повести не конкретные, и, следовательно, не поэтические произведения»... «Такой род сочинений, в отношении к нашей эпохе, то же, что была риторическая школа литературы относительно своего времени и романтизм относительно своего. Ни там не было истины, ни здесь ее нет. Но после Пушкина и Гоголя, как-то совестно уже строить воздушные замки» (стр. 20). Главный герой повести Дружинина «Полинька Сакс» Ап. Григорьеву представляется «натянутым» и «искусственным» не потому, чтобы подобный человек вообще не мог существовать, но потому, что «в быту, окружавшем его, не лежало данных, под влиянием которых он мог бы развиваться в такой самобытности и величии» (19).

В театральных рецензиях Ап. Григорьев восставал против ложных эффектов и механических переделок французских водевилей и мелодрам на русские нравы. «Неужели в самом деле не развились мы до создания и до понимания драмы. Неужели должны мы все плакать в драмах от сцен расставаний и свиданий и хохотать в комедиях тому, что

¹ В статье «Русская литература в 1849 г.» Отеч. записки, 1850, т. 68, отд. V, стр. 1—48.

один вытащил другого из-под стула за ногу, или показал другому палец, или, наконец, спел куплет о финтифлюшках»¹.

Ап. Григорьев признавал, что Гоголь для современной «литературной эпохи» являлся ее «главным представителем», от которого, «как от исходного пункта, ведет она свое начало». «Все, что есть действительно живого в явлениях современной изящной словесности, идет от него, поясняет его, или даже, поясняется им»². Историческую заслугу Гоголя Григорьев видел в обращении к обыденной действительности. «От Гоголя ведет свое начало весь тот многообразный, более или менее удачный и разносторонний анализ явлений повседневной окружающей нас действительности, стремление к которому составляет собою закон настоящего литературного процесса» (116).

Все это, как видим, находится в полном соответствии со взглядами и творческими стремлениями Островского.

Для объяснения временных связей Островского с Ап. Григорьевым нельзя упускать из виду и того, что А. Григорьев не принадлежал к тем, которые совсем не видели или не хотели видеть противоречий в крепостнической действительности и в натуральной школе не усматривали никакой правды. В письме к Гоголю в конце 1848 г. А. Григорьев писал: «Вся современная литература есть не что иное, как, выражаясь ее языком, протест в пользу женщин, с одной стороны, и в пользу бедных, с другой; одним словом, в пользу слабейших. Вы не фанатик,—это доказывают многие из ваших же писем; вы не близорукий и не ограниченный человек, следовательно, вы не можете закрыть глаза и не видеть, что в основе своего протеста литература и мышление современное правы; ошибаются они в средствах, да и не могут не ошибаться»³.

Как видим, Ап. Григорьев понимал, что российская действительность нуждается в какой-то переделке, и он думал достигнуть лучшего какими-то своими «средствами», не теми, которые были присущи натуральной школе. Его средства были славянофильскими.

Вопреки принципам натуральной школы, устранение социальных противоречий Ап. Григорьеву представлялось возможным лишь на основе общего приближения к идеалу

¹ «Заметки о московском театре». Отеч. записки, 1849, т. 67, отд. VIII, стр. 341.

² «Русская литература в 1851 году». Полное собрание сочинений, под ред. В. С. Спиридонова, т. 1, стр. 103.

³ «А. А. Григорьев. Материалы для биографии». Под ред. В. Княжнина. II, 1917. стр. 116—117.

взаимного согласия на началах нравственного единства между людьми.

Отсюда возникали особенности в понимании задач «обличения».

Взгляды Ап. Григорьева и Островского именно в вопросе об обличительном направлении в литературе находятся в наиболее сложном соотношении. В художественном осуществлении принципа обличения у Островского в его таких пьесах, как «Бедная невеста», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется», было, с одной стороны, нечто радикально отличное от взглядов Ап. Григорьева и, с другой—нечто сближающее их и отдаляющее Островского от идей Белинского.

Сам по себе принцип обличения Ап. Григорьевым, как и другими славянофилами, не отвергался. В 1852 году в «Москвитянине» была напечатана анонимная статья «Несколько замечаний о причинах современных успехов сатирической поэзии в России», где законность и естественность «сатирической поэзии» в России не только не оспаривалась, но признавалась и освящалась авторитетом «национального духа», т. е. качествами русского народа, искони ему присущими и врожденными, выражающимися в особой «строгости к самому себе» и в повышенной способности легко различать «внутренний разлад действительности с разумными требованиями»¹.

В отношении к задачам нравственного суда над жизнью противоположность между Герценом и Белинским, с одной стороны, и славянофилами, с другой, состояла в различном подходе к вопросам нравственности и в различном содержании нравственных оценок. Суд славянофилов направлен был к тому, чтобы отстоять старые патриархальные формы действительности. Суд Белинского и Герцена был направлен к тому, чтобы изменить эти формы и создать новую действительность. В связи с различиями в самых принципах нравственного суда, теми и другими по-разному трактовался обличительный смысл творчества Гоголя и в резкой противоположности расценивались критические тенденции в «натуральной школе».

Белинский задачу обличения видел в раскрытии источников порока, в определении тех условий, которые порождают порок, как неизбежное следствие практических отношений, в какие люди поставлены общественной жизнью, и в разъяснении социального значения порока в его губительных следствиях для общей жизни.

Ап. Григорьев признавал, что «всякое произведение лите-

¹ «Москвитянин», 1852, № 14, кн. 2, стр. 35—37.

ратуры является... живым отголоском времени, его понятий, верований и убеждений, и постольку замечательным, поскольку отразило оно жизнь века и народа»¹. Но для него все то, что обуславливается эпохой, страной, временными и местными историческими обстоятельствами, не представлялось существенным. Величие «гениальной натуры», по его словам, состоит в том, что она «несет в себе клад всего неперменного, что есть в стремлениях ее эпохи» (стр. 105). «Сущность мирозерцания, — по его словам, — одинакова у всех истинных представителей литературных эпох, различен только цвет». И Гоголь среди других человеческих гениев, заключал в своем творчестве ту же «живую веру и правду», что и Шекспир, и Гете, и Пушкин (106). Содержание же этой «живой веры и правды» для Ап. Григорьева заключалось в признании примиряющего разума жизни и побеждающего начала любви: «В «гениальной натуре» «противоречия примиряются важным началом разума, который вместе с тем самым и бесконечная любовь» (105).

Признавая и принимая обличительный пафос творчества Гоголя, Ап. Григорьев нивелировал его социально-практический смысл. В гоголевском обличении он усматривал лишь призывы к примиряющему «идеалу» (всюду, где Ап. Григорьев говорит об «идеале», всегда имеется в виду идеал «всеобщей любви»). «Незримые слезы» Гоголя, по его словам, не были «слезами негодования». «Пафос Гоголя не ювеналовский пафос, не пафос отчаяния, производимого противоречиями действительности»... «Везде у Гоголя выручает юмор, и этот юмор полон любви к жизни и стремления к идеалу» (112). Изображение пороков и несовершенства жизни Ап. Григорьеву представлялось важным лишь, как анатомия морально-падшей и слабой души, нуждающейся в нравственном возвышении, понимаемом в том же, самом общем, абстрактном смысле. «Исторической задачей» Гоголя, по его словам, было «сказать, что дрянь и тряпка всяк человек; выставить пошлость пошлого человека, свести с ходуль так называемого добродетельного человека; уничтожить все фальшивое самообольщение, привести, одним словом, к полному христианскому сознанию» (110).

Критерий оценки действительности с точки зрения защиты интересов личности для Ап. Григорьева был совершенно неприемлем. Личное начало, в какой бы форме оно ни проявлялось, в выражении ли страдающей неудовлетворенности или, тем более, в форме протеста, Ап. Григорьеву представ-

¹ «Русская литература в 1851 году». Полн. собр. сочинений, под ред. В. С. Спиридонова, т. 1. П., 1918, стр. 100.

ялось нарушением «идеала» и потому незаконным, неестественным, подлежащим осуждению и устранению.

Лермонтовское обличение ему было враждебно, потому что оно, по его словам, исходило из «одних только личных оснований» (129). Это был «протест личности против действительности, протест, вышедший не из ясного сознания идеала, а из условий, заключавшихся в болезненном развитии самой личности» (117).

В связь с этой лермонтовской, «эгоистической» традицией Ап. Григорьев ставит многие произведения натуральной школы, в частности, роман Герцена «Кто виноват?». Герои и героини этого романа, страдающие от условий действительности, Ап. Григорьевым объявляются недостойными сочувствия, так как их недовольство действительностью возникает лишь из претензий и желаний личности и их страдание не сочетается с чувством покорности высшей правде жизни, т. е. тому же «идеалу».

В этом состоял смысл всей полемики Ап. Григорьева с натуральной школой.

Отступление новых писателей от должных границ обличения (в его понимании) Ап. Григорьев видит в том, что они вопреки «идеалу» на жизнь «взглянули только с личным убеждением или предубеждением». «Отсюда ведут свое начало разные сатирические очерки, отсюда бесконечное множество повестей, кончавшихся припевом: «и вот что может сделаться из человека»; повестей, в которых, по воле и прихоти их авторов, с героями и героинями, задохнувшимися, по их мнению, в грязной действительности, совершались самые удивительные превращения» (126).

В произведениях о «маленьком человеке» отличие последователей Гоголя от самого Гоголя, по мнению Ап. Григорьева, состояло в предвзятом нагнетании «протеста личности». Гоголевские повести «Шинель», «Записки сумасшедшего», «Невский проспект», по его словам, полны трагического, но в то же время и «очищающего» значения, потому что они озарены светом «идеала» (106, 114; ср. письмо к Гоголю от 17 октября 1848 г.), а у последователей Гоголя выступает лишь «жалоба личности», «задняя мысль», направленная против действительности... «Микроскопическую претензию микроскопической личности они возводят на степень права» (114). «...Возведите на степень права, требования героев «Записок сумасшедшего», и вот явились Макар Алексеевич Девушкин, господин Голядкин, господин Прохарчин, все эти герои зловонных темных углов; герои, которые и действительно существуют, но, во-первых, не одни же в целом

ратуры является... живым отголоском времени, его понятий, верований и убеждений, и постольку замечательным, поскольку отразило оно жизнь века и народа»¹. Но для него все то, что обуславливается эпохой, страной, временными и местными историческими обстоятельствами, не представлялось существенным. Величие «гениальной натуры», по его словам, состоит в том, что она «несет в себе клад всего неперменного, что есть в стремлениях ее эпохи» (стр. 105). «Сущность мирозерцания, — по его словам, — одинакова у всех истинных представителей литературных эпох, различен только цвет». И Гоголь среди других человеческих гениев, заключал в своем творчестве ту же «живую веру и правду», что и Шекспир, и Гете, и Пушкин (106). Содержание же этой «живой веры и правды» для Ап. Григорьева заключалось в признании примиряющего разума жизни и побеждающего начала любви: «В «гениальной натуре» «противоречия примиряются важным началом разума, который вместе с тем самым и бесконечная любовь» (105).

Признавая и принимая обличительный пафос творчества Гоголя, Ап. Григорьев нивелировал его социально-практический смысл. В гоголевском обличении он усматривал лишь призывы к примиряющему «идеалу» (всюду, где Ап. Григорьев говорит об «идеале», всегда имеется в виду идеал «всеобщей любви»). «Незримые слезы» Гоголя, по его словам, не были «слезами негодования». «Пафос Гоголя не ювеналовский пафос, не пафос отчаяния, производимого противоречиями действительности»... «Везде у Гоголя выручает юмор, и этот юмор полон любви к жизни и стремления к идеалу» (112). Изображение пороков и несовершенства жизни Ап. Григорьеву представлялось важным лишь, как анатомия морально-падшей и слабой души, нуждающейся в нравственном возвышении, понимаемом в том же, самом общем, абстрактном смысле. «Исторической задачей» Гоголя, по его словам, было «сказать, что дрянь и тряпка всяк человек; выставить пошлость пошлого человека, свести с ходуль так называемого добродетельного человека; уничтожить все фальшивое самообольщение, привести, одним словом, к полному христианскому сознанию» (110).

Критерий оценки действительности с точки зрения защиты интересов личности для Ап. Григорьева был совершенно неприемлем. Личное начало, в какой бы форме оно ни проявлялось, в выражении ли страдающей неудовлетворенности или, тем более, в форме протеста, Ап. Григорьеву представ-

¹ «Русская литература в 1851 году». Полн. собр. сочинений, под ред. В. С. Спиридонова, т. 1. П., 1918, стр. 100.

лялось нарушением «идеала» и потому незаконным, неестественным, подлежащим осуждению и устранению.

Лермонтовское обличение ему было враждебно, потому что оно, по его словам, исходило из «одних только личных оснований» (129). Это был «протест личности против действительности, протест, вышедший не из ясного сознания идеала, а из условий, заключавшихся в болезненном развитии самой личности» (117).

В связь с этой лермонтовской, «эгоистической» традицией Ап. Григорьев ставит многие произведения натуральной школы, в частности, роман Герцена «Кто виноват?». Герои и героини этого романа, страдающие от условий действительности, Ап. Григорьевым объявляются недостойными сочувствия, так как их недовольство действительностью возникает лишь из претензий и желаний личности и их страдание не сочетается с чувством покорности высшей правде жизни, т. е. тому же «идеалу».

В этом состоял смысл всей полемики Ап. Григорьева с натуральной школой.

Отступление новых писателей от должных границ обличения (в его понимании) Ап. Григорьев видит в том, что они вопреки «идеалу» на жизнь «взглянули только с личным убеждением или предубеждением». «Отсюда ведут свое начало разные сатирические очерки, отсюда бесконечное множество повестей, кончавшихся припевом: «и вот что может сделаться из человека»; повестей, в которых, по воле и прихоти их авторов, с героями и героинями, задохнувшимися, по их мнению, в грязной действительности, совершались самые удивительные превращения» (126).

В произведениях о «маленьком человеке» отличие последователей Гоголя от самого Гоголя, по мнению Ап. Григорьева, состояло в предвзятом нагнетании «протеста личности». Гоголевские повести «Шинель», «Записки сумасшедшего», «Невский проспект», по его словам, полны трагического, но в то же время и «очищающего» значения, потому что они озарены светом «идеала» (106, 114; ср. письмо к Гоголю от 17 октября 1848 г.), а у последователей Гоголя выступает лишь «жалоба личности», «задняя мысль», направленная против действительности... «Микроскопическую претензию микроскопической личности они возводят на степень права» (114). «...Возведите на степень права, требования героев «Записок сумасшедшего», и вот явились Макар Алексеевич Девушкин, господин Голядкин, господин Прохарчин, все эти герои зловонных темных углов; герои, которые и действительно существуют, но, во-первых, не одни же в целом

божьем мире, а во-вторых, существуют не такими, какими создают их себе авторы... Даже даровитый автор «Записок охотника» заплатил дань этому несчастному направлению, и он в лице Мошкина, испортившим его комедию «Холостяк», выражал неудовольствие против разумного порядка природы, и не один он, многие увлеклись этой односторонней, болезненной точкой зрения» (128).

Творчество Островского оказалось в особом положении.

В литературе об Островском в его так называемых «славянофильских» пьесах нередко отрицается всякое критическое содержание. При этом обычно ссылаются на известное письмо Островского к М. П. Погодину от 30 сентября 1853 г., где, в связи с пьесами «Не в свои сани не садись» и «Бедность — не порок», он говорит об изменении своего «взгляда на жизнь» и о переходе к новому «направлению». Но в этом письме Островский, заявляя о своей новой точке зрения, вовсе не отказывается своими пьесами «исправлять народ» то-есть говорить о недостатках изображаемой им среды; он лишь находит более справедливым и необходимым признание и обнаружение этих недостатков сочетать с воспроизведением «хорошего» в этой среде. Правда, в письме имеются слова, которые сначала производят впечатление полного отказа от всякой критики жизни: «пусть лучше русский человек радуется, видя себя на сцене, чем тоскует. Исправители найдутся и без нас». Но Островский к этому сейчас же прибавляет: «Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее; этим-то я теперь и занимаюсь, соединяя высокое с комическим»¹.

По содержанию пьес ясно, что слово «комическое» здесь Островским употреблено не в собственном смысле комического, как смешного, а в расширительном понятии всего отрицательного. Таким образом, в этой формуле: «соединяя высокое с комическим» новые пьесы («Сани», «Бедность—не порок») ставятся на особое место не тем, что они лишены критического элемента и в них отсутствует изображение отрицательных, дурных сторон жизни, а тем, в какое окружение, в какую жизненную перспективу это дурное поставлено. Ни о чем ином это письмо свидетельствовать не может. Дальнейшую ясность вносят сами пьесы.

Все четыре пьесы Островского, вызывавшие наиболее сочувственное отношение со стороны Ап. Григорьева («Бедная невеста», «Не в свои сани не садись», «Бедность—не порок»,

¹ Всесоюзная Библиотека имени В. И. Ленина. Сборник IV, 1939, стр. 17.

«Не так живи, как хочется»), тоже содержат в себе защиту «маленьких людей». В каждой из них центр драматического положения сосредоточен на судьбе обиженной личности, страдающей от вторжения грубых, угнетающих и темных сил действительности.

В «Бедной невесте» такое положение занимает Марья Андреевна, лучшие чувства которой от бедности, от диких и темных нравов, от бесправного положения женщины, от эгоистической пошлости праздного человека, оказываются навсегда оскорбленными и неосуществленными.

Драматический конфликт комедии «Не в свои сани не сидись» сосредоточен на судьбе Дуни Русаковой, пострадавшей от условий ложного воспитания, от доверчивой неопытности, не позволившей ей оградить себя от хищнических appetitов дворянского прожигателя жизни.

В «Бедности—не порок» защита угнетенной и оскорбленной личности «маленького человека» выступает еще полней и еще ясней. К слепому или хищническому игнорированию личности здесь прибавляется открытое, дикое самоуправство, готовое в угоду своему нраву раздавить и поглотить все светлое и человеческое. Вся патетика пьесы направлена к ограждению обиженного, бессильного и угнетенного человеческого достоинства (Любовь Гордеевна, Митя, Любим Торцов).

Несколько особое место занимает пьеса «Не так живи, как хочется». Суд писателя в этой пьесе обращен не к прямому деспотизму, а к нравственной распущенности и беспорядочности. Однако и здесь обличается, в конце концов, то же пренебрежение к личности. Моральное самоуправство и безответственность Петра ведут к страданию униженного и обиженного лица (Даша). Как и в других пьесах, драматургическое сложение действия и здесь состоит в демонстрации слепого эгоизма и его страдающей жертвы (униженная и обиженная личность).

В этом отношении все эти пьесы находятся в очевидном соответствии с осужденными Ап. Григорьевым тенденциями «натуральной школы».

Однако общим с натуральной школой в этих пьесах Островского является лишь подход к действительности, одна и та же сфера вопросов, одинаковая проблематика (несправедливость и обида личности), но выход, решение поставленных вопросов в этих пьесах дается в духе абстрактного утопического морализаторства, близкого Ап. Григорьеву.

Критическое отношение к действительности, указание на ее пороки там, куда направлен был взгляд, воспитанный на

идеях Белинского, раскрытие темноты и узости нравственных понятий, обличение корыстного или морально-слепого пренебрежения к подчиненной и социально слабой личности, сочувственное изображение бесправия и бессилия жертв — все это в этих пьесах сближало Островского с «натуральной школой» и сохраняло общий реалистический и критический тип его драматургии.

В каждой из этих пьес вскрывается полное «отменение личности», по преимуществу женской личности, при явном сочувствии к ее подчиненному, безвыходному положению и при явном обнажении трагической стороны в тех слепых понятиях и обычаях, которые обрекали женщину на полный отказ от своей воли.

Отчаянное положение Марьи Андреевны, Любови Гордеevны, Даша представлено Островским без всяких смягчений. Островский увидел это привычное, принятое для всех, обычаям узаконенное уничтожение женской личности и в своем освещении несколько не преуменьшил ужаса этого положения. Самое усмотрение этого жизненного драматизма, как бытового явления, составляет принадлежность идейной обстановки 40-х годов и в источнике восходит к критическим идеям Белинского и Герцена.

Поиски же оздоровительных начал, положительные рецепты, направленные к тому, чтобы исправить зло, являлись в этих пьесах утопическими, неверными, ложными и, по объективному значению, даже реакционными.

Критически поставленные вопросы Островский на этом этапе решал в духе того «идеала», о котором писал Ап. Григорьев. Оздоровляющее начало указывается лишь в побеждающей силе добрых чувств. Разрешающий исход жизненной драмы в этих пьесах осуществляется добрым чувством обиженных, до конца сохраняющих любящую безропотность и действующих на окружающее зло лишь силою великодушия¹ и переменами в душе обидчиков, в нравственном существе которых пробуждаются добрые чувства².

При этом наибольшая высота, сохранность и свежесть нравственных чувств приписывается среде, наиболее связанной с традициями нетронутой старины. И наоборот: замутнение и забвение чистых непосредственных человеческих чувств представляется, как результат отрыва от исконных на-

¹ Марья Андреевна, Дуня в «Бедной невесте», отец и дочь Русаковы и Бородкин в «Не в свои сани не садись»; Люба, Митя, Любим Торцов в «Бедность — не порок»; Агафон и Даша в «Не так живи, как хочется».

² Гордей Торцов в «Бедность — не порок». Петр в «Не так живи, как хочется».

чал под воздействием грубых страстей и соблазнов внешней культуры. Таким образом, улучшение намечается не в преодолении обветшалых форм жизни, а в их сохранении. Критика нравов ищет оздоровления в подчинении тем же нравам, взятым в идеализированном смысле.

Чернышевский в 1854 г. в отзыве о «Бедность—не порок», по условиям идейной борьбы того времени, обратил внимание на положительные авторские идеалы, выраженные в пьесе (идеализация патриархальности), и потому резко осудил пьесу, заметив в ней «апотеоз старинного быта» и «прикрашивание того, что не может быть прикрашиваемо»¹.

Добролюбов в 1859 г., в другой идейной обстановке, в анализе этих пьес оставляет в стороне авторские положительные призывы², останавливает внимание на критическом содержании и находит здесь правдивое отражение «неестественных общественных отношений, происходящих вследствие самодурства одних и бесправности других» (85).

Ап. Григорьев всегда выдвигал в пьесах Островского мягкость рисунка, отсутствие резкой сатиры, изображение порока без гнева, с добротой и с надеждой, что и порок будет побежден покорною любовью. Смысл пьес Островского Григорьев полностью возводил к своему примирительному «идеалу». При этом в трактовке Григорьева из пьес Островского неизменно исчезала их драматическая сущность, то есть критическая основа в сложении конфликта и трагическое положение страдающей стороны.

По мере того как положительная практическая программа Островского в новой общественной обстановке второй половины 50-х годов изменялась, и его вера в спасающую силу безропотной патриархальности рушилась, для Ап. Григорьева в творчестве Островского уже не оказывалось никакой опоры. Основная критическая тенденция в последующем творчестве Островского развивалась в том же направлении (защита угнетенной личности). Но теперь Островский, изо-

¹ Н. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 2, М., 1949, стр. 239—240.

² «...мы можем даже оставить в стороне, как вопрос частный и личный,—то какие намерения имел автор при создании своей пьесы. «Положим даже, что у Островского была действительно та мысль, какую ему приписывали: нас это мало теперь занимает». Н. А. Добролюбов «Темное царство». Полное собрание сочинений, т. 2, 1935, стр. 92, 96.

С. К. Шамбинаго полностью отождествляет «намерения», «идейную целеустремленность» Островского в комедии «Бедность—не порок» с идейным содержанием статьи Добролюбова «Темное царство» (С. К. Шамбинаго. «Социальный смысл комедии «Бедность—не порок». Сб. «А. Н. Островский на сцене Малого театра. «Бедность—не порок». Гос. изд. «Искусство». М.—Л., стр. 61—62, 65). Для этого не имеется оснований ни в самой пьесе, ни во всем ином, что известно об Островском этого времени.

бражая новые бесчисленные разновидности грубого нарушения или «отменения» личности в старых российских нравах, оздоравливающую силу усматривал и указывал не в утопии патриархальных идеалов, а в просвещении, в труде, в сохранении каждым человеком собственного человеческого достоинства. И несмотря на то, что общий драматургический тип пьес Островского оставался, в основном, прежним, с Ап. Григорьевым ничего общего уже не оказывалось, и между ними всякие идейные связи прекратились.

Насколько связь Островского со славянофильством была непрочной, об этом свидетельствуют слова Т. Филиппова: «...Ему (т. е. Островскому.—А. С.) как будто мешает ложный стыд и робкие привычки, воспитанные в нем **натуральным направлением**. Оттого нередко он затеет что-нибудь **возвышенное** или **широкое**, а память о **нагуральной** мерке и спугнет его замысел; ему бы следовало дать волю счастливому внушению, а он, как будто, испугается высоты полета, и об-
раз выходит какой-то недоделанный»¹.

Такое замечание было сделано Т. Филипповым в статье по поводу «Не так живи, как хочется», т. е. до написания «В чужом пиру похмелье» и последующих пьес. Следовательно, сожаление славянофила Филиппова об испорченности пьес Островского «натуральным направлением» относилось к пьесам «Бедная невеста», «Не в свои сани не садись», «Бедность — не порок» и «Не так живи, как хочется», т. е. к таким пьесам, в которых Островский к славянофильству был наиболее близок.

В статье «Темное царство», обзоревав всю деятельность Островского до 1859 года, Добролюбов имел все основания отметить, что Островский дал лишь некоторые поводы причислять его к славянофилам, каковым он, в сущности, никогда не был. «Как человек, действительно знающий и любящий русскую народность, Островский действительно подал славянофилам много поводов считать его «своим», а они воспользовались этим так неумеренно, что дали противной партии весьма основательный повод считать его врагом европейского образования и писателем ретроградного направления. Но, в сущности, Островский никогда не был ни тем, ни другим, по крайней мере, в своих произведениях»².

В период сближения со славянофильством Островский

¹ «Русская Беседа» 1856, кн. 1, стр. 74. Подчеркнуто Т. Филипповым.

² Н. А. Добролюбов. «Темное царство». Полное собрание сочинений, т. 2, 1935, стр. 43.—В дальнейшем ссылки на статьи Добролюбова «Темное царство» и «Луч света в темном царстве» будут обозначаться в самом тексте указаниями страниц этого издания, т. 2.

не утрачивал ни критического подхода к действительности, ни своей особой проблематики, направленной к освещению темных сторон в бытовых нравах, в обстановке материального и морального угнетения личности.

Наличие этих элементов даже в пьесах, наиболее близких к славянофильству, позволило Добролюбову рассматривать их в единой общности со всеми предыдущими и последующими пьесами Островского. Отклоняя в них утопические неверные тенденции, Добролюбов раскрывал их критическое содержание, как выражение общей для Островского темы о столкновении «старших и младших, богатых и бедных, свободных и безответных» (53).

8.

Для Добролюбова творчество Островского оказалось близким по его основной критической направленности. «Современные стремления русской жизни, в самых обширных размерах, находят свое выражение в Островском, как в комике, с отрицательной стороны. Рисуя нам в яркой картине ложные отношения, со всеми их последствиями, он через то самое служит отголоском стремлений, требующих лучшего устройства» (331).

В положительной программе, т. е. в том, что Островским и Добролюбовым предусматривалось как средство устранения обличаемого зла, совпадения между ними не было.

То, что сближало Островского с Белинским, в основном, это же было ценным в творчестве Островского и для Добролюбова.

Для Добролюбова важно, что Островский обратился к изображению «обыкновенной» действительности, что «характеры в пьесах Островского совершенно обыденны и не выдаются ничем особенным, не возвышаются над пошлою средой, в которой они поставлены» (46), что «верность действительности, жизненная правда — постоянно соблюдаются в произведениях Островского и стоят на первом плане, впереди всяких задач и задних мыслей» (52).

Добролюбов так же, как и Белинский, считал, что зло в жизни, в основном, творится не «злодеями», не «извергами природы человеческой», а чаще всего людьми «обыкновенными» и «даже добродушными» (66).

«Обыкновенность» для Добролюбова так же, как и для Белинского, была существенна в том смысле, что она указывала на общность одинаковой практической морали целых масс, а это, в свою очередь, открывало общность социаль-

ных причин, образующих одни и те же нравственные представления и привычки.

Добролюбов в особую заслугу Островскому ставит интерес к нравственной стороне дела, «уменье заглянуть в душу человека и изобразить его человеческую сторону, независимо от его официального положения (131). При таком внутреннем морально-психологическом обосновании на первый план выступала порочность не отдельного поступка, а порочность самих нравственных понятий, которыми вызывался и оправдывался данный поступок. Тем самым открывалась внутренняя логика порока в данных общественных условиях. «...Автор комедии вводит нас в самый домашний быт этих людей, раскрывает перед нами их душу, передает их логику, их взгляд на вещи, и мы невольно убеждаемся, что тут нет ни злодеев, ни извергов, а все люди очень обыкновенные, как все люди, и что преступления, поразившие нас, суть вовсе не следствия исключительных натур, по своей сущности наклонных к злодейству, а просто неизбежные результаты тех обстоятельств, среди которых начинается и проходит жизнь людей, обвиняемых нами» (78).

Содержание творчества Островского вполне отвечало такому взгляду. Добролюбов, пользуясь примерами Островского, раскрывал губительное воздействие крепостнических, собственнических отношений и сообразных им нравственных понятий, показывал, как явное зло выступает с полной убежденностью в своей правоте и как даже самое наивное простодушие соединяется с самыми вопиющими нарушениями человеческого достоинства. Слова Добролюбова о морали Большова, Юсова и им подобных перекликаются со словами Белинского, характеризующими моральную логику городничего, Чичикова и других гоголевских героев.

Добролюбов учитывал почти полное отсутствие у Островского изображения общественной деятельности людей. Однако он, в условиях полицейско-бюрократического режима, не считал этого большой потерей. Неизбежная фальшивость общественных выступлений в казеннобюрократической обстановке, по его мнению, способна была лишь заслонить подлинную правду нравственных и общественных чувств: «Деятельность общественная мало затронута в комедиях Островского и это без сомнения потому, что сама гражданская жизнь наша, изобилующая формальностями всякого рода, почти не представляет примеров настоящей деятельности, в которой свободно и широко мог бы выразиться человек. Зато у Островского чрезвычайно полно и рельефно представлены два рода отношений, к которым человек еще

может у нас приложить душу свою. — отношения **семейные** и отношения **по имуществу**» (53. Подчеркнуто Добролюбовым).

Добролюбов так же, как и Белинский, в отличие от фальшивой «парадной», «праздничной», официальной морали, — в семейном быту, в частных нравах видел вернейший показатель господствующей реальной общественной нравственности. Если служебное и общественное поведение в обстановке полицейской официальности могло так или иначе скрывать подлинную правду в общественной морали, то в семейных отношениях эта правда вскрывалась во всей очевидности. «...Вопрос о так называемой **семейной нравственности**, — писал Добролюбов, — составляет один из важнейших общественных вопросов нашего времени. Мы даже скажем, что он решительно важнее всех остальных потому, что он во все остальные входит и имеет значение более **внутреннее**, тогда как другие по большей части ограничиваются внешностью... Некоторые даже хотели найти какое-то натуральное противоположение отношений семейных и общественных, между тем как это противоположение есть чисто искусственное и крайне нелепое»¹.

Семейные нравы Добролюбов ставил в связь с общим характером господствующих общественных порядков и взаимоотношения в семье рассматривал как неоспоримый показатель подлинного уровня общественной воспитанности. «В семье совершается самое полное и естественное слияние собственного эгоизма с эгоизмом другого и полагается основание и начало того братства, той солидарности, сознание которых одно только и может служить прочною связью правильно организованного общества»².

Картины семейной жизни, представленные Островским, где «одни хотят все подавить своим самодурством, а другие не находят простора для самых законных своих стремлений» (59), — последовательно включались в общую мысль Добролюбова о «неестественности общественных отношений, происходящей вследствие самодурства одних и бесправия других» (85).

Таким образом, подход к критике действительности с точки зрения интересов угнетенной личности, обнаружение деспотизма во всем укладе бытовых отношений, раскрытие антигуманной сущности в затвердевшей и привычной мора-

¹ Н. А. Добролюбов. «Повести и рассказы М. И. Воскресенского». 1858. Полное собрание сочинений, т. 1, 1934. стр. 428. Подчеркнуто Н. А. Добролюбовым.

² Там же.

ли, во всех представлениях о жизни и жизненном благе, преследование всех проявлений деспотического или корыстного пренебрежения к духовным запросам личности, протест против всякого произвола и насилия — все это у Островского и Добролюбова было общим.

Смысл этой критической стороны творчества Островского Добролюбов лишь расширил, распространил, дал понять, что зло деспотизма, пронизывающее весь быт, коренится в общих основаниях самодержавно-крепостнического строя.

В ином соотношении статьи Добролюбова находятся с тем, что у Островского касается положительных указаний на возможность выхода и преодоления существующего зла.

Островский или совсем не указывал выхода («Семейная картина», «Свои люди — сочтемся», «Воспитанница») или отдаленно указывал на облагораживающую силу просвещения («В чужом пиру похмелье»), или на возможность изменения «общественного мнения», в котором принципы честности и справедливости, в конце концов, должны найти себе моральную поддержку («В чужом пиру похмелье», «Доходное место»).

Во всем этом выхода, конечно, никакого не было, и Добролюбов не мог признать этого выходом. Так он и писал: «выхода из «темного царства» мы не нашли в произведениях Островского» (133).

Надежды Островского дальше задач перевоспитания общественной нравственности, в сущности, не шли. Показать несправедливость, обнажить ужас в положении зависимой личности, стесняемой и угнетаемой в лучших и естественных человеческих чувствах, показать страдание, вызванное жестокостью, грубым эгоизмом, бездушием и нравственной слепотой господствующих нравов, разбудить внимание к душевному благородству человека и всем этим, в конце концов, вызвать у читателя и зрителя сочувствие к жертвам и гнев к их угнетателям, — в этом состояла основная патетическая направленность пьес Островского.

Все это имеется и в статьях Добролюбова. Но, кроме этого, статьи Добролюбова содержат в себе призывы к революционной борьбе и обоснование веры в успех борьбы.

Добролюбов выступает как политический мыслитель, стремящийся учесть не только то, что отягощает и уродует жизнь народа, но и общественные возможности, которые должны привести к освобождению от этих уродств. Добролюбов анализирует пьесы Островского с высоты своих революционных ожиданий. Ощувив в нравах, изображенных

Островским, отражение и выражение основного зла самодержавно-крепостнических отношений — непризнание человеческой личности, угнетение, «самодурство», — Добролюбов тут же стремится указать на те силы, которые, по условиям всех законов жизни (в его понимании), смогут и должны ниспровергнуть это зло: «закон времени, закон природы и истории берет свое, и тяжело дышат старые Кабаны, чувствуя, что есть сила выше их, которой они одолеть не могут» (339).

Добролюбов снимает всякие надежды на перевоспитание самодурства, на возможность улучшения средствами сердечного смягчения самодура. Он не верит в такое смягчение и разъясняет, что самодурство вызывается и держится самим положением самодура (власть, безответственность и имущественное превосходство). Просветы благодушия у отдельных самодуров могут быть, но капризы и повадки распоряжаться другой личностью все же и тут остаются. В этом смысле характеризуются Добролюбовым моменты «великодушия» у Бельшова, у Русакова, у Гордея Торцова, у Петра Ильича, у Брускова. «Исправить» самодура можно только путем лишения его того особого положения, которое он занимает. «В примере Торцова (Любима), — пишет Добролюбов, — можно отчасти видеть и выход из темного царства: стоило бы и другого братца, Гордея Карпыча, так же проучить на хлебе, выпрошенном Христа-ради, — тогда бы и он, вероятно, почувствовал желание «иметь работишку», чтобы жить честно» (135).

В освещении угнетенной стороны между Островским и статьями Добролюбова тоже имеется различие. Островский центр внимания сосредоточивает на самом положении угнетенности, вызывая сочувствие и сожаление к самому факту скованности естественных и законных человеческих чувств. Добролюбов, не расходясь с Островским и вместе с Островским, разъясняет весь ужас такого положения вещей. Но для него обнажение таких положений является лишь начальным, отправным возбудителем протеста. Одновременно с раскрытием «ненормальности» и «неестественности» такого положения он ведет оценку сложившихся сил с точки зрения будущего, со стороны предстоящей революционной борьбы. Поэтому его сочувствие к угнетенным жертвам не во всем является безусловным. Предпочтительное внимание свое он направляет к тем жертвам, которые еще не утратили в себе чувство личности, самостоятельности и способности к сопротивлению. И, наоборот, пассивные, хотя и страдающие, лица вызывают с его стороны решительное осуждение (Ду-

ня, Любовь Гордеевна, Даша и др.). Добролюбов ищет «смелости добра» (112), внутреннего, ничем непоколебимого «сознания в правоте дела» (113), «решимости на борьбу» (108), непримиримости и готовности на всякие жертвы, лишь бы не жить «при тех началах, которые противны» (346).

У Островского столь резкого разграничения в авторских симпатиях к страдающим жертвам нет. Нет у него и столь прозрачных по мысли намеков, какие делает Добролюбов, указывая на внутреннее бессилие самодурства и на неизбежность его падения, если бы оно не поддерживалось слепотою и инертностью самих угнетенных, нет разрушения старого «чувства законности», нет столь явственного предупреждения, что «Дикой и ему подобные вовсе не способны отдать свое значение и свою силу без сопротивления» (347), — одним словом, нет ничего, что в какой-нибудь степени содержало бы в себе и приоткрывало революционную мысль о том, что «выходом» из темного царства может быть только возмущение самих угнетенных. В этой решающей мысли у Добролюбова с Островским никакой общности не было. Наталкивая читателя на революционные выводы, Добролюбов добавлял Островского.

Огромную историческую заслугу Островского Добролюбов видел в том, что он ясно отразил в своих пьесах самый вопрос, самую тему угнетения: «он захватил такие общие стремления и потребности, которыми проникнуто все русское общество, которых голос слышится во всех явлениях нашей жизни, которых удовлетворение составляет необходимое условие нашего дальнейшего развития» (330).

В критическом содержании пьес Островского Добролюбов указал на то, что, действительно, находилось в центре писательского сознания драматурга: обнаружение невнимания к человеку, защита человека от всяких форм угнетения. Общность с Белинским в антикрепостнических и гуманистических тенденциях 40-х годов привела Островского к общности с Добролюбовым.

По связи с антикрепостническими, освободительными идеями Белинского, творчество Островского, в его критическом содержании, имело самую живую и передовую актуальность в обстановке освободительной борьбы конца 50-х и начала 60-х годов. С этой стороны оно и было поддержано и разъяснено Добролюбовым.

Идейная преемственность между 40-ми и 50—60-ми годами, осуществленная Островским, была обозначена самим Добролюбовым. Сказав о том, что проблема личности стояла перед русским обществом издавна, что «наша история до

новейшего времени не способствовала у нас развитию чувства законности, не создавала прочных **гарантий для личности** и давала обширное поле произволу» (331), что в настоящее время «стремление к новому, более естественному устройству отношений» проявляется во все большем **«пробуждении личности»** и в «протесте против насилия и произвола» (332), что эти общенародные требования времени с особенной полнотой и силой сказались в комедиях Островского, Добролюбов пишет: «Но не в одной только степени силы достоинство комедий его: для нас важно и то, что он нашел сущность общих требований жизни еще в то время, когда они были скрыты и высказывались весьма немногими и весьма слабо. Первая его пьеса появилась в 1847 году...» Далее отметив, что в годы реакции, после 1847 года, «даже лучшие наши авторы почти потеряли след естественных стремлений народных» и «почти никогда не умели найти для них истинного и приличного выражения», Добролюбов продолжает: «Общее положение отразилось, разумеется, отчасти и на Островском; оно, может быть, во многом объясняет ту долю неопределенности некоторых следующих его пьес, которая подала повод к таким нападкам на него в начале пятидесятых годов. Но теперь, внимательно соображая совокупность его произведений, мы находим, что чутье истинных потребностей и стремлений русской жизни никогда не оставляло его; оно иногда и не показывалось на первый взгляд, но всегда находилось в корне его произведений... Эта черта удерживает произведения Островского на их высоте и теперь» (333).

Этими словами Добролюбов суммирует свое восприятие творчества Островского не только в теоретическом, но и в историческом плане. Сказанное о 40-х годах содержит в себе напоминание о времени Белинского, когда в литературе впервые стала высказываться мысль, положенная в основу произведений Островского. По общему контексту видно, что при этом Добролюбовым имелась в виду именно мысль об угнетении личности. Тот же контекст указывает, что в развитии именно этой идеи, как выражении «естественных стремлений народных», Добролюбов видел центральный и важнейший стержень исторической преемственности между 40-ми годами и своим временем. Добролюбов выделяет Островского из ряда других писателей в том отношении, что эта идея никогда им не утрачивалась, хотя и носила «долю неопределенности» на взема, в период реакции. И, наконец, ясно сказано, что именно этою чертою произведения Остров-

ского отражают интересы передовой общественности, современной Добролюбову.

Все это позволяет сделать последний вывод:

То, что в творчестве Островского Добролюбовым было выдвинуто как важнейшая и определяющая черта, то, что позволило Добролюбову на материале произведений Островского глубоко осветить угнетение, как коренное зло крепостнической русской жизни, то, что в произведениях Островского прозвучало для Добролюбова как «требование права, законности, уважения к человеку» (331), — все это Островский мог осуществить благодаря коренному и основоположному воздействию, полученному от идей Белинского.

ПИСЬМО БЕЛИНСКОГО К ГОГОЛЮ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ*

Письмо Белинского к Гоголю от 3 (15) июля 1847 г.—литературно-политический документ, который В. И. Ленин безоговорочно признал «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати»¹ — до сих пор остается неизученным. Больше того, в течение ста лет мы не располагали и его точным, критически-установленным текстом. Нам неизвестны ни судьба оригинала письма, уничтоженного или затерянного самим Гоголем вскоре после его получения², ни происхождение и степень достоверности тех его копий, которые с начала 1849 г. получили широкое распространение по всей стране, как политическое завещание великого критика.

При жизни Белинского письмо было известно только самым близким к нему людям, но хождения не имело и среди них Белинский в этом отношении проявил исключительную осторожность, хорошо понимая, чем он рискует в случае обнаружения письма агентурой государственной охраны. Единственной копией документа и была поэтому в 1847—1848 гг. только та, которую сделал он сам для себя еще в Зальцбрунне перед отправкою письма адресату.

О всех условиях и даже о самой технике трехдневной работы Белинского над письмом к Гоголю до нас дошел обстоя-

* Основные части этой работы прочитаны были на открытых заседаниях Института истории Академии наук СССР (10 марта 1948 г.), Саратовского государственного университета (9 июня 1948 г.) и государственного Дома-музея Н. Г. Чернышевского (27 сентября 1948 г.). Установленный нами критический текст письма Белинского к Гоголю со сводом и оценкой важнейших вариантов, характеризующих отступления от утраченного оригинала, положен был, с нашего разрешения, в основание новейшей публикации этого документа («Литературное Наследство», т. 56, М., 1950).

¹ «Из прошлого рабочей печати в России» (1914 г.). См. «Сочинения В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XVII, стр. 341.

² Трудно сказать, был ли автограф письма Белинского сознательно уничтожен Гоголем или затерян во время его путешествий этой поры. Несомненным представляется только то, что ни одна из известных нам копий Зальцбрунского письма не восходит к оригиналу, бывшему в распоряжении адресата.

тельнейший рассказ такого внимательного и авторитетного очевидца, как П. В. Анненков, один из ближайших друзей критика этой поры.

По его свидетельству, «Белинский набросал сперва письмо карандашом на разных клочках бумаги, затем переписал его четко и аккуратно набело и потом снял еще с готового текста копию для себя. Видно, что он придавал большую важность делу, которым занимался, и как будто понимал, что составляет документ, выходящий за рамки частной, интимной корреспонденции»¹.

Это трезвое понимание значимости письма, как политического и литературного документа, это сознание своей исторической ответственности за него, и обусловило сохранение Белинским копии его обращения к Гоголю даже в тот момент, когда, в ожидании обыска и ареста, он предал в начале 1848 г. огню большую часть своего архива. Именно эта копия письма, отданная им, вместе с подлинником ответа на него Гоголя, в чьи-то очень надежные дружеские руки, и явилась после смерти критика первоисточником всех тех многочисленных списков «письма Белинского к Гоголю», массовое распространение которых сообщило документу частной переписки функцию политической прокламации.

1.

В пределах 1847—48 гг. исследователь может искать только слушателей письма, ибо о читателях его еще не могло быть и речи.

Прочитав свое обращение к Гоголю 15 июля 1847 г. П. В. Анненкову, Белинский через два дня в Париже уже читал его А. И. Герцену. Авторитетный голос последнего сразу же обеспечил и признание письма, как основного идеологического документа эпохи: «Это гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его»—сразу же формулировал свои впечатления А. И. Герцен². Тогда же Белинский, видимо, про-

¹ П. В. Анненков «Замечательное десятилетие», гл. XXXV. Первоначально опубликовано в «Вестнике Европы» 1880 г., перепечатано в «Воспоминаниях и критических очерках» П. В. Анненкова, т. III, СПб, 1888, стр. 212—213.

² П. В. Анненков «Замечательное десятилетие», гл. XXXV. Когда чтение и распространение письма Белинского к Гоголю всплыло в процессе петрашевцев, как один из основных обвинительных пунктов, П. В. Анненков, по собственному его признанию в заметках «Две зимы в провинции и деревне», долгое время был в большой тревоге, опасаясь, что его погубить может самый факт пребывания в Зальцбрунне в пору работы Белинского над криминальным письмом: «Как нравственный участник, не донесший правительству о нем, я мог бы тоже попасть в арестантские роты» («Былое», 1922 г., № 18, стр. 6).

чел в Париже свое письмо и И. С. Тургеневу. Тогда же он познакомил с ним Н. И. Сазонова и М. А. Бакунина. Впечатлениями двух последних от письма к Гоголю вдохновлен был, как мы полагаем, и тот разговор, который передает Герцен, вспоминая о проводах Белинского в Петербург:

«Слезы стояли у меня в горле, и я долго шел молча, когда возобновился несчастный спор <с Бакуниным и Сазоновым>, раз десять являвшийся *sur le tapis*»¹. «Жаль,—замечил Сазонов,—что Белинскому не было другой деятельности, кроме журнальной работы, да еще работы подцензурной». — «Кажется, трудно упрекать именно его, что он мало сделал»,—отвечал я.—«Ну, с такими силами, как у него, он при других обстоятельствах и на другом поприще сделал бы побольше»².

Этот спор очень симптоматичен, и не случайно, что именно Бакунин, авантюристический анархизм которого заклеямен был Белинским в 1847 г., как «праздные фантазии» оторвавшегося от русской действительности «мистика и идеалиста», поддержал не Герцена, а Сазонова в их дискуссии об исторической роли великого критика. Характерно, однако, что при всех своих идеологических расхождениях с Белинским, Бакунин явился первым популяризатором в западно-европейской печати некоторых тезисов и формулировок зальцбрунского письма к Гоголю. Этот политический документ Бакунин широко использовал в своем выступлении на митинге в Париже 17 (29) ноября 1847 г. по случаю семнадцатилетия польского восстания. За эту речь, опубликованную в органе Луи Блана и Ледрю Роллена «*La Réforme*» и ставшую объектом оживленных прений во французской палате депутатов, Бакунин был выслан по требованию русского правительства из Парижа.

Повторяя и развивая свидетельство Белинского об «огромной корпорации разных служебных воров и грабителей», в которую выродился государственный аппарат Российской империи, Бакунин констатировал «приближение бури, недалекой страшной бури, которая многих пугает, но которую нация ждет с радостью». — «Под покровом строжайшего иерархического формализма скрыты отвратительные язвы; наша администрация, наша юстиция, наши финансы—сплошная ложь,

¹ На очереди.

² А. И. Герцен «Былое и Думы», часть VII (Н. И. Сазонов).

придуманная для обмана заграничного общественного мнения, для успокоения внутренней тревоги монарха, тем охотнее подающегося этой лжи, что действительное состояние дел его страшит. Словом, это грандиозная, обдуманная и научная, если так можно выразиться, организация беззакония, варварства и грабежа. Ибо все слуги царя от занимающих самые высокие посты до самых мелких уездных чиновников разоряют и обкрадывают страну, совершают вопиющие беззакония, самые отвратительные насилия, без малейшего стыда, без малейшего страха, открыто, среди бела дня и с беспримерной наглостью и грубостью, не давая себе даже труда скрывать свои преступления от негодования публики, настолько они уверены в своей безнаказанности.. Власть—чуждая и враждебная стране—обречена на близкое падение. Везде у нее враги. Сюда относится огромная масса крестьян, которые уже не ждут воли от царя, и восстания которых, с каждым днем учащающиеся, показывают, что они устали ждать»¹.

Вся эта страница являлась популяризацией одного из центральных тезисов «Письма Белинского к Гоголю»—о крепостной России, как «стране, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей! Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами, и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу

¹ «Сочинения и письма М. А. Бакунина», т. III, М., 1935, стр. 275—277. Впервые в «La Réforme» от 5(17) декабря 1847г.; переведено на немецкий и чешский языки. Строки о «грандиозной организации беззакония и грабежа», восходящие к формулировке Белинского в письме к Гоголю об «огромной корпорации разных служебных воров и грабителей», ближайшим образом имели в виду колоссальные злоупотребления в военном ведомстве, вскрывшиеся в процессе следствия о растрате казенных сумм начальником резервного корпуса, генералом Тришатным: «В Питере перед выездом—писал Белинский 7.VII.1847 г. Боткину—я только и слышал, что о шайке воров с Тришатным и Добрыниным во главе» («Письма Белинского»—т. III, стр. 245). О толках в Петербурге по поводу дела Тришатного см. «Записки» М. А. Корфа («Рус. стар.», 1900, кн. 2, стр. 343—344) «Записки и дневник А. В. Никитенко», т. I, СПб, 1905, стр. 369—370.

белых негров и комическим заменением однохвостного кнута треххвостною плетью»¹.

Правда, Бакунин пытался идти дальше Белинского, наивно усматривая в России 1847 г. наличие всех признаков предреволюционной ситуации, но даже этот ложный вывод покоился на посылках того же «Письма к Гоголю», от которого он в своей концепции отправлялся: «О, поверьте, в России нет недостатка в революционных элементах,—заверял Бакунин.—Она набирается духа; она проникается страстью, она подсчитывает свои силы, осознает себя, концентрирует свою энергию, и не далек тот момент, когда разразится буря, великая и для всех нас спасительная буря»².

Боязнь политической компрометации Белинского не позволила Бакунину даже обиняками связать пафос своего оптимизма с информацией о русских делах в письме Белинского к Гоголю. Насколько же эффективно было воздействие этого идеологического документа на его первых слушателей, мы можем судить не только по речи Бакунина, но и по некоторым писаниям Тургенева и Герцена.

Еще в Зальцбрунне, под непосредственным воздействием общения в июне и июле 1847 г. с Белинским, Тургенев отказывается от политически почти нейтральной бытописи первых очерков «Записок охотника» и создает самые резкие из антикрепостнических новелл этого цикла—«Бурмистр», «Контору», «Два помещика». Эти рассказы, с их обнаженной установкой на дискредитацию правящего класса, получают окончательную художественную отделку в Париже³ в августе и сентябре 1847 г., т. е. именно в ту пору, когда письмо Белинского к Гоголю, как программа-минимум русской демократической общечеловечности, привлекает к себе самое пристальное внимание и Герцена, и Бакунина, и Сазонова, и Анненкова.

«Письмо Белинского к Гоголю—вся моя религия»,—заявлял впоследствии Тургенев, демонстративно подчеркивая в споре с К. С. Аксаковым свою солидарность с политическими

¹ Строки Белинского о замене «однохвостного кнута треххвостною плетью» имели в виду «Уголовное Уложение», введенное в жизнь в 1845 году. М. Е. Салтыков-Щедрин в очерках «За рубежом» (1880 г.) вспоминал одного из своих лицейских профессоров (Я. И. Баршева), который «целую лекцию сквернословил перед нами, как скорбела высшая идея правды и справедливости, когда она осуществлялась в форме кнута, и как ликует она теперь, когда, с соизволения высшего начальства, ей предоставлено осуществляться в форме треххвостной плети» (Полн. собр. соч. М. Е. Салтыкова-Щедрина, т. XIV, с. 107). Ср. А. Г. Тимофеев «История телесных наказаний в русском праве», изд. 2-е, СПб, 1904, с. 153.

² «Сочинения и письма М. А. Бакунина», т. III, стр. 277.

³ Об этом см. письмо Тургенева к Белинскому от 17.IX.1847 г. («Письма Белинского», т. III, стр. 379).

и литературными установками «неистового Виссариона»¹. В этом отношении не случайны были, конечно, и элементы пародической интерпретации «Выбранных мест из переписки с друзьями» в «Двух помещиках» и позднейшая отметка в печатном тексте «Бурмистра» о времени его написания — «Зальцбрунн в Силезии, июль 1847 г.», сделанная, вероятно, только для того, чтоб подчеркнуть ее связь с точной датой письма Белинского к Гоголю: «15 июля 1847 г., Зальцбрунн»².

Еще более разительно и прямолинейно было использование одного из ведущих тезисов Зальцбруннского письма Белинского—о религиозном индифферентизме русского крестьянина—в статье Герцена «La Russie», опубликованной впервые в органе Грудона «La voix du Peuple» в конце 1849 г.:

«Русский крестьянин суеверен, но безразличен в религиозном смысле,—писал Герцен.—Он в точности исполняет все обряды, всю внешнюю сторону культа, чтобы в этом отношении совесть была чиста; в воскресенье он идет к обедне, чтобы остальные шесть дней не думать о церкви. Священников своих он презирает, как лентяев и жадных людей, которые живут на его счет. Во всех непристойных народных рассказах и уличных песнях предметом насмешки и презрения служат всегда поп и дьякон или их жены»³.

Вся эта тирада является популяризацией (видимо, по памяти, без сверки с рукописью) конца четвертого и начала пятого абзаца письма Белинского к Гоголю: «Это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности... Неужели вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабные сказки? Про попа, попадью, попову дочку и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, колыханы, жеребцы?—попов. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства?».

Эти строки, ожившие впоследствии в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» («Скажите, православные, Кого

¹ Заявление Тургенева от 25 января 1855 г., отмеченное в дневнике В. С. Аксаковой («Минувшие годы», 1908, кн. VIII, стр. 134).

² Ю. Г. Оксман. «И. С. Тургенев. Исследования и материалы», в. I, Одесса, 1921, стр. 6. Ср. М. К. Клеман «Программы Записок Охотника» («Учен. Записки Ленингр. Гос Университета» вып. XI, 1941 г., стр. 89).

³ «Полн. собр. соч. А. И. Герцена», т. VII, 1915, стр. 352. Статья эта была переведена на итальянский язык в газете Мадзини «L'Italia del Popolo», 1849 г. и вошла в немецкое издание книги Герцена «Vom andern Ufer» 1850 г.

вы называете Породой жеребьячьей» и пр.)¹, заимствованы были Герценом из письма Белинского к Гоголю столь же откровенно, как и сентенции великого критика из этого же документа о печальной судьбе писателей, «искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности».

Эти строки Белинского развернуты были в 1851 году в трактате Герцена «О развитии революционных идей в России» («Du développement des idées révolutionnaires en Russie»):

«Нет славы, нет репутации, которая могла бы вынести смертельное и унижительное прикосновение правительства, — писал Герцен. — Все, умеющие читать в России, ненавидят правительство, все же любящие его, ничего не читают или же читают лишь французские пустячки. Пушкин, самая большая русская знаменитость, был одно время оставлен публикой за сделанное им после холеры приветствие Николаю и за два политических стихотворения. Гоголь, кумир русских читателей, возбудил глубочайшее презрение к себе за одну холопскую брошюру, слава Полевого померкла, как только он заключил союз с правительством. В России не прощают ренегатам»².

И Герцен, и Тургенев, и Бакунин были только слушателями Зальцбруннского письма. Они хорошо помнили его идеологические установки, его аргументацию, патетику его прозрений и обобщений, но едва ли знали их точный текст. Не случайно исследователям не известно ни одного случая размножения письма при жизни Белинского. Об этом достаточно красноречиво свидетельствует и тот факт, что Герцен, печатая в «Полярной Звезде» в 1855 г. письмо к Гоголю, вынужден был воспользоваться случайным и очень неисправным списком, полученным им уже после смерти Белинского, ибо более авторитетным текстом этого документа он не располагал³.

¹ Эти сатирические строфы, время написания которых относится к самому концу 60-х годов, впервые поставлены были в связь с письмом Белинского к Гоголю в статье М. К. Азадовского «Белинский и русская народная поэзия» («Литерат. Наследство», т. LV, 1948, стр. 150). Это сближение представляется нам совершенно бесспорным:

Скажите, православные,	И всякую хулу?
Кого вы называете	Мать попадью степенную,
Породой жеребьячью?...	Попову дочь безвинную,
О ком слагаете	Семинариста всякого
Вы сказки балагурные	Как чувствуете вы?
И песни непристойные	

² «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» (1851 г.). Цитируем перевод в изд. «Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена», т. VI, стр. 370.

³ Характеризуя в предисловии к «Полярной Звезде» присланные ему из России материалы, А. И. Герцен отмечал: «Другой аноним прислал

Не увенчалась успехом и попытка получить копию зальцбургского письма, предпринятая осенью 1847 г. московскими друзьями Белинского: «Бог знает, как любопытно прочесть письмо Белинского к Гоголю и ответ его,—писал Боткин 25-го августа 1847 г. Анненкову.—Мы с Коршем задумали просить вас: нет ли какой возможности сообщить их нам»¹.

Просьба эта дошла до Белинского лишь в момент его сборов к отъезду на родину. Само собою разумеется, что ни о заготовлении копий, ни о поисках оказии для их пересылки в эту пору уже никто серьезно думать не мог.

2.

Письмо Белинского к Гоголю, как политический и литературный документ, формулировавший устами революционного демократа национальные задачи широкого фронта всей антикрепостнической общественности в России, полностью подтверждало и оправдывало общие заключения Ф. Энгельса о русских делах в его обзоре мировой общественно-политической конъюнктуры накануне 1848 г.

Исходя из признания наличия во всем мире в течение 1847 г. «целого ряда изменений и движений, подобных которым мы не найдем ни за один из последних годов», Ф. Энгельс подчеркивал симптомы «ослабления дворянства в интересах буржуазии» даже в России, стоящей накануне «создания 'свободного крестьянского класса'». Эти социальные сдвиги он ставил в связь с потребностями «промышленности», развивающейся «колоссальными шагами» и превращающей «даже русских бояр все более и более в буржуа».

Характерно, что даже не подозревая о существовании Зальцбургского письма, Ф. Энгельс с исключительной четкостью определял не только генезис освободительных формулировок Белинского, но и исторически обусловленную неполноту их социально-политического звучания:

«1847 г. не принес никаких окончательных решений, но он повсюду резко и ясно противопоставил друг другу партии; он не разрешил ни одного вопроса в окончательной форме, но все вопросы оказались поставленными так, что разрешение их сделалось неизбежным»².

нам «Переписку Белинского с Гоголем». Переписку эту мы знали прежде от самого Белинского, она наделала некоторый шум в 1847 г. Во всяком случае, нет никакой нескромности ее напечатать; она прошла через столько рук, даже полицейских, что, печатая ее, мы собственно печатаем известное» («Полярная Звезда на 1855 г.», кн. I, стр. X).

¹ «П. В. Анненков и его друзья», СПб., 1892, стр. 548.

² Ф. Энгельс «Революционные движения 1847 г.», статья в «Deutsche-Brüsseler Zeitung» от 23.I.1847 г. Цитирую перевод в «Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса», т. V, М., 1929, стр. 239—240.

В какой мере, однако, мы правомочны утверждать, что именно в письме Белинского к Гоголю «самые живые, современные национальные вопросы в России» поставлены были так, что мобилизация общественного мнения вокруг них «сделалась неизбежной»? Каковы были преимущества Зальцбруннского письма перед другими программными документами этой эпохи? Каково самое содержание и оформление этих легальных и нелегальных записок, трактатов, статей? Какова их сфера распространения? Близки ли их установки Белинскому или далеки от него? Нет ли в Зальцбрунском письме признаков борьбы с ними или, наоборот, следов их положительного учета?

Значение всех этих вопросов, не только не разрешенных, но даже не поставленных до сих пор в нашей специальной литературе, определяется в результате рассмотрения основных положений «Письма Белинского к Гоголю», как политического документа, тезисы которого противостояли другим программным документам этой поры: секретной записке А. П. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России» (1841 г.), официальной декларации Л. А. Перовского «Об уничтожении крепостного состояния в России» (1845 г.), письму М. А. Бакунина в редакцию парижской газеты «La Réforme» (1845 г.), книге Н. И. Тургенева «Россия и русские» (1847 г.).

«Весь дух марксизма,—писал В. И. Ленин 30.XI.1916 г. Инессе Арманд,—вся его система требует, чтобы каждое положение рассматривалось лишь а) исторически; б) лишь в связи с другими; в) лишь в связи с конкретным опытом истории»¹.

Последовательное применение именно этих принципов конкретного исторического исследования только и может до конца уяснить условия появления и особенности содержания «одного из лучших произведений бесцензурной демократической печати», воздействие которого на политическое воспитание нескольких поколений передовой русской интеллигенции В. И. Ленин с такою силою подчеркивал еще в 1914 г.

Секретная записка А. П. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России» принадлежала перу экономиста и статистика, имя которого пользовалось большим авторитетом в широких кругах буржуазно-дворянской общественности 40-х годов. Эта записка, открыто прокламировавшая неизбежность перевода помещичьего хозяйства на капиталистические рельсы, была представлена автором министру государственных имуществ П. Д. Киселеву и никак не рассчитывалась на распространение.

¹ «Большевик», 1949, № 1, стр. 41. Вошло в «Сочинения В. И. Ленина», изд. 4-е, т. 35, 1950 г., стр. 200.

А. П. Заблоцкий-Десятовский был очень близок с кн. В. Ф. Одоевским и А. А. Краевским, охотно печатался в «Отечественных записках» и, как крупный специалист, знаток государственного хозяйства, редактор и вдохновитель «Сельского чтения», не мог не привлечь к себе самого пристального внимания Белинского¹. Все печатные отзывы великого критика о трудах А. П. Заблоцкого были неизменно положительны. Его работу «О причинах колебания цен на хлеб», опубликованную в летних книжках «Отечественных записок» 1847 г., Белинский рассматривал как очень серьезный вклад в дело подготовки крестьянского освобождения. Получив от автора оттиски этой «превосходнейшей статьи», Белинский один из них немедленно переслал своим друзьям за границу. На материалах же устной информации этого влиятельного и широко осведомленного бюрократа базировался Белинский, адресуя в начале декабря в Париж свой замечательный отчет о событиях русской политической жизни за вторую половину 1847 г.² Гвоздем этого отчета (в форме письма на имя П. В. Анненкова, посланного за границу с верной оказией) был рассказ о беседе императора Николая 17 мая 1847 г. с депутатами смоленского дворянства о предстоящей ликвидации крепостных отношений. Данные Белинского об этом эпизоде, равно как и об откликах на последний в высших правительственных кругах, были не только гораздо богаче опубликованных впоследствии документальных материалов о том же³, но полностью, до некоторых деталей бытового порядка, совпадали со всеми свидетельствами А. П. Заблоцкого-Десятовского в его предсмертной книге «Граф П. Д. Киселев и его время»⁴.

Встречи и беседы Белинского с А. П. Заблоцким-Десятовским на самые острые общественно-политические темы, объясняя это совпадение, не оставляют сомнений в знакомстве

¹ «Письма Белинского», т. III, стр. 271, 288, 293. О статье А. П. Заблоцкого-Десятовского «О причинах колебания цен на хлеб в России» («Отечественные записки», 1847, кн. 5 и 6) см. отклик Белинского во «Взгляде на русскую литературу 1847 г.» («Современник» 1848 г., кн. 2). Отражением позиций А. П. Заблоцкого-Десятовского, как отмечает Н. К. Пиксанов, были и некоторые общие политические установки Гончарова в «Обыкновенной истории», сочувственно отмеченные Белинским («Ученые Записки Ленинградского Университета», вып. XI, 1941, стр. 63—64).

² «Письма Белинского», т. III, стр. 314—317.

³ «Рус. Старина», 1873, № 10, стр. 910—914.

⁴ А. П. Заблоцкий-Десятовский «Граф П. Д. Киселев и его время», т. II, СПб., 1882, стр. 276—280. К данным А. П. Заблоцкого восходили в передаче Белинского не только подробности самой аудиенции 17 мая 1847 г., но и справка о прецедентах приема царем других дворянских делегаций, апологетическая оценка линии поведения и самой личности П. Д. Киселева, материалы о позиции кн. А. С. Меншикова и многое другое.

Белинского в той или иной форме и с запиской «О крепостном состоянии в России», как с основным документом, определяющим политическую платформу редактора «Сельского чтения».

«Слухи о намерении правительства изменить крепостное право,—констатировал А. П. Заблоцкий-Десятовский в своей записке,—распространились более или менее везде. Сами помещики уверяют, что никогда эти слухи не распространялись так быстро, не повторялись так часто, как в настоящее царствование... Различно понимая причины распространяющихся между крепостными слухов, дворянство сходится в одном, в чувстве страха восстания крестьян. До какой степени опасения эти справедливы, решить трудно. Достоверно то, что они не без основания. В чем состоят мысли крестьян об изменении их состояния? На этот вопрос никто не в силах отвечать, потому что у крестьян есть только желание свободы, но в каких формах должна явиться для них свобода, они об этом не имеют и не могут иметь мыслей»¹.

Широкими мазками характеризую разложение крепостного хозяйства и преимущества капиталистического способа производства, А. П. Заблоцкий-Десятовский мотивировал необходимость скорейшей ликвидации крепостного права, как юридического института, не отвлеченно-филантропическими соображениями, а интересами общегосударственного порядка, во имя которых верховная власть обязана пренебречь «болезненным ропотом частной корысти».

С начала и до конца А. П. Заблоцкий-Десятовский аргументирует с позиций буржуазной монархии, с начала и до конца пытается сочетать свои надежды на реформаторскую миссию самодержавной власти с апологией крупной фабрично-заводской и сельскохозяйственной промышленности, с опорой на новую капиталистическую общественность, сметающую со своего пути последние остатки феодализма. А. П. Заблоцкий-Десятовский бесконечно далек от ориентации на широкую демократию. Он не сомневается только в том, что отмена крепостного права, развязав дремлющие производительные силы, обеспечит в кратчайший срок мощный подъем народного хозяйства. «Обленившаяся беззаботность должна будет вытесниться пронырливою предприимчивостью, бездейственность — личным трудом, привилегированная праздность — обязанным занятием, требовательная прихоть—довольством необходимого, обычай—умом»².

¹ А. П. Заблоцкий-Десятовский «Граф П. Д. Киселев и его время», т. IV, СПб, 1882, стр. 336.

² А. П. Заблоцкий-Десятовский, т. IV, стр. 343—344.

Эти политические и социальные прогнозы не дошли по назначению: П. Д. Киселев не рискнул представить царю записку А. П. Заблоцкого, установочные положения которой воскрешены были лишь десять лет спустя, уже после кровавых уроков войны 1853—1856 г. Биографы Белинского не располагают прямыми его высказываниями об антикрепостнической платформе русских буржуазных либералов, идеологом которых был А. П. Заблоцкий. Но косвенных свидетельств об отношении великого критика к теоретикам этого типа сохранилось немало. Мы имеем в виду прежде всего суждение Белинского в его письмах 1847—1848 гг. о том, что «патриархальный, сонный быт весь изжит», что «нужно взять иную дорогу», что «внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази»¹.

Однако все то, что являлось для Заблоцкого-Десятовского нормой и догмой, не средством, а самоцелью, Белинский рассматривал лишь как болезненный переходный этап. В прогнозах Белинского «промышленность—источник не только великих благ», но и «великих зол»,—«последнее зло в владычестве капитала, в его тирании над трудом»². В отличие от Заблоцкого-Десятовского Белинский хорошо понимает, что «средний класс является великим» только «в преследовании своих целей», только в процессе своей борьбы с крепостничеством, что «буржуази в борьбе и буржуази торжествующая—не одна и та же»³.

Политические формы диктатуры буржуазии, определившиеся в результате двух революций во Франции, были для Белинского столь же неприемлемы, как и для Герцена, работавшего как раз летом 1847 г. над «Письмами из *Avenue Marigny*». Мы помним, с каким негодованием характеризовал Белинский в 1844 г. «партию среднего сословия», в результате победы которой «после июльских происшествий» 1830 г. «бедный народ с ужасом увидел, что его положение не только не улучшилось, но значительно ухудшилось против прежнего»⁴.

¹ «Письма Белинского», т. III, стр. 339.

² Там же, стр. 331.

³ Там же, стр. 328—329.

⁴ Статья о романе Е. Сю «Парижские тайны» («Отеч. Зап.» 1844, кн. IV, отд. V, стр. 21—36. Ср. Полн. собр. соч. Белинского, т. VIII, 1907, стр. 467—485). Очень характерен резко отрицательный отклик на эту статью Белинского в «*Allgemeine Zeitung*», отмеченный в дневнике Гер-

Мы знаем и письмо Белинского к Боткину в декабре 1847 г., когда, солидаризируясь с Герценом, он определял правящую верхушку буржуазии, как «сифилитическую рану на теле Франции», когда и личные его впечатления от предреволюционного Парижа сводились к лозунгу: «горе государству, которое в руках капиталистов». Поэтому ни в какой мере не могли вдохновлять Белинского и те перспективы капиталистического процветания на западноевропейский манер, которые намечались в программе Заблоцкого-Десятовского, как ближайшее следствие ликвидации крепостных отношений.

Представляя собою наиболее последовательного и откровенного выразителя чаяний русского буржуазного либерализма, А. П. Заблоцкий-Десятовский никогда не мог быть ни надежным союзником, ни даже попутчиком Белинского. В этом отношении не оставляет никаких сомнений одно из писем Белинского, в котором он, аттестуя А. П. Заблоцкого, как «умного и даровитого человека», не забывал тут же определить его и как «достойного друга Краевского»¹. Эта персонификация не случайна и уточняет, на наш взгляд, очень многое. Именно Краевский для Белинского был наиболее ярким воплощением типических свойств русской хищнической буржуазии, символом торжествующего «приобретателя» и «торгаша» из «презренной породы капиталистов». А «торгаш» — это, ведь, по формулировке Белинского, «существо, цель жизни которого — нажива», «существо, по натуре своей пошлое, дрянное, низкое и презренное», не могущее «иметь интересов, не относящихся к его карману. Для него деньги не средство, а цель <...>». Он свирепее зверя, неумолимее смерти, он пользуется всеми средствами, детей заставляет гибнуть в работе на себя, прижимает пролетария страхом голодной смерти, снимает за долг рублище с нищего, пользуется развратом, служит ему и богатеет от бедняков»².

На первый взгляд может показаться странным, почему весь круг проблем, связанных с критикой Белинским капиталистических отношений и политических форм диктатуры буржуазии, не получил в письме его к Гоголю прямого отражения. Не нужно, однако, забывать, что в задачи Белинского в

цена («Полн. собр. соч. и писем Герцена», т. III, стр. 351). По отклику в «Allgemeine Zeitung» основные положения статьи Белинского о «Парижских тайнах» (правда, без имени самого автора статьи) могли стать известными Карлу Марксу. Об источниках информации Белинского о положении пролетариата и крестьянства во Франции после июльской революции 1830 г. см. наши соображения в обзоре «Переписка Белинского» («Литерат. Наследство», т. 56, стр. 221 и 247).

¹ Письмо Белинского от 8.XI.1847 г. к В. П. Боткину («Письма Белинского», т. III, стр. 288)

² «Письма Белинского», т. III, стр. 329.

Зальцбрунне вовсе не входило создание ни развернутого программного документа, ни политической прокламации, что значение и того и другого его письмо к Гоголю получило помимо воли автора и уже после того, как оно оформилось именно, как «письмо», со всеми «родимыми пятнами» своего несколько необычного происхождения и назначения. Но, если Белинский и не имел в виду, начиная письмо, использовать его страницы для прокламирования своей политической платформы, то внутренняя диалектика его отповеди Гоголю была такова, что выдвижение противостоящей последнему конкретной положительной программы логически являлось для него в этом же письме обязательным.

В самом деле, полемизируя в 1847 г. с автором «Выбранных мест из переписки с друзьями», Белинский ближайшей своею целью имел разоблачение его, как публициста и политического мыслителя, утратившего непосредственное понимание «самых живых, современных, национальных вопросов в России». Эта задача не могла быть Белинским разрешена без доказательств антинародной сущности и претензионной беспочвенности «Выбранных мест». Обнажение же реакционного утопизма политических чаяний Гоголя в свою очередь требовало противопоставления им конкретной политической платформы всего антикрепостнического фронта, а не только передовых его отрядов. Чем шире раздвинулся бы этот фронт, тем резче определилась бы и изоляция Гоголя, как рупора неожиданно активизировавшейся реакционной идеологии, тем явственнее была бы и победа Белинского, как выразителя интересов многомиллионного крестьянства. Предельно упрощая в своей полемике с Гоголем требования демократической общественности, Белинский считал, видимо, и бестактным и бесполезным поднятие на данном этапе политической борьбы дискуссионных вопросов, могущих развалить или хотя бы только ослабить антикрепостнический фронт в самом процессе его формирования. Поэтому не получили отражения в письме Белинского ни характерное для него в эту пору охлаждение к иллюзиям утопического социализма, ни отвращение к «революционной фразе» во всех ее вариантах, от Бакунинского до Плещеевского включительно, ни принципиальное неприятие им же идеологических постулатов «презренной породы капиталистов».

«Жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый может давать произвольное направление легким движением весла, — писал Белинский во «Взгляде на русскую литературу 1846 г.», предвосхищая критиков своей платформы и «слева» и «справа». — Вместо того, чтоб думать о невозможном и смешить всех на свой счет самолюбивым вмешательством в

исторические судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизменяемую действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями».

В этой же статье Белинский напоминал своим оппонентам: «То, что для нас, русских, еще важные вопросы, давно уже решено в Европе, давно уже составляет там простые истины жизни, в которых никто не сомневается, о которых никто не спорит, в которых все согласны... Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы те же, да не те, и требуют другого решения.—Теперь Европу занимают новые великие вопросы. Интересоваться ими, следить за ними нам можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо нам, если мы хотим быть людьми. Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы, как наши собственные. В них нашего только то, что применимо к нашему положению; все остальное чуждо нам, и мы стали бы играть роль дон-Кихотов, горячась из-за него»¹.

Программа-минимум Зальцбруннского письма в условиях 1847 г. оказывалась единственно правильным разрешением стоявших перед Белинским тактических проблем. Ее тезисы: «уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого исполнения хотя тех законов, которые уже есть», отвечая интересам крестьянских масс, очень облегчали в то же время создание широкого антикрепостнического фронта, определение ближайших задач которого явилось одним из самых больших достижений Белинского, как реального политика.

Не случайно не раскрывал Белинский в письме к Гоголю и своего понимания формулы «уничтожение крепостного права». Лозунг этот, брошенный им в столь общей форме, не определял ни политических, ни экономических предпосылок крестьянского освобождения. Но именно этот отказ от абстрактных книжных (проект Н. И. Тургенева) или канцелярских (проекты Л. А. Перовского и П. Д. Киселева) рецептов социального реформизма обусловил огромный успех освободительных лозунгов письма Белинского в тех кругах русской общественности, идеологическое воздействие на которые для молодой революционной демократии являлось в эту пору как бы проверкой ее политической зрелости.

Как и всякая программа-минимум, платформа письма Белинского к Гоголю представляла собою не программу боевых действий авангарда революционной демократии, а, говоря словами В. И. Ленина, «программу ближайших политических и

¹ «Современник», 1847, кн. 1, стр. 14 и 27—28.

экономических преобразований, вполне осуществимых, с одной стороны, на почве данных экономических отношений, и необходимых, с другой стороны, для дальнейшего шага вперед»¹.

Еще года за полтора до своего письма к Гоголю в статье «Мысли и заметки о русской литературе», опубликованной в «Петербургском сборнике» Некрасова, Белинский попытался, в меру легальных возможностей, с неизбежными цензурными умолчаниями и вуалировками, формулировать свое отрицание прочности классовых устоев николаевской государственности, свое убеждение в исторической бесперспективности помещичье-дворянской политической диктатуры.

«Реформа Петра Великого не уничтожила, не разрушила стен, отделявших в старом обществе один класс от другого, — утверждал Белинский, — но она подкопалась под основание этих стен, и если не повалила, то наклонила их на бок, — и теперь со дня на день они все более и более клонятся, обсыплются и засыпаются собственными своими обломками, собственным своим щебнем и мусором, так что починять их значило бы придавать им тяжесть, которая, по причине подрывного их основания, только ускорила бы их, и без того неизбежное, падение. И если теперь, разделенные этими стенами, сословия не могут переходить через них, как через ровную мостовую, зато легко могут перескакивать через них там, где они особенно пообвалились или пострадали от проломов. Все это прежде делалось медленно и незаметно, теперь делается быстрее и заметнее, — и близко время, когда все это очень скоро и начисто сделается. Железные дороги пройдут и под стенами и через стены, тунелями и мостами; усилением промышленности и торговли они переплетут интересы людей всех сословий и классов и заставят их вступить между собою в те живые и тесные отношения, которые невольно сглаживают все резкие и ненужные различия»².

Исключительную роль в деле «внутреннего сближения сословий» Белинский отводил молодой русской литературе, той литературе, в лучших представителях которой передовой читатель видел, по формулировке письма к Гоголю, «своих един-

¹ В. И. Ленин «Две тактики социал-демократии в демократической революции» (1905 г.). См. «Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. VIII, стр. 40.

² «Полное собр. соч. В. Г. Белинского», т. X, СПб, 1914, стр. 132—133. Как мемуарное автопризнание звучат далее строки Белинского о людях, группировавшихся в эту пору вокруг него самого: «Образованность равняет людей. И в наше время уже нисколько не редкость встретить дружеский кружок, в котором найдется и знатный барин, и разночинец, и купец, и мещанин, — кружок, члены которого совершенно забыли разделяющие их внешние различия и взаимно уважают друг в друге просто людей. Вот истинное начало образованной общечеловечности, созданное у нас литературою!» (стр. 136).

ственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности». Для Белинского уже в 1846 г. был «неоспорим тот факт», что именно эта литература «служит у нас точкою соединения людей, во всех других отношениях внутренне разъединенных», что, в силу специфических условий русского исторического процесса, именно «литература образовала род общественного мнения» и «произвела нечто в роде особенного класса в обществе, который от обыкновенного среднего сословия отличается тем, что состоит не из купечества и мещанства только, но из людей всех сословий, сблизившихся между собою через образование... Кто из имеющих право на имя человека не пожелает от всей души, чтобы эта общественность росла и увеличивалась не по дням, а по часам, как росли наши сказочные богатыри!»¹.

Эти общественные силы, самый рост которых являлся показателем близости крушения всего крепостного правопорядка, не только питают политический оптимизм Белинского в его полемике с Гоголем, но определяют и тот актив, который по его мысли может и должен взять на себя конкретное разрешение «самых живых, современных национальных вопросов в России».

Расчеты Белинского оправдались очень скоро. Об этом достаточно красноречиво свидетельствовали признания даже его идеологических противников.

Месяца через два после опубликования только что отмеченных строк Белинского редактор «Северной пчелы» Булгарин в своей секретной записке на имя главного начальника III Отделения следующим образом формулировал отношение охранительных кругов к той самой демократической общественности, ростки которой приветствовал Белинский: «Журнал «Отечественные Записки», издаваемый явно, без всякого укрывательства, в духе Коммунизма, Социализма и Пантеизма, произвел в России такое действие, какого никогда не бывало. С одной стороны раздается вопль людей благонамеренных и истинных христиан, которые не постигают, как правительство может терпеть такой журнал; с другой стороны, разорившееся и развратное дворянство безрассудное юношество и огромный класс, ежедневно умножающийся, людей, которым нечего терять и в перевороте есть надежда всё получить—кантонисты, семинаристы, дети бедных чиновников и проч. и проч., почитают Отечественные Записки своим евангелием, а Краевско-

¹ «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. X, стр. 136. Эти «Мысли и заметки о журналах» очень сочувственно цитировал целыми страницами в 1856 году Н. Г. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» («Современник», 1856, № 11. Ср. «Полн. собр. соч. Н. Г. Чернышевского», т. II, М., 1947, стр. 278—283).

го и первого его министра—Белинского (выгнанного московского студента) апостолами. Все направление или *tendance* Отечественных Записок клонится к тому, чтобы возбудить жажду к переворотам и революциям и это проповедуется в каждой книжке»¹.

О том, что политический подтекст писаний Белинского расшифрован был в этом доносе с исключительной точностью, свидетельствовал через десять лет и И. С. Аксаков, отмечавший успех уже не статей, а письма Белинского к Гоголю.

«Много я ездил по России,—писал И. С. Аксаков 9.X.1856 г. отцу.—Имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, которые бы не знали наизусть письма Белинского к Гоголю; в отдаленных краях России только теперь еще проникает это влияние и увеличивает число прозелитов... «Мы Белинскому обязаны своим спасением»,—говорят мне везде молодые, честные люди в провинциях. И в самом деле,—в провинции вы можете видеть два класса людей: с одной стороны, взяточников, чиновников в полном смысле этого слова, жаждущих лент, крестов и чинов, помещиков, презирающих идеологов, привязанных к своему барскому достоинству и крепостному праву, вообще довольно гнусных. Вы отворачиваетесь от них, обращаетесь к другой стороне, где видите людей молодых, честных, возмущающихся злом и гнетом, поборников эмансипации и всякого простора, с идеями гуманными. Если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастьям угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу—ищите таковых в провинции между последователями Белинского»².

Об этих «поборниках эмансипации и всякого простора», воспитанных и сплоченных именно «письмом Белинского к Гоголю», писал и Добролюбов, отмечая в 1859 г. на страницах «Современника»: «Во всех концах России есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку,—и, конечно, это лучшие люди в России»³.

¹ Мих. Лемке. Николаевские жандармы и литература. 1826—1855 гг. Изд. 2-е, СПб, 1909, стр. 303.

² «И. С. Аксаков в его письмах», т. III, М., 1892, стр. 290—291.

³ «Полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова», т. II. Редакция Ю. Г. Оксмана, М. Л., 1935, стр. 470. Откликаясь через сорок лет после Добролюбова на политическую платформу Зальцбруннского письма, Н. К. Михайловский в своей речи в Союзе Писателей о Белинском по случаю пятидесятилетия со дня его смерти, отмечал 10 мая 1898 г.: «Мы, здесь присутствующие, собравшиеся почтить память Белинского, так далеко ушли от

Эти же ростки новой демократической общественности имел в виду В. И. Ленин, характеризуя в работе «Из прошлого рабочей печати в России» «разночинцев», идущих на смену «дворянским революционерам»: «Как декабристы разбудили Герцена, так Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению разночинцев, образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству. Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский»¹.

3.

Мы учли особенности как постановки, так и разрешения в секретной записке А. П. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России» проблем, которые являлись основными для передовой общественности 30-х и 40-х годов. Документ этот, при всей ограниченности горизонтов его составителя, никак нельзя игнорировать, исторически уясняя окружение Белинского, позиции его потенциальных союзников и врагов, его платформу, как реального политика. В этом отношении установочные положения А. П. Заблоцкого-Десятовского не менее важны для исследователя Зальцбруннского письма, чем программные политические формулировки, прокламированные незадолго до полемики Белинского с Гоголем из-за «Выбранных мест из переписки с друзьями» в книге Н. И. Тургенева «Россия и русские».

Книга Тургенева вышла в свет в начале 1847 г. И в мемуарно-исторической и в социально-экономической своих частях она ориентирована была на интернациональный общественно-политический резонанс. Писанная и напечатанная по-французски, переведенная сразу же на английский и немецкий языки, трехтомная монография основоположника русского либерально-дворянского реформизма имела совсем не тот адрес, что письмо Белинского. Это был широко развернутый программный документ, рассчитанный на верхи правящего клас-

крепостных времен и нравов, что склонны, может быть, умалять значение терзаний и протестов благороднейшего из наших предков. Что же, дескать, было и бывшем поросло!.. Не думаю, чтобы поросло бывшем все, на что обрушивался Белинский, хотя бы в том же письме к Гоголю. Достаточно привести хоть следующие строки: «Самые живые, современные, национальные вопросы в России теперь уничтожение крепостного права и отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения тех законов, которые уже есть» (Н. К. Михайловский «Отклики», т. II, СПб, 1904, стр. 329; первоначально в «Рус. Богат.», 1898, № 5).

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XVII, изд. 3-е, стр. 341. Впервые в спец. выпуске журнала «Рабочий» от 22 апреля 1914 г.

са, а не декларация пропагандиста, вызывающего к сердцу и разуму масс.

В России книга Н. И. Тургенева, как работа декабриста и политэмигранта, была строжайше запрещена при самом своем появлении. Однако этот цензурно-полицейский запрет мог только ограничить, но не вовсе парализовать возможности ее распространения¹.

«Дошло до меня сведение, что в недавнем времени проникла в Россию книга, под заглавием *«Les mémoires d'un proscrit»*, сочинение государственного преступника Николая Тургенева—писал шеф жандармов гр. А. Ф. Орлов 15 августа 1847 г. министру внутренних дел Л. А. Перовскому.—По сделанным же мною негласным розысканиям обнаруживается, что сочинение Тургенева ввезено в числе 50 экземпляров, которые все распроданы»².

В числе первых читателей книги Тургенева был, конечно, и Белинский, мимо которого не могла пройти литературная новинка такого значения и интереса, как *«La Russie et les russes»*.

Нас не должно смущать отсутствие самого имени Николая Тургенева в известных нам письменных и печатных высказываниях Белинского. Мы помним, как исключительно осторожен был он в этом отношении, мы знаем, в какой ничтожной части своей дошла до нас и его переписка. Ни в статьях, ни в письмах великого критика читатель не найдет и многих других имен, несравненно более крупных, чем Н. И. Тургенев. Мы имеем в виду имена Радищева, Рылеева, Фурье, Прудона,

¹ Очень характерен сочувственный отклик на книгу Н. И. Тургенева в записках сенатора К. Н. Лебедева, старшего товарища Белинского по московскому университету, окончившего словесное отделение в 1832 году вместе с П. Я. Петровым, В. М. Межевичем и Я. М. Неверовым. Тщательно конспектируя в своем дневнике за 1847 г. третью часть *«La Russie et les Russes»*, К. Н. Лебедев именно в главах, посвященных «будущему России», усматривает «много счастливых сближений». Особенно импонирует передовому бюрократу ступенчатая схема преобразований, их разделение на совместные с самодержавием, как первоочередные, и не столь срочные, имеющие в виду «устройство представительности». Положительно реагирует Лебедев и на выдвигаемые Тургеневым основы крестьянской реформы, со всеми ее вариантами (освобождение «без земли», с «определенными условиями» и «с землею»). Не встречает с его стороны возражений и то, что Тургенев горячо «восстает против телесных наказаний» (*«Рус. Архив»* 1910, кн. 3, стр. 213—214). Не менее характерен отрицательный отклик на книгу Тургенева А. И. Герцена, настаивавшего на неправильности «понимания русских отношений» в труде престарелого декабриста. (*«Полн. собр. соч., А. И. Герцена»*, т. V, II, 1917, стр. 528. Впервые в статье *«La Russie»*, при переводе ее на немецкий язык в сборнике *«Vom andern Ufer.»* 1850 г.).

² *«Русская Старина»* 1900, кн. VIII, стр. 382. В своей бумаге А. Ф. Орлов называет подзаголовок первого тома книги Н. И. Тургенева.

Фейербаха, Энгельса, Маркса. Однако эти вольные и невольные умолчания ни в какой мере не освобождают исследователя от учета в литературной и политической биографии Белинского тех нитей, которые связывают его с традициями Радищева и декабристов, с писаниями Фейербаха, с первыми публикациями Маркса и Энгельса.

В пору дискуссий Белинского с Гоголем из-за «Выбранных мест из переписки с друзьями» трехтомная монография вождя либерально-дворянского фланга декабристов, старейшего представителя русской эмиграции, была последним, т. е. наиболее свежим и авторитетным словом в области политического осмысления стержневых проблем русской крепостнической действительности 40-х годов.

Особенно важен был для Белинского третий том труда Н. И. Тургенева, посвященный «будущему России» («De l'avenir de la Russie») и развертывавший широкую программу социально-политических реформ, необходимых, с точки зрения его автора, для уничтожения той пропасти, которая все более и более отделяла отсталую крепостническую Россию от капиталистической культуры запада¹.

Реформы эти подразделялись Н. И. Тургеневым на первоочередные, осуществляемые в порядке монаршего волеизъявления, по самому существу своему не противоречащие принципам николаевского абсолютизма («Réformes compatibles avec le pouvoir absolu»), и на реформы, так сказать, второй очереди, обеспечивающие превращение абсолютной монархии в монархию представительную. («Etablissement d'un regime constitutionnel représentatif»)².

Как реформу самую неотложную, которая должна предшествовать всем остальным, Н. И. Тургенев выдвигал, конечно, «освобождение рабов» («Emancipation des serfs»). Это «освобождение», гарантировавшее от революционных методов решения крестьянского вопроса, должно было сочетаться, по мысли Тургенева, с разрушением общины, как основного тормоза капиталистической реконструкции сельского хозяйства. Земельные же наделы, отчуждаемые на тех или иных основаниях в пользу крепостных крестьян при выходе их на волю, должны были обеспечить быстрый и безболезненный переход к новым формам быта всей многомиллионной массы мелких произво-

¹ «La Russie et les Russes» par N. Tourgueneff. Tome III De l'avenir de la Russie, Bruxelles, 1847. В библиотеке Белинского сохранился «Опыт теории налогов» Н. И. Тургенева («Лит. Наслед.», т. 55, стр. 501).

² «La Russie et les Russes», t. III, p. 99 — 249. Очень резко на «банальности и общие места» книги Н. И. Тургенева реагировал декабрист Н. А. Бестужев в письмах от 28.VIII.1849 г. и от 16.II.1850 г. к С. Г. Волконскому (Н. А. Бестужев. Статьи и письма. М., 1933, стр. 265—268).

дителей. Полная пролетаризация последних представлялась Тургеневу еще более серьезной угрозой для правящего класса, чем пугачевщина.

Планы ликвидации крепостных отношений неразрывно связывались в книге Тургенева с реорганизацией всего низового административного аппарата и с судебной реформой. Свод основных законов, кодексы гражданский и уголовный, новые мировые суды вместо неограниченной юрисдикции помещиков, отмена телесного наказания во всех его видах («*Les peines corporelles doivent disparaître de la législation russe*») — вот, чего требовал Тургенев от будущего «искренного и просвещенного реформатора на троне»¹, продолжателя исторических традиций Петра Великого.

Политический профиль Н. И. Тургенева, определившийся в его книге, предельно четок и выразителен. С тем же сарказмом, с которым Белинский писал 7 июля 1847 г. Боткину о немецких либералах, любящих «прогресс, но прогресс умеренный, да и в нем более умеренность, чем прогресс»², великий критик должен был реагировать и на компромиссы освободительной программы патриарха русской политической эмиграции. Однако от полемики с ним Белинский предпочел воздержаться. Больше того, определяя в первых же страницах своего письма к Гоголю «самые живые, современные, национальные вопросы в России», Белинский намеренно формулировал их так, чтобы они возможно менее резко противостояли конкретным предложениям Н. И. Тургенева о реформах первой очереди, т. е. тех, которые могли быть осуществлены в ближайшее же время аппаратом даже столь ненавистной Белинскому абсолютной монархии: «Уничтожение крепостного права, отменение телесных наказаний, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть».

Эти осторожные формулировки, столь явно выпадающие из контекста письма, столь резко не соответствующие всем его революционно-демократическим установкам, его аргументации, его пафосу, его материалам, могли означать согласие Белинского на принятие конкретных деловых предложений Н. И. Тургенева лишь в качестве предварительных условий гораздо более широкой освободительной программы. Как предварительные условия, принятые по чисто тактическим соображениям, они и не имели большой принципиальной значимости. Недаром именно эту часть письма Белинского к Гоголю совершенно игнорировал в своих высказываниях о нем В. И. Ленин. Недаром никак не реагировали на нее в свое время Герцен, Сазонов, Бакунин, Некрасов, Добролюбов. Недаром не обмолвился

¹ «*La Russie et les Russes*», t. III, p. 153.

² «*Письма Белинского*», т. III, стр. 243.

о ней ни одним словом никто из петрашевцев, хотя обсуждению письма именно как политического документа посвящен был специальный «пленум» кружка в знаменитую «пятницу» 15 апреля 1849 г., а предварительные читки письма шли в течение двух недель.

Если для современников Белинского некоторые условности тактического порядка в его обращении к Гоголю представлялись наименее значимой частью письма, то уже в следующем поколении революционной интеллигенции эта осторожная форма постановки основных вопросов борьбы с абсолютизмом и крепостничеством воспринималась иногда совершенно неправильно. Так, например, М. А. Антонович, вспоминая о своем приезде осенью 1855 г. из Харькова в Петербург, отмечал, что прежде всего ему и его товарищам по духовной академии «по секрету указали на Зальцбруннское письмо Белинского к Гоголю, как на самую сильную улику, как на страшное «слово и дело» Белинского, за имение и чтение которого виновных предавали строгому суду и подвергали еще более строгим наказаниям. Больших трудов стоило нам раздобыть это страшное и многообещающее для нас письмо. Но вот мы достали и с замиранием сердца прочли это письмо и—были сильно разочарованы и раздосадованы <...>. Да, в этом письме довольно вольного духу и с этой стороны оно предосудительно и недозволительно, но чего-нибудь особенного, а тем паче страшно... мы в нем не нашли»¹.

Молодой М. А. Антонович был уже, конечно, не в состоянии уяснить ни себе, ни своим товарищам особенностей назначения и оформления некоторых страниц «письма к Гоголю», как политического документа. Не понял он и того, что Белинский, в условиях 1847 г., мог сознательно предпочесть «чему-нибудь особенному, а тем паче страшному» оружие из чужого идеологического арсенала, в прямом расчете на то, что политическая фразеология Н. И. Тургенева и А. П. Заблочно-Десятовского для автора «Выбранных мест из переписки с друзьями» будет гораздо доходчивее, чем аргументация революционного демократа.

Опыт истории подтвердил правоту Белинского, а не Антоновича. Характерно, что даже Герцен, формулируя десять лет спустя после письма Белинского к Гоголю ближайшие задачи антикрепостнического фронта, еще очень недалеко отошел в этом отношении от своего славного предшественника. В самом деле, требования Герцена прокламированы были в первом номере «Колокола» в виде трех политических лозун-

¹ М. А. Антонович. Воспоминания по поводу чествования памяти В. Г. Белинского. («Рус. Мысль» 1898 г., № 12, отд. II, с. 6).

гов: «Освобождение слова от цензуры! Освобождение крестьян от помещиков! Освобождение податного состояния от побоев!»¹. |

Отличия платформы «Колокола» в 1857 г. от программы-минимум письма Белинского в 1847 г. сводились к одному только пункту. Белинский требовал не «освобождения слова от цензуры», а «строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть». Но, даже включая в перечень «самых живых, современных, национальных вопросов в России» «строгое выполнение хотя тех законов, которые уже есть», Белинский сам же выдвигал в этом своем письме безоговорочное требование «прав и законов», отвечающих «здравому смыслу и справедливости». Горячо мотивируя эту свою позицию «пробуждением в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе», Белинский нисколько не противоречил себе, допуская функционирование в переходный период, т. е. в процессе подготовки освобождения крестьян, тех законов, «которые уже есть»² и которые явно не противоречат «здравому смыслу и справедливости».

Точно такой же формой использования в общественно-политической и литературной борьбе за крестьянское освобождение тезисов некоторых своих попутчиков из антикрепостнического лагеря явилась для Белинского и печатная декларация надежд, возлагаемых якобы им самим на Николая I, как потенциального продолжателя «великого дела Петра».

«В отношении к внутреннему развитию России,—писал Белинский в первой книге «Современника» 1848 г.,—настоящее царствование, без всякого сомнения, есть самое замечательное после царствования Петра Великого. Только в наше время правительство проникло во все стороны многосложной ма-

¹ «Колокол» от 1 июля 1857 г., № 1, стр. 1. Ср. «Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена», т. VIII, П., 1917, стр. 525.

² Наше толкование противоречивой на первый взгляд формулировки Белинского об отношении его к «тем законам, которые уже есть», позволяет обойтись без произвольной модернизации политических тезисов Заыбрунского письма, которая характерна даже для лучших из работ о Белинском. Так, например, М. Т. Иовчук строки Белинского о «строгом выполнении хотя тех законов, которые уже есть» заменяет в своем пересказе «ликвидацией полицейско-чиновничьего произвола путем установления новых законов и строгого выполнения их» («Избранные философские сочинения В. Г. Белинского». Под общей редакцией и со вступительной статьей М. Т. Иовчука. М., 1941, стр. XXV).

Очень существенно для правильного понимания формулировки Белинского одно из показаний М. В. Петрашевского от 20.VI.1849 г.: «Полное собрание законов составляется, и по успокоении его императорского величества от тревог военных издастся Свод Законов. Закон есть и гласен—нужно только его соблюдение, чтоб справедливость вполне внедрилась в нашу общественную жизнь». («Дело петрашевцев», т. I, М.-Л., 1937, стр. 125).

шины своего огромного государства, во все убежища и изгибы ее, прежде ускользавшие от его внимания, и сделало ощутительным благотворное влияние свое во всех стихиях народной жизни. Общественное благоустройство, не в одном административном, но и в нравственном смысле этого слова, составляет предмет его особенных пожеланий. Старые основы общественной жизни, которые уже заржавели от времени и могли бы только затормозить колеса великой государственной машины и остановить ее движение вперед, мудро отстраняются мало по малу, без всякого сотрясения в общественном организме. Обращено особое внимание на положение и быт народа и сделаны попытки, обещающие прекрасные результаты, на его, так сказать, воспитание. Вот истинное продолжение великого дела Петра»¹.

Буржуазно-народнические фальсификаторы биографии Белинского пытались не раз из сочетания этих формулировок с искусственно выхваченными из контекста лозунгами Зальцбруннского письма сделать вывод о сдаче великим критиком в 1847—1848 гг. некоторых из его революционно-демократических позиций, о его готовности на более или менее далеко идущие компромиссы.

Именно этих вольных и невольных клеветников явно имел в виду Белинский, когда объяснял К. Д. Кавелину некоторые особенности своих писаний, обусловленные самой обстановкой его работы в легальной печати, при настороженном внимании к каждому его слову всех органов государственной охраны,—от III Отделения до СПб Цензурного Комитета и редакции «Северной Пчелы» включительно: «Вы, юный друг мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, для **кого** и для **чего** она писана—разъяснял Белинский 22.XI.1847 г. свой «Ответ Москвитянину» — дело в том, что писана она не для вас, а... в защиту от фискальных обвинений. Поэтому, я счел за нужное сделать уступки, на которые внутренно и не думал соглашаться и кое-что изложил в таком виде, который мало имеет общего с моими убеждениями касательно этого предмета. Вы, юный друг мой, хороший ученый, но плохой политик»².

¹ Рецензия на «Сельское чтение», кн. IV («Современник» 1848, кн. I, отд. III, стр. 51—52. Ср. «Полное собр. соч. В. Г. Белинского», т. XI, стр. 160).

² «Письма Белинского», т. III, стр. 299. Такой же смысл имело известное автопризнание Белинского в письме к В. П. Боткину от 28.II.1847 г., в котором он объяснял дефекты своей статьи в «Современнике» о «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Природа осудила меня лаять собакою и быть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лиси» («Письма Белинского», т. III, стр. 184).

Эти строки, написанные за месяц до рецензии на «Сельское чтение» и пять месяцев спустя после Зальцбруннской полемики с Гоголем объясняют до конца, чем мотивировалось наличие в некоторых высказываниях Белинского тех кажущихся «уступок», на которые «внутренно» он и не думал соглашаться.

Для письма Белинского к Гоголю, как программного документа, особенно характерно отсутствие каких бы то ни было надежд на Николая I, как погенциального реформатора. А между тем, именно эти иллюзии необычайно показательны не только для официозной легенды о благих намерениях царя, но и для политических мыслителей, очень далеких от подозрений в личной приверженности к коронованному жандарму. В этом отношении Н. И. Тургенев не многим отличался от Михаила Бакунина. В самом деле, перспективы освободительного движения в России, намечаемые в известном бакунинском «Письме в редакцию» парижской демократической газеты «La Réforme» от 27.I.1845 г., одинаково оптимистичны в обоих своих вариантах:

«Русский народ идет вперед, несмотря на всю злую волю правительства — резюмировал Бакунин. — Разрозненные, но очень серьезные возмущения крестьян против своих господ, возмущения, которые учащаются в угрожающей форме, слишком подтверждают это. Не очень далек, может быть, момент, когда все они соединятся в одну великую революцию; и если правительство не поспешит освободить народ, будет много пролито крови. Говорят, что император Николай думает об этом очень серьезно. Дай-то бог! Потому, что, если действительно он произведет освобождение крестьян искренним и широким образом, то это будет настоящее благое дело, которое заставит простить ему многое»¹.

Письмо Бакунина было так же хорошо известно Белинскому, как и книга Тургенева, но импонировало ему еще в меньшей степени.

Иронически констатируя «робкие и бесплодные полумеры

¹ «Письмо к редактору» газеты «La Réforme», опубликованное Бакуниным в номере от 27.I.1845 г. и перепечатанное в органе польской эмиграции «Белый Орел» от 20.II.1845 г., дано было в переводе на русский язык в книге А. Корнилова «Годы странствий Михаила Бакунина». Л., 1925, стр. 299—302. Это письмо стало известно в кружке Белинского очень скоро, ибо в дневнике Герцена от 2 марта 1845 г. уже отмечено, в связи с «большим письмом» из Берлина (от Сатина и Огарева) и «письмами из Петербурга» (от Белинского и от Кетчера?) получение «статьи Бакунина в «La Réforme»: «Вот язык свободного человека,—он дик нам, мы не привыкли к нему. Нас удивляет свободная речь русского, как удивляет свет сидевшего в темной конуре» («Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена», т. III, стр. 449).

в пользу белых негров», характеризующие реформаторские потуги правительства, которое «хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых», Белинский требовал от Николая I реформаторского размаха в стиле и масштабах работы Петра Великого, но на возможность успеха крестьянской революции никаких надежд, в противоположность Бакунину, в данных условиях, не питал. В этом отношении Белинский был гораздо более и зрел и трезв. Он одинаково не доверял ни реформаторским потенциям прогрессивной прослойки правящего класса (отсюда искони присущее ему скептическое отношение ко всем видам и формам дворянского либерализма, не исключая и декабристского), ни расчетам на стихийные силы революционной самодеятельности поработенной крестьянской массы.

«Люди, которые презирают народ, видя в нем только невежественную и грубую толпу, которую надо держать постоянно в работе и голоде, такие люди—писал Белинский в первой книге «Современника» 1848 г.—теперь не стоят возражений: это или глупцы, или негодяи, или то и другое вместе. Люди, которые смотрят на народ человеческое, но думают, что, по причине его невежества и необразованности, он не заслуживает изучения, и что вовсе нечему учиться у него, такие люди, конечно, ошибаются, и с ними мы готовы всегда спорить. Но еще больше их ошибаются те, которые думают, что народ нисколько не нуждается в уроках образованных классов, и что он может от них только портиться нравственно. Нет, господа мистические философы, нуждается, да еще как! Народ—вечно ребенок, всегда несовершеннолетен. Бывают у него минуты великой силы и великой мудрости в действии, но это минуты увлечения, энтузиазма. Но и в эти редкие минуты он добр и жесток, великодушен и мстителен, человек и зверь. Никакая личность не сравнится с ним, в эти минуты, ни в способности ни в добре, ни в зле, ни в гениальности, ни в ограниченности. Эта сила природная, естественная, непосредственная, великая и ничтожная, благородная и низкая, мудрая и слепая в ее торжественных проявлениях. Это—море, величественное и в тишине и в буре, но никогда не зависящее от самого себя, никогда не управляющее само собою»¹.

¹ Рецензия на «Сельское чтение», кн. IV. В этой же своей статье Белинский утверждал: «Личность вне народа есть призрак, но и народ вне личности есть тоже призрак. Одно обуславливается другим. Народ—почва, хранящая жизненные соки всякого развития; личность—цвет и плод этой почвы. Развитие всегда и везде совершалось через личности» («Современник» 1848, кн. I, отд. III, стр. 54—55. Ср. «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XI, стр. 162—163).

Эти сомнения в перспективах успеха именно крестьянской революции в русских условиях кануна 1848 г., обострившие сразу же после Зальцбруннского письма известную парижскую дискуссию в квартире Герцена (с участием Белинского, Бакунина, Сазонова и Анненкова) о политической функции буржуазии на разных исторических этапах, получили отражение и в предсмертном письме Белинского к П. В. Анненкову от 15. II. 1848 г.: «Когда я при моем верующем друге—Белинский здесь имел в виду Бакунина—сказал, что для России нужен новый Петр Великий, он напал на мою мысль, как на ересь, говоря, что сам народ должен все для себя сделать. Что за наивная аркадская мысль!.. Где и когда народ освободил себя!»¹.

Полемика Белинского с Бакуниным проходила как раз в ту пору, когда Ф. Энгельс разоблачал на страницах «Deutsche Brüsseler Zeitung» авантюристическую тактику идеологов немецкой «аграрно-социалистически-черно-красно-желтой республики». Протестуя против их провокационных призывов к аграрному террору, Ф. Энгельс в статье «Коммунисты и К. Гейнцен» писал: «К кому обращается г. Гейнцен со своим кровавым призывом? Прежде всего к мелким крестьянам, к тому классу, который в наше время менее всего способен проявить революционную инициативу. На протяжении последних шестисот лет все прогрессивные движения были настолько связаны с городом, что самостоятельные демократические движения сельского населения (Уот Тайлер, Кэд, Жакерия, крестьянские войны), во-первых, всякий раз носили реакционный характер, а, во-вторых, всякий раз подавлялись»².

Не отрицая наличия «революционных элементов в крестьянстве», В. И. Ленин в 1899 г., т. е. полвека спустя после Белинского, предостерегал в «Проекте программы нашей пар-

¹ «Письма Белинского», т. III, стр. 339—340. Бакунин («верующий друг») хорошо знал свое прозвище, ибо в письме от 20.XII.1847 г. к П. В. Анненкову сам отмечал: «Вы—скептик, я—верующий, у каждого из нас свое дело, но в сущности мы всегда будем друг с другом симпатизировать, потому что, несмотря на все различия, дело наше одно» («Сочинения и письма М. А. Бакунина», т. III, стр. 284).

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. V, стр. 185. Впервые в «Deutsche-Brüsseler Zeitung» 1847 г., 3 октября, № 79. Об этом Карле Гейнцене, требовавшем «двух миллионов голов» для того, чтобы «дело революции пошло, как по маслу», см. «Былое и Думы», ч. V, гл. XXXVIII.

Из «Былого и Дум» ироническое упоминание о тезисах Гейнцена перекочевало в «Бесы» и в «Дневник писателя» Достоевского, явившись основой клеветнической формулы о «ста миллионах голов», которые якобы потребованы были «на одном из последних революционных конгрессов» для «водворения здравого рассудка в Европе». («Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского», т. VII, М.—Л., 1927, стр. 79 и 332).

тии» против «преувеличения силы этих элементов»: «Мы нисколько не преувеличиваем силы этих элементов, не забываем политической неразвитости и темноты крестьян, нисколько не стираем разницы между «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным», и революционной борьбой, нисколько не забываем того, какая масса средств у правительства политически надувать и развращать крестьян. Но из всего этого следует только то, что безрассудно было бы выставлять носителем революционного движения крестьянство, что безумна была бы партия, которая обусловила бы революционность своего движения революционным настроением крестьянства»¹.

Прямое отношение к вопросу о возможности опоры Белинского на «революционный народ» имели и знаменитые строки В. И. Ленина об идеологических позициях молодого Герцена: «Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах»².

И. В. Сталин, характеризуя в лекциях «Об основах ленинизма» исторические предпосылки союза рабочих и крестьян в буржуазно-демократической революции, противопоставлял победоносный русский вариант разрешения этой проблемы общеизвестным путям «буржуазных революций Запада». «Там гегемония в революции принадлежала не пролетариату, который не представлял и не мог представлять по своей слабости самостоятельную политическую силу, а либеральной буржуазии. Там освобождение от крепостнических порядков получило крестьянство не из рук пролетариата, который был малочислен и не организован, а из рук буржуазии<...>. Там крестьянство представляло резерв буржуазии»³.

Именно этот опыт «буржуазных революций Запада» (другого он не знал) и имел в виду Белинский, пессимистически формулируя в борьбе с Бакуниным свой вопрос: «где и когда народ освободил себя?»

4.

Записка А. П. Заблоцкого-Десятовского, на шесть лет предшествовавшая Зальцбруннскому письму, с необычайной для документов официального назначения остротой еще в

¹ Соч. В. И. Ленина, т. II, изд. 3-е, стр. 520. Строка о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном», является цитатой из «Капитанской дочки» Пушкина.

² Соч. В. И. Ленина, т. XV, изд. 3-е, стр. 468.

³ И. Сталин «Вопросы ленинизма», изд. IX, М., 1932, стр. 38. В беседе с Эмилем Людвигом И. В. Сталин подчеркивает: «Крестьянские восстания могут приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями, и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями» (И. В. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. Соч., т. 13, стр. 112—113).

1841 г. определяла основной тонус настроений помещичьего дворянства, как «чувство страха восстания крестьян».

«Основной закон революции, подтвержденный всеми революциями и в частности всеми тремя русскими революциями в XX веке,—писал Ленин в книге «Детская болезнь левизны в коммунизме»—состоит вот в чем: для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по старому. Лишь тогда, когда «низы» не хотят старого и когда «верхи» не могут по старому, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса»¹.

Белинский, апеллируя в своем «письме» к фактам обострившейся классовой борьбы в деревне, к данным официальной статистики о том, что «делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых», не сомневается в том, что именно в силу этой информации вопрос о скорейшем «уничтожении крепостного права» для самого правительства уже давно перестал быть дискуссионным.

Насколько Белинский и в этом отношении был хорошо осведомлен, свидетельствует записка министра внутренних дел Л. А. Перовского «Об уничтожении крепостного состояния в России», представленная в ноябре 1845 г. императору Николаю I. Эта записка, предшествуя на полтора года письму Белинского, определяла и мотивировала позиции некоторых из ведущих деятелей государственного аппарата по всем тем вопросам, которые автор письма к Гоголю считал «самыми живыми, современными, национальными вопросами в России».

«Вопрос об уничтожении крепостного состояния—писал Л. А. Перовский—не только обращает на себя внимание высшего правительства, но сделался даже предметом откровенной беседы образованных сословий и проник, наконец, темными и превратными слухами, в низшие состояния. Правительство не имеет еще, повидимому, никакого положительного плана действий».

«Не подлежит сомнению, что освобождение крестьян или уничтожение крепостного права крайне желательно. Но прежде всего должно определить значение свободы нынешнего крепостного состояния. Свобода сия, конечно, должна со-

¹ «Детская болезнь левизны в коммунизме» (1920 г.). Ср. «Сочин. В. И. Ленин», изд. 3-е, том XXV, стр. 223.

стоять в сравнении прав и обязанностей помещичьих крестьян с правами и обязанностями крестьян государственных».

«Не так, однако же, смотрит на это простой народ, который казенных крестьян не считает свободными и видит свободу или вольность в одном совершенном безначалии и неповиновении: понятие бессмысленное и страшное. Один почерк пера государя императора может обратить крепостных людей в вольных; но никакое предвидение не в состоянии предсказать последствий такого внезапного переворота, и никакие силы не будут достаточны для водворения порядка и безопасности среди всеобщего безначалия».

Далее, развивая тезис о том, что «ни без земли, ни даже с землею крестьяне безусловно уволены быть не могут», и что «с одной стороны, крестьянин должен быть, до известной степени, привязан к земле самыми узаконениями; а с другой, закон должен предоставить помещику известную степень полицейской власти», Л. А. Перовский «первым шагом» в области мероприятий, имеющих целью постепенную ликвидацию крепостных отношений, считал: 1. Приведение в возможное устройство местных управлений и полиции, в особенности земской. 2. Устройство и уравнивание повинностей денежных и натуральных. 3. Обеспечение народного продовольствия.

«Затем следует обратиться к главнейшему основанию всякого свободного состояния: определению прав, обязанностей и повинностей. Достигнуть сего можно только посредством инвентарей, или росписей работам и отношениям. Когда же инвентари определяют до некоторой степени взаимные отношения крестьянина и владельца, тогда должно приступить (не в виде новых и важных узаконений, а в виде добавочных и объяснительных правил) к разным ограничениям произвола помещика и к дарованию известных прав крестьянину»¹.

Программа Л. А. Перовского совершенно ясна и без детального перечня тех личных и имущественных «прав» русского крестьянина, постепенное расширение которых он стоял на неопределенно долгое время. Как выразитель настроений революционной демократии, Белинский именно планы Перовского имел прежде всего в виду, когда отмечал в своем письме к Гоголю «робкие и бесплодные полумеры в пользу белых негров».

Записка Л. А. Перовского датируется концом 1845 г., а ровно через два года шеф жандармов и главный начальник III Отделения граф А. Ф. Орлов в своем очередном отчете о положении страны и о действиях государственного охранитель-

¹ «Деятельный век», кн. II, М., 1872, стр. 185—189. Ср. В. И. Семевский «Крестьянский вопрос в России», СПб, 1888, т. II, стр. 135—146.

ного аппарата обращал внимание Николая I на то, что в течение 1847 г. «главным предметом рассуждений во всех обществах была непонятная уверенность, что вашему величеству непременно угодно дать полную свободу крепостным людям. Эта уверенность поселила во всех сословиях опасение, что от внезапного изменения существующего порядка вещей произойдет неповиновение, смуты и даже самое буйство между крестьянами». Свой доклад шеф жандармов заключал очень пессимистической сентенцией: «При всех неусыпных моих наблюдениях, я был не в состоянии обнаружить истинных виновников распространения подобных слухов, не могу даже определить, есть ли это последствие неблагонамеренности или только необдуманного рассуждения о действиях правительства, но вижу, что разглашатели внушили и поддерживают тревогу общественную, которая, к сожалению, производит немолкаемое в умах волнение»¹.

Самый факт внимательнейшего учета Белинским этих настроений не подлежит никакому сомнению: «Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение»,—писал Белинский в начале декабря 1847 г. П. В. Анненкову,—все, что делается в Питере, доходит до их разумения в смешных и уродливых формах, но в сущности очень верно. Они убеждены, что царь хочет, а господа не хотят. Обманутое ожидание ведет к решениям отчаянным. Перовский думал предупредить необходимость освобождения крестьян мудрыми распоряжениями, которые юридически определили бы патриархальные, по их сущности, отношения господ к крестьянам, и обуздали бы произвол первых, не ослабив повиновения вторых: мысль, достойная человека благонамеренного, но ограниченного»².

5.

Письмо Белинского к Гоголю являлось вызовом не только всем видам «благонамеренности» и «ограниченности» социально-политического реформизма. Оно расшатывало и подрывало самые корни официально господствовавшей идеологии, внедряя свое понимание и «самодержавия», и «православия», и «народности», как символов террористического режима «обскурантизма и мракобесия».

В этом отношении письмо Белинского имело только один

¹ «Крестьянское движение 1827 — 1869 гг.». Вып. I, М., 1931, стр. 79—80.

² «Письма Белинского», т. III, стр. 317.

прецедент, равнозначный ему по своему социально-политическому звучанию. Это было «Путешествие из Петербурга в Москву», отразившее с такою же силою, как и письмо Белинского к Гоголю, но еще за полвека до него, протест против крепостнического государства, против абсолютизма, как органа дворянско-помещичьей диктатуры, против всей чужеродной культуры верхов правящего класса. Вопросы, которые в 1790 г. волновали Радищева, продолжали оставаться «самыми живыми, современными национальными вопросами» и в условиях 1847 г. Радищев был единственным писателем, единственным деятелем русской демократической культуры, на авторитетные свидетельства которого Белинский мог опереться, рисуя «ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми», страны, где «люди сами себя называют не именами, но кличками», страны, где «нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей».

Николаевская Россия, «империя фасадов», как иронически характеризовал ее маркиз Кюстин в своем памфлете «Россия в 1839 г.», еще очень недалеко ушла в этом отношении от России Екатерининской. Несмотря на то, что процесс разложения крепостного хозяйства с каждым десятилетием определялся все более и более явственно, правовые нормы, регулировавшие жизнь помещичьего государства, оставались неизменными. Не претерпели существенных изменений и формы борьбы «великих отчинников» (как называл Радищев крупных земельных собственников) со всякими попытками изменения крепостного строя как «снизу», так и «сверху». Естественно поэтому, что Белинский в 1847 г. с таким же основанием, как и Радищев в 1790 г., не возлагает никаких надежд на возможность освободительного почина, идущего от самих помещиков,—и так же, как и автор «Путешествия из Петербурга в Москву», трезво учитывает политические перспективы падения крепостного права «от самой тяжести порабощения», т. е. в результате крестьянской революции.

«Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние,—утверждал Радищев.—Прорвав оплот единожды, ничто в разлитии его противиться ему не возможно. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет и се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они

будут во мщении своем... Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно»¹.

Этот диагноз Радищева полностью сохранял свою силу и в пору полемики Белинского с Гоголем. Недаром Белинский напоминал автору «Выбранных мест из переписки с друзьями» о том, «что делают помещики со своими крестьянами, и сколько последние ежегодно режут первых». Недаром же об этом Белинский писал в начале декабря 1847 г. и П. В. Анненкову, полагая, что в случае задержки крестьянского освобождения «сверху», вопрос этот «решится сам собою, другим образом, в 1000 раз более неприятным для русского дворянства»². И для Белинского, и для Радищева крестьянская проблема являлась стержневой проблемой русского исторического процесса. Разрешая ее, в основном, с одних и тех же идеологических позиций, «Путешествие из Петербурга в Москву» и «Письмо Белинского к Гоголю» самым пафосом своего отрицания всех устоев крепостнического государства и своей верой в русский народ и его славное будущее оказываются связанными между собою гораздо теснее, чем с какими бы то ни было другими памятниками общественной мысли первой половины XIX столетия³.

Традиции Радищева позволили Белинскому правильно реагировать не только на «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, но и на «Философическое письмо» Чаадаева.

«Философическое письмо» опубликовано было в «Телескопе» во время отсутствия Белинского, который с августа до середины ноября 1836 г. гостил в Премухине у Бакуниных. Тем не менее письмо это, видимо, ему было известно до своего опубликования. А самый факт его появления в «Телескопе» послужил основанием для привлечения Белинского к секретному

¹ «Путешествие из Петербурга в Москву». В Санктпетербурге. 1790 г., глава «Хотиллов», стр. 260—262.

² «Письма Белинского», т. III, стр. 316.

³ Точки соприкосновения Белинского и Радищева в особенностях их подхода к крестьянской проблеме настолько определены, что мы никак не можем согласиться с той формулировкой взаимоотношений Белинского и Радищева, которая получила выражение в книге В. Н. Орлова «Радищев и русская литература». Так, отмечая в самой общей форме, что в мировоззрении Белинского «нашла продолжение и дальнейшее углубленное развитие давняя традиция русской освободительной мысли, восходящая к Радищеву», В. Н. Орлов полагает, что о более конкретных связях Белинского с Радищевым говорить нет оснований, ибо «Белинский жил и писал в совершенно иную эпоху общественно-исторического развития России, в окружении иных социальных сил, в иной идеологической атмосфере» («Радищев и русская литература», М., 1949 г., стр. 99—100).

дознанию о Чаадаеве и Надеждине, производившемуся в III Отделении под личным наблюдением самого Николая I¹.

«Напечатание чаадаевского письма было одним из самых важных событий—отмечал Герцен — оно явилось вызовом, признаком пробуждения; оно «проломило лед» после 14-го декабря. Появился, наконец, человек с душою, переполненною горечью; он нашел страшные слова, чтобы сказать с погребальным красноречием, с убийственным спокойствием все, что накопилось за десять лет горького в душе образованного русского... Этот мрачный голос слышался только для того, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собою лишь «пробел в человеческом разумении», лишь поучительный пример для Европы»².

Мы имеем все основания утверждать, что Белинский оценил этот документ гораздо правильнее, чем Герцен.

Философия истории и общественно-политический пессимизм писаний Чаадаева были органически чужды взглядам на русский исторический процесс, развиваемым Белинским. Ничего providенциального не усматривал он в том, что «Россия никогда не жила по-человечески». Больше того, он уже твердо знал, какие средства нужны для того, чтобы его родина возможно скорее могла воспрянуть от своего «азиатического полусна» и не сомневался в «огромности исторических судеб» великого русского народа. Явно имея в виду преодоление в сознании передовой демократической общественности чаадаевской схемы русского исторического процесса, Белинский в своем «Взгляде на русскую литературу 1846 г.», т. е. за несколько месяцев до письма к Гоголю, отмечал, что «один из величайших умственных успехов нашего времени в том и состоит, что мы, наконец, поняли, что у России была своя история, несколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что ее должно изучать и о ней должно су-

¹ М. К. Лемке. «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.», изд. 2-е. СПб, 1909, стр. 416—422. О воздействии «Философических писем» Чаадаева на идеологическую эволюцию Белинского в 1836—1837 гг., см. интересные соображения в книге М. Я. Полякова «Белинский в Москве», М., 1948, стр. 248—263.

² «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», Paris, 1851 г. (Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена, т. VI, стр. 371). Еще более ярко впечатления от «Философического письма» отражены были в «Былом и Думах». «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утере, или о том, что его не будет—все равно надобно было проснуться... Письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горе от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление».

дить на основании ее же самой, а не на основании историй, ничего не имеющих с ней общего, европейских народов».

«Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении—развивал Белинский здесь же эти положения.—Из всех славянских племен только мы сложились в крепкое и могучее государство, и как до Петра Великого, так и после него, до настоящей минуты, выдержали с честью не одно суровое испытание судьбы, не раз были на краю гибели, и всегда успевали спастись от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль, но какое это слово, какая мысль,—об этом пока еще рано нам хлопотать. Наши внуки или правнуки узнают это без всяких усилий напряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будет сказана ими»¹.

Чутье «гениального социолога» и несокрушимый политический оптимизм революционного демократа позволили Белинскому именно в Зальцбрунском письме прокламировать выход из того тупика, в котором оказался не только Гоголь, но и автор «Философических писем».

Для воинствующего материализма Белинского неприемлем был и христианский пиетизм Чаадаева. Его теократическим идеалам великий критик противопоставлял свою характеристику церкви, как «поборницы негавенства, врага и гонительницы братства между людьми». Но даже борясь с Чаадаевым, Белинский очень тонко использовал в своей анти-тезе православного и католического духовенства социально-политические мотивировки первого «философического письма», не напечатанного, но бывшего в распоряжении редакции «Телескопа» и широко распространенного в Москве: «По признанию даже самых упорных скептиков—писал Чаадаев—уничтожением крестничества в Европе мы обязаны христианству. Почему же христианство не имело таких же последствий у нас? Пусть православная церковь объяснит это явление. Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой»².

¹ «Современник», 1847, № 1, отд. III, стр. 15—16. Ср. «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. 10, стр. 401.

² «Литературное Наследство», кн. 22—24, М., 1935, стр. 23. Чаадаев в этом отношении стоял на позициях, прямо противоположных Пушкину, который еще в первом своем историческом трактате о Екатерине II утверждал, что в «России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических». Однако самый факт

В специальной литературе о Белинском не обращалось до сих пор надлежащего внимания на то, что в письме к Гоголю получили выход некие-то отвлеченные тенденции антирелигиозного проповедничества, а популяризация именно тех начал, оформление которых в определенную атеистическую догму неразрывно было связано с усвоением Белинским знаменитых тезисов К. Маркса о религии, как о «душе бездушного мира», о религии, как «опиуме народа».

Самый факт работы Белинского над статьей К. Маркса «К критике Гегелевской философии права» давно известен. В письме к Герцену от 26.I. 1845 г. «неистовый Виссарион» даже пытался как будто бы оправдаться в этом своем увлечении: «Кетчер писал тебе о Парижском Ярбухере, и что будто я от него воскрес и переродился. Вздор! Я не такой человек, которого тетрадка может удовлетворить. Два дня я от нее был бодр и весел,—и все тут. Истину я взял себе,—и в словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие четыре. Все это так, но ведь я попрежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и как я думаю. А чорт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать»¹.

Истина, которую Белинский из статьи К. Маркса «взял себе», сводилась к известным формулировкам: «Борьба против религии есть косвенно борьба против **того мира**, духовным ароматом которого является религия. Религия это вздох угнетенной твари, душа бессердечного мира, дух бездушного безвременья. Она—опиум народа... Упразднение религии, как **призрачного счастья народа**, есть требование его **действительного счастья**»².

Поэтому в словах «бог» и «религия» Белинский и увидел «тьму, мрак, цепи и кнут». Поэтому и «православная цер-

«равнодушная нашего народа к отечественной религии» и его «презрение к попам» подмечен был Пушкиным в 1822 г. с такою же остротой, как и Белинским четверть века спустя: «Напрасно почитают русских суеверными: может быть нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек на счет всего церковного» («Полн. собр. соч. Пушкина», Акад. наук СССР, т. XI, 1949, стр. 17). Этот рукописный трактат Пушкина, отрывки из которого впервые были опубликованы только в 1859 г., мог быть известен Белинскому только по слухам.

¹ Письма Белинского, т. III, стр. 87. Толкование этих строк как совершенно конкретного отклика на статью К. Маркса «О критике гегелевской философии права» в «Deutsch-Französische Jahrbücher herausgegeben von Arnold Ruge und Karl Marx», Paris, 1844, дано было в статье В. Шульгина «О знакомстве Белинского с работами Маркса и Энгельса» («Историк-марксист», 1940, № 7, стр. 83—84).

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, М., 1938, стр. 385. В подлиннике выделено курсивом.

ковь», как «опора кнута и деспотизма» стала объектом его яростной атаки, лишь только он в письме к Гоголю получил возможность сказать о ней «все, что он думает и как он думает».

Как «предшественник русской социал-демократии»¹, Белинский резко определился именно в этих страницах Зальцбруннского письма. Недаром, когда его письмо к Гоголю стало в условиях первой русской революции достоянием массовой литературы, именно в антицерковной проповеди Белинского, в его понимании христианства, в его свидетельствах о религиозном индифферентизме крестьянских масс, идеологи контрреволюционного либерализма признали «классическое выражение интеллигентского настроения» и именно с них на страницах «Вех» начали свою бешеную борьбу с традициями «неистового Виссариона».

6.

Массовое распространение письма Белинского к Гоголю начинается лишь после смерти великого критика, и притом не в Петербурге, а в Москве.

Самым ранним из установленных до сих пор свидетельств о том, что Зальцбруннское письмо перестало уже быть тайной в России, является замечание Аполлона Григорьева в одном из его обращений к Гоголю:

«Напомню вам о покойном Белинском и его письмах к вам (не печатных) — писал он во второй половине октября 1848 г.—Этот человек понимал, хотя односторонне, но глубоко, ваше значение в литературе, любил вас с детским обожанием... Негодование, злость и грусть, которые дышат в его письме к вам, проистекали не из мутного источника... Я не сочувствовал ему никогда, но не осмелюсь вменить ему в вину его неистовых выходов в письме к вам, на которые сами вы, сколько я знаю, отвечали словом мира, любви и смирения»².

Письмо А. А. Григорьева послано было из Москвы. Самый характер упоминаний в нем о переписке Белинского с Гоголем не оставляет никаких сомнений в том, что А. Григорьев хорошо уже знал документ, на который так свободно ссылался. Его связь с К. Д. Кавелиным и с семьей Коршей определяет и тот круг московских друзей Белинского, в котором в эту пору циркулировало Зальцбруннское письмо.

¹ Формула В. И. Ленина, данная в статье «Что делать?» в 1902 г. («Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. IV, стр. 381).

² А. А. Григорьев. Материалы для биографии. Под ред. Влад. Княжнина, П., 1917, стр. 110—111.

Из этого совсем узкого круга оно вышло не раньше зимы 1848—1849 гг.¹ Но уже весной 1849 г. радиус действия письма Белинского был так широк, что именно с него начинал свой отчет о впечатлениях от Москвы петрашевец А. Н. Плещеев: «Рукописная литература в Москве в большом ходу—писал он 26 марта 1849 г. С. Ф. Дурову.—Теперь все восхищаются письмом Белинского к Гоголю, пьеской Искандера «Перед грозой» и комедией Тургенева «Нахлебник». Все это вы, вероятно, будете читать»².

Характерно, что когда Ф. М. Достоевский получил из Москвы от А. Н. Плещеева список Зальцбруннского письма, этот документ явился не только для получателя, но и для всего связанного с ним круга молодых петербургских литераторов и ученых, т. е. для самой верхушки петербургской интеллигенции, неожиданной и сенсационной новинкой.

Новостью явилось это «письмо» и для органов государственной охраны³. Руководители III Отделением и Министерства Внутренних Дел осведомлены были о письме лишь после оглашения его 15 апреля 1849 г. на очередной «пятнице» у М. В. Петрашевского. Это было уже не первое чтение и обсуждение этого документа.

Как свидетельствуют признания и очные ставки патрашевцев, переписка Белинского с Гоголем получена была в Петербурге в копии Плещеева в самом конце марта 1849 г. Ф. М. Достоевский тотчас же познакомил с этим материалом своих ближайших друзей—Пальма и Дурова, а вечером, в квартире Дурова, сделал запретную переписку предметом обсуждения более широкого круга своих знакомцев и почитателей. Эффект этих чтений и обсуждений был так велик, что,

¹ Самый ранний из дошедших до нас списков письма Белинского к Гоголю (список, сохранившийся в архиве декабриста Е. П. Оболенского в рукописном отделении Государственного Исторического Музея в Москве) имеет дату: 19 декабря 1848 г.

² «Полярная Звезда» на 1862 г., кн. VII, вып. I, стр. 66—71.

³ Как историческая фальсификация, противоречащая буквально всем документальным материалам о времени распространения письма Белинского к Гоголю и об обстоятельствах обнаружения его списков, должна быть отвергнута претенциозная попытка Иванова-Разумника следующим образом «оживить» последнюю страницу политической биографии великого критика: «А над головой его между тем собирались тучи: правительство начало узнавать о знаменитом письме Белинского к Гоголю, которое уже расходясь по рукам в списках» («Книга о Белинском», П., 1923, стр. 89). Эти «троки» явно восходили к фантастическим измышлениям А. Я. Панаевой, которая в своих воспоминаниях передает не только о распространении списков письма Белинского при жизни великого критика, но и о самом написании его не в Зальцбрунне, а в Петербурге (А. Я. Панаева-Головачева. Воспоминания. Вступ. статья, ред. текста и комментарии К. Чуковского. М., 1948 г., стр. 189).

по просьбе М. В. Петрашевского, Достоевский выступил с чтением письма Белинского на очередном общем собрании всех их единомышленников.

«В собрании 15 апреля Достоевский читал переписку Гоголя с Белинским и в особенности письмо Белинского к Гоголю—отмечал в своем отчете секретный полицейский агент Антонелли, регулярно информировавший министерство внутренних дел о всем том, что происходило на «пятницах» Петрашевского.—В этом письме Белинский, разбирая положение России и народа, сперва говорил о православной религии в неприличных и дерзких выражениях, а потом о судопроизводстве, законах и властях. Письмо это вызвало множество восторженных одобрений общества, в особенности у Баласоглу и Ястржембского, преимущественно там, где Белинский говорит, что у русского народа нет религии. Положено было распустить это письмо в нескольких экземплярах»¹.

Начальная редакция донесения Антонелли, зафиксированная в «совершенно секретной» записи И. П. Липранди от 17 апреля 1849 г. за № 31, дает еще более яркое представление о том, как бурно реагировала вся аудитория на оглашение Достоевским письма Белинского к Гоголю: «Оно произвело общий восторг. Ястржембский, при всех местах его поражающих, вскрикивал: отто так! отто так! Чириков, хотя не говорил ни слова, но все улыбался и что-то про себя ворчал. Баласоглу приходил в исступление и, одним словом, все общество было как бы наэлектризовано»².

Рассказ Антонелли, подтверждаемый именно в этой части показаниями самих петрашевцев в военно-судной комиссии, не оставляет никаких сомнений в том, что особое внимание передовой аудитории привлекали в 1849 г. те страницы пись-

¹ Н. Ф. Бельчиков «Достоевский в процессе петрашевцев». М.—Л., 1936, стр. 99. Все показания об этом эпизоде самого Достоевского сводились к неудачным попыткам доказать, что переписка Белинского с Гоголем занимала его только как «замечательный литературный памятник», ибо он «буквально не согласен ни с одним из преувеличений, находящихся в ней» (там же, стр. 84—86, 136). Подробности двукратного чтения «письма» Достоевским в квартире Дурова и Пальма критически установлены К. П. Богаевской. См. «Литерат. Наследство», т. 56, стр. 530.

² Центр. Государственный Исторический архив. 1-й секретный архив, дело № 99—Б. Донесения Липранди, т. 1, л. 156. В этой же записке дан был, со слов Антонелли, очень обстоятельный пересказ письма Белинского к Гоголю, сопровождающийся отметкою: «Агент надеется это письмо достать, присвокупив, что оно действительно интересно и прочесть его необходимо, потому что он сознается, что передал его весьма слабо».

ма Белинского к Гоголю, в которых речь шла о церкви и государстве в России. Уничтожающая критика Белинским традиционных представлений о «религиозности русского народа» больше всего должна была импонировать как самому М. В. Петрашевскому, так и другим ведущим членам его кружка. Мы знаем, что, незадолго до получения Достоевским из Москвы копии письма Белинского, на очередной «пятнице» у Петрашевского (11 марта 1849 г.) был прочитан доклад Ф. Г. Толя «О ненадобности религии в социальном смысле». Доклад этот вызвал очень долгие и бурные прения, в процессе которых выявился исключительный интерес членов кружка к вопросам антирелигиозной пропаганды¹. Об этом свидетельствует, впрочем, не только обсуждение реферата Толя. Так, Петрашевский, знакомясь с А. В. Ханыковым, в первом же разговоре с ним подчеркнул, что «слепая вера в бога вредна, ибо она повергает человека в бездействие и косность». О близости Петрашевскому основных установок письма Белинского к Гоголю свидетельствует и та характеристика его настроений, которая дана была впоследствии А. И. Герценом². Письмо Белинского к Гоголю оказывалось в этих условиях документом особенно значительным и актуальным.

Еще на собрании в квартире Дурова поставлен был Львовым и Филипповым вопрос о необходимости заведения тайной типографии для возможно более широкой популяризации запретного «письма» Белинского³. Тогда же список с этого документа, оглашенный Достоевским, отдан был последним для копировки П. Н. Филиппову. Однако несколько дней спустя, судя по показаниям Филиппова, Достоевский отобрал у него как самый оригинал, так и сделанную им для себя копию⁴. Эта копия, принадлежавшая Филиппову,

¹ «Голос Минувшего», 1913, № 6, стр. 56—58.

² В. И. Семевский. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, ч. 1, М., 1922, стр. 151—154.

³ «Петрашевцы». Сборник материалов. Редакция П. Е. Щеголева. М.—Л. 1927, т. III, стр. 188. Как свидетельствует показание Дебу 2-го, «Ястржембскому и Балосогло особенно понравились те места письма Белинского к Гоголю, где он говорит об отсутствии религиозности в русском народе» (В. И. Семевский. «М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы», ч. 1, М., 1922, стр. 163). Впечатления от чтения письма Белинского на собрании 15 апреля 1849 г. отражены и в показаниях об этом петрашевца П. А. Кузьмина («Дело петрашевцев», т. II, стр. 236) и в его же позднейших записках («Рус. Стар.» 1895, кн. II, стр. 78 и 83).

⁴ «Петрашевцы», т. III, стр. 201. Возможно, что с Филипповым поддерживал связь в 1846 году молодой Н. Г. Чернышевский. См. «Полн. собр. соч. Н. Г. Чернышевского», т. XIV, М., 1949, стр. 73.

как отмечал в своем донесении Антонелли¹, и была прочитана Достоевским на вечере у Петрашевского 15 апреля 1849 г.

Видимо, именно эту копию, сделанную П. Н. Филипповым, Достоевский дал 22 апреля Н. А. Момбелли, который, в свою очередь, передал ее для размножения «писарю дежурства 3-ей гвардейской пехотной бригады Комарову»².

«Переписку Гоголя с Белинским я отдал переписывать военному писарю—удостоверял поручик Н. А. Момбелли на допросе от 10.V 1849 г.—Поступок необдуманный, ветренный, неприличный, не имеющий оправдания. Однако ж вот объяснение обстоятельств, сопровождавших это. Тетрадь, в которой помещены были два письма Гоголя и одно Белинского, я получил на один только день. В такой короткий срок своею рукою я не мог успеть переписать, тем более, что в этот вечер хотел быть у одной из своих знакомых. Я потребовал писаря и отдал ему переписать. При этом в комнате был Языков³, занимавшийся чем-то в стороне; он хотел меня остановить, но писарь, услышав, что ему опасаются доверить, сказал, что при таком скором письме ему некогда будет самому читать, в смысл вникать, тем более, что рукопись не разборчива и ему придется разбирать слово за словом, каждое слово отдельно. Я требовал, однако ж, чтобы писарь переписывал в моей квартире, но он говорил, что ему это неудобно и обещал никому не показывать. Писарю заказан был, если успеет, и другой экземпляр. Другой экземпляр назначался Языкову, который хотел иметь эту переписку единственно как литературную редкость, ради известности фамилий Гоголя и Белинского, как вещь, которая резко характеризует и того и другого»⁴.

Н. А. Момбелли был арестован этой же ночью, не успев получить заказанных им копий. Однако, запретная тетрадь, сданная им для копировки, не погибла. Писарь, узнав об аресте своего заказчика, поспешил представить начальству как самый «оригинал», так и сделанную им копию. Через командира гвардейского корпуса обе эти «копии с писем литератора Гоголя и умершего литератора Белинского» дошли до III Отделения, откуда 4 мая 1849 г. препровожде-

¹ Сводки Антонелли в «Донесениях Липранди», Архив III Отделения, 1849, дсло № 99—Б, т. I, лл. 184—189.

² «Петрашевцы». Сборник материалов, т. III, стр. 76 и 82.

³ Н. Д. Языков — поручик генерального штаба, приятель Момбелли.

⁴ «Дело петрашевцев», т. I, М.-Л., 1937, стр. 230.

ны были в следственную комиссию по делу Петрашевского¹.

Подлинный список Плещеева, являвшийся первоисточником всех петербургских копий письма Белинского к Гоголю, до нас не дошел. Вероятно, его успел уничтожить Достоевский перед своим арестом. Не дошли до нас и те копии письма Белинского, о массовом распространении которых весной 1849 г. в Петербурге передают воспоминания П. М. Ковалевского, П. П. Семенова и А. П. Милюкова². Не раскрытым осталось во время следствия 1849 г. и самое происхождение списка, присланного Плещеевым из Москвы Достоевскому. Сам Плещеев отказался указать первоисточник этой копии и весьма неубедительно доказывал своим следователям и судьям, что текст письма Белинского к Гоголю был им якобы совсем «случайно» обнаружен «вместе с сочинениями Гоголя, в библиотеке дяди, недавно умершего в Москве»³.

Воспоминания К. Н. Бестужева-Рюмина позволяют, однако, установить, что копия письма Белинского, оказавшаяся в Москве в распоряжении Плещеева, принадлежала С. В. Ешевскому, будущему профессору, а в 1849 г. двадцатилетнему студенту Московского Университета, ученику Грановского и Кудрявцева⁴.

Авторитетность полученного Плещеевым списка не должна возбуждать поэтому никаких сомнений. Нити, связывающие петербургские списки письма Белинского к Гоголю с их первоисточником, вели к Москве, к ближайшему окружению Грановского, Кетчера, Корша и Кудрявцева.

¹ Дело Аудиториатского Департамента военного министерства 1849 г., № 55, ч. VII. Дело следственное о поручике л.-гв. Московского полка Момбелли, лл. 53—74. При публикации «Дела петрашевцев» копии письма Белинского к Гоголю остались не только не перепечатанными, но даже и не описанными («Дело петрашевцев», т. I, М.-Л., 1937 г., стр. 211).

² П. М. Ковалевский вспоминает о чтении «известного письма Белинского к Гоголю» на одном из вечеров у Е. П. Ковалевского, причем инициаторами этого чтения называет «петрашевцев» («Истор. Вестн.», 1888 г., кн. 2, стр. 385). О читаемых «с жадностью» во «всех» петербургских кружках 40-х годов «сочинениях Белинского, не пропущенных цензурой», в том числе и письме к Гоголю см. «Воспоминания П. П. Семенова—Тянь-Шанского», т. I, П., 1917, стр. 206. Воспоминания А. П. Милюкова об этом же впервые опубликованы в «Рус. Старине», 1881 г., кн. 3, стр. 698.

³ «Петрашевцы», т. III, М.-Л., 1928, стр. 213.

⁴ «Зимой этого года,—писал К. Н. Бестужев-Рюмин,—жил в Москве Плещеев. Я встречал его у Кудрявцева и Грановского... От Ешевского получил он знаменитое письмо Белинского, которое послужило к обвинению и его и Достоевского» («Сборник Отдел. Рус. Языка и Словесности» Академии Наук, т. XVII, 1900 г., № 4, стр. 25). О московских связях А. Н. Плещеева см. «Голос минувшего», 1915, кн. XII, стр. 60—66.

Мы полагаем, что первоисточником копий, получивших массовое нелегальное хождение в Москве и Петербурге весной 1849 г., явился тот самый дубликат письма Белинского, который заготовлен был критиком еще в Зальцбрунне и оглашен в Париже. Наше предположение подтверждается не только данными о генеалогии списков, бывших в распоряжении А. А. Григорьева и А. Н. Плещеева, но и материалами секретного дознания о Н. Ф. Павлове, при обыске у которого 16.I.1853 г. в Москве обнаружены были копия знаменитого письма Белинского к Гоголю и подлинник ответа последнего на это письмо от 10 августа 1847 г.¹

Правда, это была не та копия, которую заготовил для себя сам Белинский, но нити дознания вели именно к ней.

Сам Н. Ф. Павлов отказался назвать лицо, передавшее ему письмо Гоголя, а при предъявлении ему найденной в его бумагах копии Зальцбруннского письма, ограничился указанием имени только случайного переписчика этого документа, да и то, видимо, лишь потому, что это имя уже и без его признания было хорошо известно следственным органам².

«Копия этого письма,—показывал Н. Ф. Павлов 20.I.1853 г. в Москве,—как заметили при разборе моих бумаг и лица, ныне меня спрашивающие, писана рукою Николая Михайловича Горлицына, служащего в Попечительном Совете. Так как я сам напечатал несколько писем о книге Гоголя, то мне любопытно было прочесть это письмо, но ведь этому прошло столько времени, и письмо это впало у меня в такое забвение, что я не могу привести никаких обстоятельств, откуда и как оно дошло до меня. Списков с него никому я не давал, распространять его не мог, ибо, как всем известно, я был литературный неприятель Белинского и никаких его мыслей не разделял. Письмо это лежало у меня совершенно забытое с семей-

¹ Государственный Архив Революции в Москве. Дело III Отделения С. Е. И. В. канцелярии, I экспедиция, 1853, № 75, приложения: «Бумаги, принадлежащие г. Павлову, требующие особенного объяснения» (Тетрадь Б., на 14 листах). Материалы о распространении письма Белинского к Гоголю, оказавшиеся в этом «деле», впервые учтены были в статье Я. З. Черняка «Письмо Белинского к Гоголю» («Красная Новь», 1936, кн. VII, стр. 233—234). Автограф ответного письма Гоголя к Белинскому, оказавшийся в этом же деле, опубликован был Р. Кантором в «Красном Архиве». 1923, кн. III, стр. 309—311.

² Имя Н. М. Горлицына, как переписчика письма Белинского к Гоголю, обнаруженного в бумагах Н. Ф. Павлова, отмечено в первом же рапорте на имя московского военного генерал-губернатора от 17.I.1853 г. о результатах обыска в квартире Павлова. (Дело № 75, л. 13—14). Рукою этого же Горлицына писаны были и некоторые деловые бумаги Н. Ф. Павлова.

ными письмами, в чем удостоверят лица, производившие обыск. Сохранил я его, вероятно, или по рассеянности, или по негодованию, с каким бросил в ящик, или как любопытный документ, на который у меня находится ответ самого Гоголя.

«С Белинским ни в каких и никогда в сношениях я не находился. Много лет тому назад я видал его в Москве, но по переезде в Петербург ни здесь, ни там даже не встречался. Повторяю, он был мой литературный неприятель и даже некогда, заведывая отделом критики в «Отечественных Записках», отказался писать статью о моих повестях, ибо должен был хвалить, почему и писал ее сам редактор. Сказать, от кого я получил письмо к нему Гоголя, я был бы очень рад, ибо ведь это не было бы преступлением ни со стороны того, кто его мне дал, ни с моей стороны, но истинно, положив руку на сердце,—не помню. Вероятно, оно по смерти Белинского привезено было в Москву и случайно попало ко мне. Ведь это для меня не было каким-либо чрезвычайным событием, чтобы тщательно удержать его в памяти»¹.

В этих показаниях Н. Ф. Павлов несколько уклонился от истины. Белинскому, конечно, мало импонировал Павлов — и как художник слова и как общественный деятель либерально-буржуазного толка. Но как раз в период 1846—1847 г., в пору борьбы Белинского за создание широкого антикрепостнического фронта, его отношение к автору «Трех повестей» существенно изменилось. Поводом для открытого примирения Белинского с Павловым явилось выступление последнего против «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Протест Павлова облечен был в форму «письма к Н. В. Гоголю» и еще до своей публикации в «Московских Ведомостях» привлёк внимание Белинского:

«Какой Павлов написал статью о Гоголе,—запрашивал он Боткина 7 февраля 1847 г.,—Николай Филиппович? Уведомь, равно как и о том, будет ли она напечатана и где?»².

В письме к Боткину от 15 марта 1847 г. Белинский выражал уже свое восхищение статьей Павлова (первой из трех им опубликованных) и полностью с ней солидаризировался: «Статья Н. Ф. Павлова—образец мастерства писать. Я прочел ее несколько раз, и с каждым разом она кажется мне все лучше и лучше. Сколько ума, какая последовательность, как все ровно и цело; дочитывая конец, ясно помнишь начало и середину! Словом, чудо, а не статья! Сначала на меня произвел было неприятное впечатление взгляд на мертвopoчитание русской породы; но я сообразил, что вся сила статьи в том

¹ Дело № 75, приложения, лл. 24—27.

² «Письма Белинского», т. III, стр. 168.

и заключается, что Павлов бьет Гоголя не своим, а его же оружием, и имеет в виду доказать не столько нелепость книги, сколько ее противоречие с самой собою. Но особенно понравилась мне в статье одна мысль—умная до невозможности: это ловкий намек на то, что, перенесенная в сферу искусства, книга Гоголя была бы превосходна, ибо ее чувства и понятия принадлежат законно Хлестаковым, Коробочкам, Маниловым и т. п. Это так умно, что мочи нет! Жаль одного: что эта превосходная статья напечатана в «Московских Ведомостях». Что, как бы позволил нам Николай Филиппович перепечатать его статью в «Современнике»? Право от этого не одним нам было бы хорошо: статья получила бы больше народности»¹.

Как известно, Н. Ф. Павлов охотно дал согласие на перепечатку в «Современнике» своих писем. Характеризуя последние в концовке своего «Взгляда на русскую литературу 1847 г.», Белинский печатно отмечал: «В прошлом году внимание критики было преимущественно занято перепискою Гоголя с друзьями. Можно сказать, что память об этой книге теперь поддерживается только статьями о ней. Лучшая из статей против нее принадлежит Н. Ф. Павлову. В своих письмах Гоголю он стал на его точку зрения, чтоб показать его неверность собственным своим началам. Тонкость мысли, ловкость диалектики, при изложении в высшей степени изящном, делают письма Н. Ф. Павлова явлением образцовым и совершенно особым в нашей литературе. Жаль, если все дело кончится тремя письмами!»².

Белинский не только очень высоко оценил мастерство построения «Писем Н. Ф. Павлова к Н. В. Гоголю», но и внимательно учел один из его полемических приемов в своей собственной публицистической практике. Мы имеем в виду использование в Зальцбруннском письме Белинского к Гоголю той же формы «открытого письма», которую выбрал в начале 1847 г. Павлов,—без традиционного личного обращения, без расчета на ответ, но с определенной апелляцией, через голову адресата, ко всей передовой русской общественности.

¹ «Письма Белинского», т. III, стр. 198. «Первое письмо к Н. В. Гоголю» опубликовано было Н. Ф. Павловым в «Москов. Ведомостях» от 6. III. 1847 г., № 28; «Второе письмо»—в «Москов. Вед.» от 28. III. 1847, № 38; «Четвертое письмо» — там же, 17 апреля 1847 г., № 46. Письмо третье осталось, видимо, ненаписанным.

² «Современник», 1848, кн. III, отд. 3, стр. 46. Публикация Н. Ф. Павловым четвертого его письма к Н. В. Гоголю до написания третьего вызвала гневную реплику Белинского в письме к Анненкову по адресу «Павлова и других москвичей, которые находятся на особых правах у здравого смысла, и смело могут издать сперва конец, потом середину, а наконец — начало своего сочинения» («Письма Белинского», т. III, стр. 327).

«Вы стали на такую дорогу, вы подняли такие вопросы— мотивировал Павлов в своем первом письме его необычную форму и интонацию—что сами уничтожили те мелкие отношения, где люди, знакомые люди, друг к другу пишущие, должны более или менее щадить обоюдную чувствительность своего самолюбия; да я и не для вас пишу, даже не для тех, которые приняли уже или примут вашу книгу на веру, потому только, что она скреплена авторитетом вашего имени»¹.

«Письма Н. Ф. Павлова к Н. В. Гоголю» не только подсказали Белинскому некоторые детали оформления его Зальцбруннского письма. Именно этот литературный прецедент позволил Белинскому в полемике с Гоголем максимально концентрировать свой удар, не останавливаясь на тех вопросах, которые уже успел поставить и в той или иной мере разрешить его предшественник.

Итак, в 1847 г. Н. Ф. Павлов был уже не противником, а союзником Белинского. Поэтому и пытался он с таким жаром после своего ареста в 1853 г. отвести от себя подозрения в сочувствии установкам Зальцбруннского письма и в содействии его распространению. Поэтому и был он предельно осторожен во всех ответах своих во время следствия на конкретные вопросы о путях получения им криминальных документов. Не меньшую выдержку обнаружила, правда, в этом отношении и его жена, К. К. Павлова, инициативе которой приписал (и, вероятно, вполне справедливо) заказ копии Зальцбруннского письма никто иной, как сам его переписчик.

Титулярный советник Н. М. Горлицын, допрошенный 22 января 1853 г., показал: «Предъявленное мне письмо писано моей рукой, с копии, переданной мне, сколько могу запомнить, братьями Северцовыми, но которым из них, припомнить не могу; копия, с которой писано было предъявленное мне письмо, мною уничтожена, писано мною это письмо в конце 1849 г. или начале 1850 г. для г-жи Павловой. Кроме предъявленной мне копии больше мною писано не было, и есть ли еще у кого подобные копии—мне неизвестно. Г-жа Павлова просила меня достать это письмо, сколько я могу заключить из ее слов, из любопытства, и желания прочесть его, как литературное произведение. Я не мог ей дать копии, с которой списывал это письмо, потому что копия эта была написана очень дурно и перемарана. Но кому г-жа Павлова передала писанную мною копию и какое сделала из нее употребление—мне решительно неизвестно, потому что около трех лет уже с семейством Павловых я прекратил всякое сношение»².

¹ «Современник», 1847 г., кн. V, отд. 4, стр. 2.

² Показания Н. М. Горлицына в деле № 75, лл. 28—29.

В дополнительных своих показаниях от 24 января Н. М. Горлицын, отражая не то какие-то свои колебания, не то подозрения следователей, подтвердил, что копия; с которой списано было им письмо Белинского, получена была им, действительно, от братьев Северцовых, а не от самого Гоголя, с которым он, Горлицын, встречался у Павловых: «Что могла г-жа Павлова просить меня взять это письмо у Гоголя и не хотела просить у него сама—это могло быть уже потому, что Гоголь бывал у ее мужа, от которого она желала письмо это скрыть. Это навело меня на сомнение, не взял ли я письмо это у самого Гоголя. Но теперь, припоминая более обстоятельства, я решительно утверждаю, что письмо то взято мною было у братьев Северцовых»¹.

От К. К. Павловой следственным органам добиться ничего не удалось: «Решительно могу сказать,—удостоверяла она 26-го января,—что предъявленное мне письмо было написано не по моей просьбе, и не для меня, что я никогда не поручала г. Горлицыну мне его достать. Слышала я об этом письме от многих, но не могу припомнить, от кого. Никогда его не только никому переписывать не давала, но даже сама рукой г. Горлицына переписанного письма и никакой другой копии не читала, и как оно попало в бумагах мужа,—не знаю»².

На очной ставке с Н. М. Горлицыным, несмотря на его уличения, К. К. Павлова «ни в чем не созналась и осталась при прежнем своем показании».

Вопрос о первоисточнике копии Н. Ф. Павлова остался открытым и после допросов братьев Н. А. и А. А. Северцовых, тесно связанных, как и С. В. Ешевский, от которого получил копию письма Белинского А. Н. Плещеев, с ближайшим окружением Грановского.

«Упоминаемое здесь письмо Белинского к Гоголю—показывал 24. I, 1853 г. кандидат Московского университета Н. А. Северцов—было несколько времени у нас в доме, и действительно написано так, что читать нельзя. Досталось нам от покойного нашего родственника, А. П. Глебова. Было ли ему возвращено, и как от нас перешло к г. Горлицыну, и вообще, что с ним сделалось, не знаю».

«Письмо г. Белинского к Гоголю в моих и брата моего руках (так как мы жили вместе) действительно находилось—подтверждал и младший из братьев Северцовых.—Оно было

¹ Николай Алексеевич Северцов (1827—1885), в это время молодой ученый, ученик К. Ф. Рулье, впоследствии знаменитый зоолог и путешественник, брат его историк, ученик Грановского. Материалы об обоих братьях в эпоху 40-х годов см. в книге Л. Б. Северцовой «А. Н. Северцов», М.-Л., 1946, стр. 15—21.

² Показания К. К. Павловой в деле № 75, л. 36.

довольно грязно переписано, в тетрадах в восьмую долю листа, с сокращениями и довольно грязно; в той же тетрадке находились и другие пьесы, которые, вместе с этим письмом, получил от родственника моего статского советника А. П. Глебова, в настоящее время уже умершего. Оно находилось у меня недель шесть и было потом мной передано тому же Глебову»¹.

Эта ссылка обоих братьев на «тетрадь покойного А. П. Глебова» объяснялась обычной в таких случаях практикой перенесения политической ответственности с живых на мертвеца. Так описывался в пору следствия о «Гаврилиаде» Пушкин. Точно так же поступил недавно и Плещеев, отказываясь указать, чей именно экземпляр письма Белинского к Гоголю скопировал он весной 1849 г. в Москве.

Н. М. Горлицын удостоверил, что копия, с которой он делал свой список, «была написана очень дурно и перемарана»,—настолько «дурно», что он не решился передать ее К. К. Павловой без переписки набело. Об этом же показывали и братья Северцовы, подчеркивая, что копия их писана была так, что ее было «читать нельзя»,—«с сокращениями и довольно грязно».

Эти недочеты оригинала не могли не отразиться и на копии, обусловив все те многочисленные ее неточности и пробелы, которыми в самом процессе своего изготовления был так обесценен павловский список. Значение копии Павлова определяется для нас, однако, не точностью и полнотою ее текста, а местом и временем закрепления последнего в редакции, несколько отличающейся от всех прочих известных нам списков Зальцбруннского письма.

Список Павлова, уже по самому имени своего владельца и положению его в Москве конца 40-х годов, должен быть признан одним из самых ранних.

Как активный участник борьбы с Гоголем после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями», Н. Ф. Павлов и лично, и лигературно, и общественно-политически был заинтересован в скорейшем ознакомлении с таким документом, как Зальцбруннское письмо. О том, что Н. Ф. Павлов располагал достаточно широкими возможностями в этом направлении, свидетельствует тот факт, что в его бумагах оказался подлинник ответного письма Гоголя Белинскому. Естественно было бы предположить, что, получив тем или иным путем доступ к бумагам Белинского, Н. Ф. Павлов извлек бы из них и копию с письма самого великого критика, если бы эта копия до него уже не была кем-то изъята.

¹ Показания Н. А. и А. А. Северцовых в деле № 75, лл. 34—35.

Желанием Н. Ф. Павлова иметь в своем распоряжении оба документа, и притом, конечно, в момент, когда они еще не утратили интереса новизны, и обусловлено было поручение его самого или его жены Горлицыну об изготовлении копии Зальцбруннского письма. Правда, сам Н. М. Горлицын датировал свою копию «концом 1849 г. или началом 1850 г.». Мы предполагаем, что он ошибся по меньшей мере на год. Его ошибка могла быть и не случайной. После процесса петрашевцев копий с письма Белинского по рукам ходило так много, что самый факт знакомства с его содержанием казался уже не столь криминальным, как в более раннюю пору.

В пользу наших предположений о дате павловской копии свидетельствует и очень характерное в этом отношении письмо Я. К. Грота к П. А. Плетневу. Делясь своими впечатлениями от литературной и ученой Москвы, Я. К. Грот, как о новости, явно его взволновавшей, сообщал 12 июля 1849 г. своему учителю и другу последние сведения о Гоголе: «Здесь ходит по рукам переписка его с Белинским: она есть и у меня»¹. По соображениям конспиративного порядка, Я. К. Грот больше не распространялся на эту щекотливую тему, но тот факт, что в письме от 7.VII.1849 г. он передавал о своих встречах с Н. Ф. Павловым, позволяет предполагать, что именно последний не только осведомил его о переписке Белинского с Гоголем, но и помог получить с этих документов точную копию. Все же прочие московские знакомцы Я. К. Грота были слишком далеки от постулатов письма Белинского, чтобы содействовать их популяризации.

8.

Зальцбруннское письмо Белинского во всех известных нам его копиях неотделимо от ответа Гоголя, аргументация которого самой своей бледностью и несостоятельностью еще более оттеняла политическую и литературную победу над ним великого критика. Характерно, что и Герцен, начиная издание «Полярной Звезды», печатает в первой ее книге не письмо Белинского, а «Переписку Белинского с Гоголем». Для нас это существенный признак связи его публикации с теми самыми списками, генеалогию которых мы выше установили.

Как свидетельствует предисловие Герцена, в распоряжении редакции «Полярной Звезды» был не оригинал письма Белинского и даже не авторитетная его копия, а совершенно случайный позднейший список². Поэтому нет никаких осно-

¹ «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. III, СПб, 1896, стр. 455. Судьба списка, сделанного для Я. К. Грота в Москве, неизвестна.

² «Полярная звезда» 1855 г., кн. 1, стр. X.

ваний усматривать в дефектах первопечатного текста письма Белинского к Гоголю признаков какой-то особой редакции этого документа, отражающей отличия ее первоисточника от основы всех других известных нам его списков.

Материалы Пражского архива Герцена, еще не введенные в научный оборот, позволяют существенно уточнить наше заключение об известной неполноценности текста «Полярной Звезды». В этих материалах оказался документ, проливающий свет на происхождение копии Герцена, документ, непосредственно связывающий публикацию «Полярной Звезды» с теми традициями распространения Зальцбруннского письма, которые шли от петрашевцев.

Мы имеем в виду обращение к Герцену А. А. Чумикова, известного педагога, преподавателя Николаевского сиротского института в Петербурге, находившегося летом 1851 г. в заграничном отпуске и использовавшего свое пребывание в Париже и Берлине для информирования деятелей русской революционной эмиграции о настроениях петербургской демократической интеллигенции после разгрома кружка Петрашевского.

Пламенный пропагандист «идей Белинского о русской литературе», человек, идейно и лично связанный с многими из репрессированных петрашевцев, этот корреспондент Герцена, в письме к нему от 9 августа 1851 г. из Парижа, упоминал и о своих попытках популяризации письма Белинского в западно-европейской печати: «Известно ли вам письмо сего последнего к Гоголю? Вероятно, оно явится скоро в немецких и французских газетах, а если нет (до октября), то не худо бы вам его напечатать где-нибудь. Оно имеет интерес уже потому, что за него пострадали Достоевский (в каторжную работу) и Плещеев (в солдаты). Я вышлю вам его, равно и еще кое-что... Что касается до материалов, то я, не ожидая от вас ответа, составил для журнала «Ausland» маленькую статью, как бы введение к письму Белинского, и препровождаю вам ее»¹.

Материалы А. А. Чумикова о письме Белинского к Гоголю были использованы в Штутгартской газете «Das Ausland» уже 16 августа 1851 г. Это была первая печатная информация

¹ Центр. Госуд. Архив Октябрьской Революции, Герцено-Огаревская коллекция «Русского заграничного архива», № 132. Письмо, по конспиративным соображениям, не подписано. Принадлежность его А. А. Чумикову установлена С. А. Макашиным и Я. З. Черняком. Ответные письма Герцена к Чумикову см. в «Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена» под ред. М. К. Лемке, т. VI, 1917, стр. 427—432. Для характеристики А. А. Чумикова (1819—1902), впоследствии бывшего редактором «Журнала для воспитания» (1857—1859), очень ценны записи в дневнике Н. А. Добролюбова, а также в «Современнике» 1857 г. См. «Полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова», т. III, ред. Ю. Г. Оксмана, М., 1936, стр. 665—666.

о переписке Белинского с Гоголем и о роли ее в деле петрашевцев. Отмечая, что из участников «заговора 1849 г.» один <Достоевский> был сослан в рудники, а другой <Плещеев> сдан в солдаты за распространение «частных писем», автор статьи «Russland und die Gegenwart» («Россия и Современность») пояснял; «Diese Privatbriefen bestanden in nichts anderem als in der in zahlreichen Exemplaren umlaufenden Correspondenz des im J<ahre> 1847 verstorbenen Literater Belinsky mit dem bekannten Schriftsteller Gogol, worin ersterer eine allerdings nicht geschmeidelte Schilderung der russischen Zustände und namentlich der Geistlichkeit erwarf. Die grosse verbreitung, welche die Regierung dagegen richtete, zeigen dafür dass sie tief einschnitten. Gogol hatte sich nämlich in einer seiner Schriften jedem aus dem «verfaulten» Westen kommenden Fortschritt abhold gezeigt, von der höhern Mission Russlands gesprochen und sich von seinen frühern Schriften losgesagt: die Schilderung Belinsky's war die Antwort. Solche Erscheinungen zeigen, dass Russland nicht die uniforme Oede ist, wie mehrere sie gewöhnlich ansehen, und das die Regierungsgewalt nicht alle Aesserungen selbständigen Geistes niederdrücken kann»¹.

А. И. Герцен отнесся к материалам А. А. Чумикова с необычайным вниманием. Об этом свидетельствуют его настойчивые попытки добиться их опубликования во французской печати. В письме от 15 ноября 1851 г. к Мишле Герцен рекомендовал использовать данные статьи Чумикова, хотя бы в отрывках, в «какой-нибудь газете», с тем, чтобы полностью они появились в «Liberté de penser». Мишле рекомендовал полученную им от Герцена рукопись Чумикова в «National».

Нам не удалось еще установить, в какой форме статья Чумикова использована была во французской прессе, но письмо Эрнста Гауга от 21.XI.1851 г. удостоверяет, что Герцен поручил Мишле «переделать, исправить и подписать эти ма-

¹ «Das Ausland», 1851, № 196, s. 783. Перевод: «Эти частные письма представляли собой не что иное, как разошедшуюся в многочисленных экземплярах переписку скончавшегося в 1847 году литератора Белинского с известным писателем Гоголем, в которой первый очень неприглядно характеризовал положение дел в России, особенно состояние духовенства. Широкое распространение, которое, вопреки правительству, оно получило, свидетельствует о том, что задело оно глубоко. Гоголь же в одном из своих сочинений выступил против прогресса, идущего из «гнилого» Запада, говорил о высокой миссии России и отказывался от своих прежних произведений. Эти события свидетельствуют о том, что Россия уже вовсе не однообразная пустыня, как многие привыкли ее рассматривать, и что государственная власть уже не в состоянии подавить в ней проявления самостоятельной мысли». Знакомством с этой публикацией мы обязаны С. А. Макашину.

териалы, как он найдет нужным». В этом же письме Гауг разяснял: «Документы, помещенные в приложениях, переведены под наблюдением Герцена, письмо Белинского было даже лично прочитано его автором нашему другу. Поэтому он <Герцен> отвечает за достоверность этих документов»¹.

Между тем, в том же немецком издании, в котором появилась первая информация о письме Белинского к Гоголю, в анонимной статье «Die unzufriedenen Klassen» использовано было в номере от 29 декабря 1851 г. еще несколько страниц рукописи А. А. Чумикова. Как грозный обвинительный акт, впервые прозвучали в печати, хотя и в переводе на немецкий язык, подлинныи строки запретного в России документа.

Доказывая, что православная церковь, ставшая после уничтожения патриаршества «только служанкой светской власти, потеряла всякое уважение у народа», А. Чумиков разяснял своим читателям:

«Белинский мог в своем известном, нами уже упомянутом выше, послании к Гоголю преувеличивать, но это письмо получило в России слишком большое распространение, чтоб в нем не заключалось много истины. Как высказывается он, однако, о духовенстве?

«Ihnen (Gogol!) kann nicht unbekannt sein, wie sehr die russische Geistlichkeit von dem russischen Gesellschaft, von dem russischen Volke verachtet ist. Wen betreffen die meisten obsönen Lieder der russischen Volks? Den Popen, seine Frau, seine Tochter, seine Dinstboten. An wen richten sich die gröbsten Schimpfreden, die schmutzigsten Beiworte? An den Popen <...> Selbst das religiöse Gefühl hat diese nicht die Geistlichkeit durchdringen, und man kann, um diese Behauptung zu widerstreiten nicht einiße Ausnahmen anführen, die sich durch ihre beschauliche, ruhige, ascetische, Frommigkeit auszeichnen. Die Mehrheit unserer Geistlichkeit hat sich nie durch etwas anderes ausgezeichnet, als durch Dickleibigkeit, scholastische Pedantrie und krasse Unwissenheit. Es wäre völlig Ungerecht, sie der Intoleranz und des Fanatismus anzuklagen, denn sie war immer und ist noch ein Muster von religiöser Gleichgültigkeit. Das religiöse Gefühl tritt nur in den dissidentirenden Sekten auf, welche durch ihren Geist sich wesentlich von der Masse des russischen Volkes unterscheiden vor dem sie jedoch durch ihre numerische Schwäche verschwinden»².

¹ «Полн. собр. соч. А. И. Герцена», т. VI, стр. 466, 522, 533.

² «Das Ausland» от 29 декабря 1851 г., № 311. Цитаты из письма Белинского, объединенные в этом переводе, соответствуют известным строкам от «Но неужели же и в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении до «попова работника», и от «Религиозность не привилась даже духовенству» до «столь ничтожных перед нею числительно».

Материалы, опубликованные А. А. Чумиковым в газете «Das Ausland», интересны для нас не только как первая информация о письме Белинского в органах западно-европейской прессы. — Они проливают свет и на происхождение той именно копии «Переписки Белинского с Гоголем», которая через несколько лет опубликована была Герценом в «Полярной Звезде».

Если мы учтем, что парижский корреспондент Герцена готовил привезенный им из Петербурга список письма Белинского для перевода, а не для издания его на русском языке, то все основные недочеты его текста, оказавшегося воспроизведенным в 1855 г. в «Полярной Звезде», сразу получают определенную мотивировку.

А. А. Чумиков прислал Герцену не точную копию Зальцбрунского письма, а сокращенный его текст, освобожденный уже от всего того, что могло затруднить понимание его иностранцем. Все места, смущавшие переводчика или требовавшие комментария, были поэтому или вовсе изъяты из текста Белинского, или предельно упрощены. Так, например, весьма бесцеремонно заменена была в письме ссылкой на «глупую поговорку» цитата из «Капитанской дочки», подкреплявшая полемику Белинского с Гоголем о «национальном русском суде». Так, например, «уточнена» была А. А. Чумиковым вставку слова «царь» взамен «тот, который и т. д.», неясная без объяснения строка, в которой Белинский, видимо, хотел точно процитировать панегирическое упоминание о Николае I в письме Гоголя к С. С. Уварову, но не вспомнил его и оборвал на полуслове. Так, вместо известной сентенции «ругая их неумытыми рылами», появился упрощенный вариант: «учит их ругать побольше», а из строки «патриархи восточные и западные» вовсе исчезли три последние слова. Так, переосмыслена была Чумиковым строка о русской читающей публике («и она»), замененная произвольным указанием на «старую школу» («И старая школа действительно сердилась на вас»). Так, наконец, из-за непонятого копиистом слова «колуханы» (верхне-волжский диалектизм: мошенники, плуты) исчезла из письма целая строка о попах («Жога русский народ называет: дурья порода, колуханы, жеребцы»).

Само собою разумеется, что из текста письма были изъяты его редактором и все упоминания о лицах, самое сочетание которых в эту пору с именем Белинского, да еще на страницах зарубежной печати, могло бы их политически компрометировать. Мы имеем здесь в виду заключительные строки письма, в которых Белинский отмечал, что «Некрасов переслал мне ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Анненковым в Париж, через Франкфурт на Майне».

Разумеется, эта инимно-бытовая деталь авторского текста письма не могла быть сохранена ни в редакции Чумикова, ни в публикации Герцена. К копии Чумикова восходил, наконец, и такой характерный вариант текста письма Белинского в «Полярной Звезде», как «схоластическое педанство» (вместо «теологический педантизм»). Об этом свидетельствует передача этих строк в немецком переводе письма в «Das Ausland»: «scholastische Pedarterie».

Рассматривая все эти особенности первопечатного текста письма Белинского к Гоголю не как авторитетные варианты недошедших до нас списков, а лишь как результат позднейшей, и притом мало квалифицированной, литературной обработки одного из них, мы легко объясним все прочие неточности и пробелы Зальцбруннского письма в «Полярной Звезде» небрежностью переписчика и нечеткостью наборного оригинала¹.

Само обилие этих искажений, уже независимо от происхождения и целевой установки лондонской копии «Письма», свидетельствует об очень значительной отдаленности списка, бывшего в распоряжении Герцена, от первоисточника. Редакция «Полярной Звезды» и сама, как мы полагаем, учитывала несовершенство первой, и без того уже несколько запоздав-

¹ Текст «Полярной Звезды», несмотря на все его дефекты, положен был в основание первой массовой публикации письма Белинского к Гоголю в России в 1915 г. Как разъяснял впоследствии редактор этого издания С. А. Венгеров, «для популярной брошюры не было надобности углубляться в изучение текста—и я взял его из «Полярной Звезды», прибавив только одну, весьма характерную фразу из текста, напечатанного Барсуковым по копии Краевского» («Собр. соч. С. А. Венгерова», т. II, СПб, 1913, стр. 20). Строки, которые имел в виду С. А. Венгеров, заключались в указании Белинского на то, что письмо Гоголя переслано было ему Некрасовым, и что он из Зальцбрунна выезжает с Анненковым в Париж. Из брошюры С. А. Венгерова текст Зальцбруннского письма со всеми пробелами и искажениями «Полярной Звезды» перепечатан был в «Письмах Белинского» под редакцией Е. А. Ляцкого, т. III, СПб 1914, стр. 230—239, во всех трех изданиях трехтомника Иванова-Разумника «Избранные сочинения В. Г. Белинского» (1911, 1913 и 1919 гг.) и в первом советском отдельном издании письма: «В. Г. Белинский. Письмо к Гоголю. Предисловие Т. С. Когана». М., изд. «Красная Новь», 1923 г. Точным воспроизведением текста «Полярной Звезды» являлась и перепечатка письма к Гоголю в «Избранных философских сочинениях В. Г. Белинского» под общей редакцией М. Т. Иовчука. Редакция текста и комментарии В. С. Спирidonova, М., 1941, стр. 467—474. Этот же сокращенный и искаженный текст переиздан был с несущественными уточнениями в брошюре «В. Г. Белинский. Письмо к Гоголю. Редакция, послесловие и примечания Ф. М. Голвенченко». М., 1947, и в «Собрании сочинений В. Г. Белинского», т. II. Редакция В. И. Кулешова, М., 1948, стр. 707—715. Текст «Полярной Звезды» лежит в основании и последней перепечатки письма в сборнике «В. Г. Белинский о Гоголе». Редакция и комментарии С. Машинского, М., 1949 г., стр. 358—367.

ний, публикации письма Белинского к Гоголю, но задачей Герцена и Огарева было в 1855 г. не академическое издание памятника, а политическое его использование, не работа над вариантами и конъюктурами, а максимальное приближение письма к читателю.

А. Н. Пыпин, передавая в своих воспоминаниях о том «великом сочувствии», с которым принято было письмо Белинского к Гоголю в 1849 г. в кругах, близких к петрашевцам, отмечает еще больший успех нелегальных копий этого политического документа в годы Крымской войны, особенно после падения Севастополя¹. Письмо Белинского к Гоголю как будто бы начинает в 1854—1855 гг. вторую жизнь, революционизируя новое поколение демократической интеллигенции и мобилизуя его на борьбу с крепостническим государством. Выше мы уже отметили признания И. С. Аксакова об исключительном успехе письма Белинского даже в самых глухих провинциальных углах. Именно в середине 50-х годов письмо к Гоголю в тысячах новых копий получает, наконец, признание всей страны. В 1854 г. в Нижнем Новгороде с письмом Белинского знакомится восемнадцатилетний Н. А. Добролюбов. Этот момент будущий критик и публицист, единомышленник и соратник Чернышевского, считает переломным в своей идеологической биографии, ибо «темы», поставленные в письме Белинского, явились для него подлинным откровением².

Под непосредственным воздействием установок письма Белинского к Гоголю создается Добролюбовым 21 февраля 1855 г. памфлетное письмо на имя Н. И. Греча об отношении передовой русской общественности к только что умершему Николаю I. Этот исключительный по своей политической выразительности протест против крепостнического государства имел характерную подпись: Анастасий Белинский³. (В переводе с греческого «Анастасий» значит «воскресший»).

К этому же периоду воскрешения и распространения политических заветов Белинского относилось и лондонское издание «Письма».

Эффект первой публикации письма Белинского к Гоголю был так велик, что Грановский, общепризнанный лидер московской либеральной общественности этой поры, именно ее

¹ А. Н. Пыпин. Мои заметки. М., 1910, стр. 66 и 85—86.

² Дневник Н. А. Добролюбова, запись от 17.1.1857 г. Вспоминая о своих встречах в 1854 г. с семинаристом Ф. А. Васильевым, Добролюбов отмечал: «читали мы с ним письмо Белинского и много говорили на эту тему: тогда я (еще ничего не читавший) уверился в естественности христианства» (Полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова, т. VI, М., 1930, стр. 456).

³ Б. П. Козьмин. «Воскресший Белинский». («Литерат. Наследство», т. 57, 1951, стр. 7—24).

расценивал как гвоздь «Полярной Звезды». Именно этой публикацией, с точки зрения Грановского, и сжигал Герцен все корабли, исключая для себя навсегда возможность возвращения в крепостную Яссию¹.

9.

Возможности публикации полного текста письма Белинского к Гоголю были исключены в России до самой Октябрьской революции. Специальных правительственных циркуляров по этому вопросу не существовало, но самое содержание «Письма» и смертные приговоры, вынесенные в 1849 г. за его чтение и распространение, в течение многих лет прочно обеспечивали отсутствие даже в научных трудах каких бы то ни было упоминаний об этом эпизоде политической и литературной биографии Белинского.

Более сложной для охранительного аппарата оказалась борьба с нелегальным проникновением в Россию текста письма Белинского, напечатанного в лондонской «Полярной Звезде». Весьма показательна в этом отношении докладная записка М. М. Попова, старшего чиновника особых поручений при начальнике III отделения, о той беседе, которую он имел, по заданию своего шефа, с министром юстиции гр. В. Н. Паниным 27 марта 1857 г.

Граф В. Н. Панин, один из столпов реакционной дворцовой камарилы, обратил внимание шефа жандармов на необходимость особых мероприятий, которые парализовали бы возможность «проникновения в низшие слои народа» зарубежных изданий Герцена. Тревога Панина особенно обострилась в результате его впечатлений от двух публикаций в «Полярной Звезде». В первой из них,—в статье «Что такое государство»,—«опровергалась законность монархических правительств», а во второй,—в «Письме Белинского к Гоголю»,—говорилось «с насмешками о правилах всех церквей, особенно православной. По мнению сочинителя, Вольтер более понимал учение Иисуса Христа, нежели св. отцы церкви и все наши духовные, начиная с митрополитов. Тут же он доказывал, что русский народ есть самый атеистический и самый революционный».

М. М. Попов не мог не признать, что «обе статьи, действительно, чрезвычайно вредные», но при этом утверждал, что

¹ «В первой книге Полярной Звезды,—писал Грановский 2 октября 1855 г. К. Д. Кавелину,—напечатана переписка Гоголя с Белинским. Представь себе, что при всем том Александр Иванович мечтает о возвращении в Россию и даже хотел в следующем году прислать сына в Московский университет. Каков практический муж!» («Т. Н. Грановский и его переписка», М., 1897, стр. 456).

«достичь того, чтобы не проник к нам ни один экземпляр какой-либо книги, никогда и решительно невозможно»¹.

Трудности борьбы с распространением зарубежных изданий «Письма» компенсировались победами на внутреннем фронте. Так, например, попытка Г. Е. Благосветлова опереться в сентябрьской книжке «Русского Слова» за 1860 г. на мнение Белинского о «Выбранных местах из переписки с друзьями» едва не привела к закрытию журнала и к изъятию криминального номера из обращения. А между тем вся эта паника вызвана была буквально одной строкой из запретного документа, прямо к тому же неназванного. Цитата из письма Белинского к Гоголю случайно обнаружена была уже после выхода номера в свет в рецензии на седьмой том нового издания «Сочинений В. Г. Белинского»: «Он первый заявил, что Гоголь изменил знамени, растопгал свою собственную славу, из рабской готовности покурить через край царю небесному и земному»².

Эти строки, как свидетельствует дневник А. В. Никитенко, привлекли внимание самого Александра II. Цензор А. К. Ярославцев, подписавший номер к печати, был отрешен от должности, редактор журнала получил «строжайший выговор», а в Главном Управлении Цензуры надолго установилось «еще более раздраженное отношение к литературе, чем прежде»³. Понятно поэтому и полное молчание о письме Белинского к Гоголю во всех подцензурных статьях Чернышевского и Добролюбова, Писарева и Шелгунова, Зайцева и Ткачева, Лаврова и Михайловского.

Первым откликнулся в нашей легальной печати на письмо Белинского к Гоголю никто иной, как Достоевский. Писатель, отправленный в 1849 г. на каторгу за чтение и рас-

¹ «Голос Минувшего», 1913, № 5, стр. 236—237 («Из бумаг М. М. Попова»). Это был тот самый Попов, который в конце 20-х годов был учителем Пензенской гимназии, где и познакомился с Белинским. Впоследствии, перейдя на службу в III отделение, Попов являлся ближайшим консультантом Дуббельта и Орлова по вопросам литературной политики и по надзору за периодической печатью. В течение многих лет Попов не давал хода ни печатным обвинениям Белинского в подрыве основ «православия, самодержавия и народности», ни письменным донесениям о том же в секретных записках Ф. Булгарина и Б. Федорова (см. выше, стр. 127). Помощь Попова избавила умирающего Белинского и от личной язвы в III отделение в 1848 г. Подробнее об этом см. «Литерат. Наследство», т. 56, стр. 229—230.

² «Русское Слово», 1860 г., кн. IX, отд. II, стр. 30. Рецензия подписана инициалами: Р. Р. О принадлежности этой статьи Г. Е. Благосветлову см. «Литературное наследство», № 7—8, М., 1933, стр. 314—320.

³ А. В. Никитенко. Записки и дневник. Изд. 2-е, т. I, СПб, 1905, стр. 621 и 623. Ср. письмо Г. Е. Благосветлова к Я. П. Полонскому от 1.X. 1860 г. («Звенья», т. I, 1932, стр. 336).

пространение зальцбруннского письма, двадцать лет спустя оказался одним из самых ожесточенных его хулителей. Мы имеем в виду опубликованную в январской книжке «Русского Вестника» 1871 г. переую главу романа «Бесы», в которой Степан Трофимович Верховенский глумливо делился с молодежью своими воспоминаниями о том, как «в сорок седьмом году Белинский, будучи за границей, послал Гоголю известное свсе письмо и в нем горячо укорял того, что тот верует «в какого-то бога». Это же «Письмо» далее использовано было Достоевским в клеветнической реплике Шатова о Белинском и его друзьях, которые якобы «просмотрели русский народ сквозь пальцы, а Белинский особенно; уж из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский, точь-в-точь как Крылова Любопытный, не приметил слона в кунсткамере»¹.

Прямой ответ на эту контрреволюционную вылазку в цензурных условиях 70-х годов был, конечно, еще невозможен, но заговор молчания вокруг письма Белинского, так или иначе, оказался нарушенным. В 1872 г., незадолго до выхода в свет отдельного издания романа «Бесы», либеральный «Вестник Европы» рискнул опубликовать в статье В. П. Чижова «Последние годы Гоголя» несколько наименее криминальных страниц письма Белинского². Этот риск увенчался успехом. Письмо Белинского к Гоголю, хотя в сильно сокращенной и обескровленной редакции, вошло в легальный литературный и научный оборот. В 1873 г. на публикацию В. П. Чижова получил возможность сослаться А. Н. Пыпин в работе «Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х гг.», а в 1876 г. он же полностью перепечатал текст письма к Гоголю, данный В. П. Чижовым, в отдельном издании своей монографии «В. Г. Белинский. Его жизнь и переписка»³.

И В. П. Чижов и А. Н. Пыпин, стесненные цензурными условиями, должны были воздержаться от передачи строк, наиболее актуальных в политико-просветительном отношении, наиболее острых по своей антимонархической и антиклерикальной направленности. Однако, даже в той сокращенной редакции, в которой письмо Белинского появилось на страницах «Вестника Европы», оно имело уже ряд признаков, резко

¹ «Русский Вестник», 1871, кн. I, стр. 36—37. Ср. «Бесы». Роман Федора Достоевского, СПб, 1873, ч. I, гл. 1, § 9.

² «Вестник Европы», 1872, кн. VII, стр. 439—443.

³ А. Н. Пыпин. «В. Г. Белинский. Его жизнь и переписка», СПб, 1876, стр. 289—293; изд. 2-е, 1908, стр. 531—535. В журнальном тексте монографии Пыпина письмо Белинского к Гоголю только упоминалось, а не цитировалось. В самом кратком пересказе, почти без цитат, но с точной ссылкой на публикацию В. П. Чижова, Пыпин впервые дал письмо Белинского к Гоголю в «Характеристиках литературных мнений от 20-х до 50-х гг.» («Вестник Европы», 1873, кн. 3, стр. 524—526).

отличающих его от текста, опубликованного впервые А. И. Герценом в «Полярной Звезде».

Так, благодаря копии В. П. Чижова (происхождение и местонахождение ее нам и сейчас неизвестно), оказалось возможным выправить искаженную в «Полярной Звезде» полемическую сентенцию письма Белинского о «национальном русском суде». В самом деле, если в издании Герцена эти строки читались: «А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в глупой поговорке, что должно пороть и правого и виноватого», то в публикации Чижова тирада эта оказывалась связанной с цитатой из «Капитанской дочки», без ориентации, на которую она вообще не имела бы смысла: «А ваше понятие о национальном русском суде-расправе, идеал которого вы нашли в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которого должно пороть и правого, и виноватого»¹.

Вместо первопечатного варианта «И старая школа, действительно, сердилась на вас до бешенства» в копии В. П. Чижова было: «И она, действительно, сердилась на вас до бешенства», причем слово «она», т. е. читающая публика, в этом контексте оказалось гораздо уместнее, чем произвольный домысел о какой-то «старой школе». Вместо первопечатного «выгоднее для них» в списке Чижова предлагалось чтение «льготнее для них», вместо первопечатного «высокого духовного просветления» в копии Чижова было: «высокого духовного просвещения».

Все эти варианты копии В. П. Чижова, равно как и характерная описка при обозначении места и времени письма — «Зальцбург» вместо «Зальцбрунн», — полностью совпадали с копией письма Белинского к Гоголю, обнаруженной двадцать лет спустя в бумагах А. А. Краевского. Список последнего, впервые опубликованный (с некоторыми купюрами цензурного порядка) в 1894 г.² и положенный в основание первой критической редакции зальцбруннского письма, установленной в

¹ «Вестник Европы», 1872, кн. VII, стр. 441. В более авторитетных списках два места этой строки читались: «суде и расправе»; «идеал которой».

² Н. П. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. VIII, СПб. 1894, стр. 596—617. Список Краевского в редакции Н. П. Барсукова перепечатан был в двух массовых изданиях — в «Сочинениях В. Г. Белинского в четырех томах», изд. 2-е, Ф. Павленкова, СПб. 1900 (т. IV; стр. 1256—1264) и в «Соч. В. Г. Белинского», изд. Ф. А. Иогансона, т. IV, Киев, 1902, стр. 645—651. Этот же список положен был в основание публикации письма Белинского к Гоголю в однотомнике «Избранные сочинения В. Г. Белинского». Вступ. статья и примеч. Ф. М. Головенченко, М. 1947, стр. 615—619.

1913 г. С. А. Венгеровым¹, не оставляя сомнений в том, что обе копии—и Краевского и Чижова—восходили к одному и тому же, не очень исправному, оригиналу. Однако копия Чижова сделана была гораздо тщательнее, чем список Краевского, или, что более вероятно, была несколько ближе к первоисточнику, чем последний. Об этом свидетельствовали и такие, например, ее варианты, как «русских мужиков» вместо «мужиков»; «их трудами» вместо «трудами крестьян»; «по разуму которого» вместо «по разуму которой»; «быть без вины виноватым» вместо «быть без вины виноват»; «может быть плодом только» вместо «может быть плодом»; «самого себя» вместо «сам себя»; «о самом себе, как о писателе» вместо «о себе как писатель»; «я читал и перечитывал ее» вместо «я читал ее и перечитывал» и т. д. и т. п.

Несмотря на свое большое значение, как определенной вехи в истории популяризации письма Белинского к Гоголю, несмотря на своеобразие самого своего текста, существенно уточнявшего и копию А. А. Краевского и публикацию «Полярной Звезды», список В. П. Чижова не привлек к себе внимания ни исследователей письма, ни его издателей.

Больше того, он остался неизвестным даже С. А. Венгерову, который, устанавливая на основании сравнительного изучения двух списков «Письма» его первую сводную редакцию, по досадному недоразумению, приписал публикацию В. П. Чижова А. Н. Пыпину и столь же голословно определил ее как перепечатку из «Полярной Звезды»². Эта вдвойне ошибочная библиографическая справка, сделанная, очевидно, по памяти, без обращения к первоисточникам, вошла и в новейшие комментарии к письму Белинского к Гоголю³.

Выше мы определили список письма Белинского к Гоголю в «Полярной Звезде», как сокращенную и упрощенную редакцию его текста, приготовленную А. А. Чумиковым в 1851 г. для перевода на немецкий и французский языки.

Это заключение облегчает задачу установления и перво-

¹ С. А. Венгеров, «Писатель-гражданин. Гоголь» («Собр. сочин. С. А. Венгерова», т. II, СПб, 1913, стр. 202—217). Об этом опыте установления критической редакции письма к Гоголю см. наши соображения в статье «Переписка Белинского» («Литературное наследство», т. 56, 1950, стр. 207—208).

² «Собр. сочинений С. А. Венгерова», т. II, СПб, 1913, стр. 202.

³ «Избранные сочинения В. Г. Белинского», т. III. Редакция текста Д. Д. Благого, примечания А. Лаврецкого, М. 1941, стр. 805; В. Г. Белинский. Письмо к Гоголю. Редакция, послесловие и примечания Ф. М. Головенченко, М., 1947, стр. 27; «В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах». Т. III. Редакция В. И. Кулешова ГИХЛ, М., 1948, стр. 896; «В. Г. Белинский. Избранные философские сочинения». Под общей редакцией М. Т. Ивчука и З. В. Смирновой. Редакция текста и примечания В. С. Спиридонова, т. II, М., 1948 г., стр. 585.

источника А. А. Чумикова, поскольку его список, за вычетом всех разночтений, обусловленных целевой установкой его работы и принадлежащих лично ему, как редактору («Старая школа», «царь», «учит их ругать побольше», изъятие строк о колуханах, о Некрасове и Анненкове, замена цитаты из «Капитанской дочки» и пр.), оказался гораздо более близким списку А. А. Краевского, чем это представлялось его первым исследователям. Эта близость переходит в прямые совпадения целых страниц, на протяжении которых сохраняются в обоих списках одни и те же отклонения от текста других копий «Письма»¹.

Противостоя всем прочим копиям письма Белинского к Гоголю, списки А. А. Чумикова («Полярная Звезда») и А. А. Краевского, сохранили очень мало деталей текста, характерных для ранних, наиболее близких к автографу Белинского, его редакций. Объясняется это не только явной небрежностью и некультурностью переписчиков (в списке Краевского вообще отсутствуют, например, такие строки, как «довольно она твердила их», «в глубине своей совести», вместо «апостол невежества» передавалось «а потом невежества»; вместо «не ново» — «не любовь»; вместо «отменение телесных наказаний» писалось «ослабление телесных наказаний» и пр.). Несомненно, неисправен был уже их первоисточник, восходивший к оригиналу Белинского не по прямой линии, а представлявший собою одну из вариаций малограмотных писарских копий, пущенных в массовый оборот петрашевцами весной 1849 г. Исключительная неточность экземпляра письма Белинского к Гоголю, фигурировавшего в следственных делах Достоевского и Плещеева, в этом отношении не случайна. Пробелы и искажения в тексте «Полярной Звезды» и в списках А. А. Краевского и В. П. Чижова — того же типа и тех же масштабов.

10.

Гибель не только автографа письма Белинского к Гоголю, но и той единственной его копии, которая сделана была с ори-

¹ Таковы, например, варианты: «русского самодержавия» вместо «мрака самодержавия»; «схоластическое педантство» вместо «теологический педантизм»; «нецеремонную» вместо «перетоненную»; «великих талантов» вместо «великих поэтов»; «предосудительный толк» вместо «превратный толк»; «с отличным умом» вместо «с отменным умом»; «искренних католиков» вместо «искренних, фанатических католиков»; «не знали, что говорили» вместо «не знали, что творили»; «Может быть, и огромность» вместо «может быть и заключается огромность»; «попристальнее» вместо «пристальнее»; «овладеет» вместо «овладевает»; «постигает» вместо «постигнет»; «Обличавшим беззакония» вместо «обличавшим в беззаконии»; «смысл Христова слова» вместо «смысл учения Христова слова»; «А ведь это теперь не новость» вместо «А ведь все это теперь вовсе не новость»; «восклицаний» вместо «восторженных восклицаний» и т. д. и т. п.

гинала еще в Зальцбрунне самим Белинским, необычайно повышала значение всех тех списков с этого документа, которые имели хождение в России и за границей с конца 40-х годов.

Число этих списков, судя по свидетельствам современников, было очень велико. Однако, публикация текста зальцбруннского письма в «Полярной Звезде», подорвав уже в середине 50-х годов интерес к рукописным его копиям, не могла обеспечить ни их собирания, ни хранения, ни учета. Характерно, что С. А. Венгеров, впервые поставивший в 1913 г. вопрос об установлении критического текста письма Белинского к Гоголю, располагал только двумя его списками, а Н. Ф. Бельчиков и Д. Д. Благой, пытавшиеся тридцать лет спустя разрешить ту же задачу, к двум спискам, бывшим в распоряжении С. А. Венгерова (текст «Полярной Звезды» и копия А. А. Краевского) могли прибавить только копию Н. Ф. Павлова.

Разумеется, на основании этих трех случайных и явно дефектных списков, не мог быть разрешен сколько-нибудь удовлетворительно и вопрос о дефинитивном тексте Зальцбрунского письма.

Новые перспективы открылись в этом направлении лишь в результате планомерных разысканий в основных архивохранилищах СССР всех сохранившихся до наших дней копий письма Белинского к Гоголю. Работа эта, начатая нами в архивах Ленинграда еще в 1918 г., была широко развернута редакцией журнала «Литературное наследство» в связи с предстоявшим юбилеем Белинского, и успешно завершилась в 1949 г.

Критическое изучение как вновь открытых, так и ранее известных списков, дополненное учетом всех документальных и мемуарных данных о судьбе Зальцбрунского письма с момента его появления до последних юбилейных публикаций, позволило нам уяснить самую генеалогию списков, выделить наиболее точные и полные из них и установить, наконец, критическую редакцию письма, максимально близкую утраченному оригиналу¹.

Из двадцати двух копий письма Белинского к Гоголю, положенных в основание нашей работы, особенно интересен был список, обнаруженный в бумагах П. В. Анненкова в Пушкинском Доме. Этот список сохранился в особой тетради, объединявшей Зальцбрунское письмо с двумя письмами Гоголя, одно из которых предшествовало письму Белинского, а другое являлось ответом на него. Уже самое имя П. В. Анненкова,

¹ Текст письма Белинского к Гоголю, в установленной нами редакции, положен в основание публикации К. П. Богаевской «Письмо Белинского к Гоголю». В предисловии к этой публикации, с нашего разрешения, учтены (а частично и перепечатаны) те страницы настоящего исследования, которые характеризовали генеалогию списков и историю нелегального распространения письма («Литер. Наслед.», т. 56, 1950 г., стр. 526—563).

как одного из ближайших друзей Белинского, непосредственного свидетеля его работы в Зальцбрунне над знаменитым письмом, историка и мемуариста, хорошо понимавшего значение документа, а потому, конечно, своевременно обеспечившего себя возможно более авторитетным его текстом, определило и наше внимание к копии Анненкова, как, может быть, наиболее точной и полной.

И в самом деле, — несмотря на то, что список Анненкова представлял собою не автограф последнего, а писарскую копию, сделанную, видимо, во время пребывания П. В. Анненкова зимою 1848—1849 гг. в Москве, он настолько тщательно отражал некоторые детали текста первоисточника, явно искаженные в более поздних списках, что признание близости Анненковской копии к автографу Белинского не могло вызывать никаких сомнений.

Именно эта близость копии Анненкова к утраченному оригиналу позволила нам безошибочно определить решающее значение в работе над реконструкцией текста письма Белинского к Гоголю и той его копии, которая выявлена была в рукописном отделении Всесоюзной Публичной Библиотеки имени В. И. Ленина. Эта копия являлась либо первоисточником списка П. В. Анненкова, либо восходила вместе с ним к одному и тому же оригиналу.

Вновь найденный московский список анонимен, но точность и тщательность его много выше копии П. В. Анненкова. Дата списка, видимо, та же, т. е. 1848—1849 гг. Как и копия Анненкова, он начинается и замыкается письмами Гоголя. В инвентарной книге Румянцевского музея, в которой зарегистрирована эта тетрадь (на 14 листах, исписанных с обеих сторон) в ряду разных поступлений 1922 г., происхождение ее никак не отмечено. Однако то обстоятельство, что она поступила и зарегистрирована в одно время с бумагами Н. Х. Кетчера, позволяет предполагать ее принадлежность к фонду именно последнего.

В распоряжении Н. Х. Кетчера очень долго был, как известно, весь архив Белинского. Как будущему издателю сочинений критика, Кетчеру с 1848 г. передавались и уцелевшие письма Белинского к разным лицам, и материалы для его биографии. Понятно, что в распоряжении Кетчера должно было быть зальцбруннское письмо, и притом не какой-нибудь случайный его список, а копия, непосредственно восходившая к оригиналу. Связь списка П. В. Анненкова с копией Н. Х. Кетчера не подлежит сомнению¹. В этой генеалогии убеждает

¹ Список Ленинской Библиотеки озаглавлен так же, как и список П. В. Анненкова: «Б..... Г.....» (в нем нет только окончания обеих фамилий). Бумага фабрики И. Аристархова та же, что и в списке Павло-

нас не только почти полное совпадение обоих списков, от заголовка («Б.....й Г.....ю») до даты («Зальцбрунн, 15 июля н. с. 1847 г.»), от деталей оной и той же пунктуации до повторения одних и тех же описок (напр., «е» приписали все» вместо «е» принимали все»), но и отсутствие некоторых элементов текста, сохранившихся в списках Кетчера и Анненкова, во всех прочих копиях письма. Характерно, что и все разночтения копий Анненкова и Кетчера содились к нескольким явным ошибкам копииста Анненкова¹.

Список Кетчера не только старше всех известных до сих пор списков письма Белинского, но и полнее и тщательнее их. Его текст с максимальной точностью запечатлел все то, что прежде могло быть восстановлено лишь путем контаминирования наиболее авторитетных вариантов всех прочих копий. Избежав в самых ответственных местах их ошибок, более того — документировав самое понимание последних, — список Кетчера очень бережно сохранил и все те мелкие детали словесного оформления утченного оригинала, которые или вовсе выпали из более поздних, наспех изготовленных, часто «с голоса», под диктовку, «какий с копий», или оказались затемненными в них домыслами случайных переписчиков и толкователей.

Список Кетчера позволяет установить правильное чтение многих десятков слов и даже строк, пропущенных или искаженных во всех без исключения прежних публикациях письма Белинского к Гоголю. Он документирует новое чтение сентенции о русских писателях, как «единственных защитниках» от «мрака самодержавия, православия и народности». Вместо «мрака» в списках Кревского и «Полярной Звезде» читалось

ва и в списке из собрания Б. Э. Нольде в Ленинградской Государственной Публичной Библиотеке (см. о нем далее, стр. 183). Шифр московского списка — М. 5184/9а. Исключительное значение этого списка не было выяснено ни при его поступлении в 1922 г. в фонды Румянцевского Музея, ни при его описании в издании «Рукописи и переписка В. Г. Белинского». Каталог. Составила Р. М. Маторина. Под редакцией проф. Н. Л. Бродского, М., 1948 г., стр. 41. О бумагах Н. Х. Кетчера, поступивших в Музей через Е. В. Герье, племянницу А. В. Станкевича, см. материалы в «Записках Отделения рукописей гос. Публичной Библиотеки им. В. И. Ленина», вып. 9 М., 1940, стр. 5—17.

¹ Так, например, строки Белинского «надежду, честь, славу» в списке Анненкова передаются: «надежду, славу»; «самые живые, современные национальные вопросы» — «самые новые современные национальные вопросы»; «вам надо спешить лечиться» — «вам надобно лечиться»; «здорового чутья» — «здорового чутья»; «в Ревизоре и Мертвых Душах» — «в Мертвых Душах и Ревизоре»; «овладеет» вместо «овладевает»; «утешение» вместо «угнетение»; «поеду» вместо «еду». В строке «Вы не поняли ни духа, ни формы» в списке Анненкова недостает слов: «христианства нашего времени. Не истинной <христианского учения>».

«русского», а в следственных делах петрашевцев: «кулака». Столь же бесспорен вариант нового списка в строке: «и, если ее принимали все за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей—в этом виноваты только вы». В прежних публикациях письма Белинского эпитет «перетоненную» был обесмыслен опиской «нецеремонную», а вместо «земных целей» читалось «земной цели». Список Кетчера, равно как и все восходящие к нему прочие авторитетные копии, не знает слов «схоластическое педантство» (список «ПЗ») или «схоластический педантизм» (список Краевского). Вместо них четко обозначено: «теологический педантизм».

Полностью оправдывалось новыми списками и чтение строки, отсутствовавшей в тексте «Полярной Звезды» и искаженной во всех позднейших публикациях Зальцбруннского письма: «Кого русский народ называет! дурья порода, колуханы, жеребцы? — Попов». Слово «колуханы» (или «колыханы», как в списке Крзевского), ничего не говоря большей части читателей и переписчиков письма, обычно вовсе исключалось из текста Белинского или заменялось примерно равнозначным понятием «шелыганы». В известном массовом издании письма, выпущенном в 1936 г. к 125-летию со дня рождения Белинского, было предложено Н. Ф. Бельчиковым новое чтение строки о попах, основанное, вероятно, на гипотезе о том, что непонятное начертание «колуханы» могло явиться в результате искажения переписчиками эпитета «брюхаты»¹. Несмотря на то, что ни одним из дошедших до нас списков письма Белинского эта гипотеза не подтверждалась, конъектура «брюхаты жеребцы», усвоена была в 1941 г. Д. Д. Благим, как редактором трехтомника «Сочинений В. Г. Белинского» и, с ложной ссылкой на список Н. Ф. Павлова, якобы подтверждавший это чтение, перешла почти во все новейшие издания письма². Между тем, в написании «калыган», слово, употребленное Белинским, зафиксировано как верхне-волжский диалектизм, в словаре В. И. Даля: «Калыган — конский барышник; в бран-

¹ В. Г. Белинский. Письмо к Гоголю. Редакция, предисловие и примечания Н. Ф. Бельчикова, Гос. Изд. «Художественная литература», М., 1936, стр. 15. Ср. «Литературная газета» от 10.VI.1936 г., № 33.

² В. Г. Белинский. Избранные сочинения, т. III, Редакция текста Д. Благого, М., 1941, стр. 607; В. Г. Белинский. Избранные сочинения. Вступ. статья и примечания Ф. М. Головенченко, М., 1947, стр. 617; В. Г. Белинский. Письмо к Гоголю. Редакция, послесловие и примечания Ф. М. Головенченко, М., 1947, стр. 8; В. Г. Белинский. Избранные философские сочинения. Ред. текста и примечания В. С. Спиридонова, т. II, М., 1948; В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах. Том III. Редакция В. И. Кулешова, М., 1948, стр. 710.

ном значении — плут, мошенник»¹. Еще более близко к контексту Белинского звучала эта презрительная кличка в одной из сказок, записанных А. Н. Афанасьевым: «Погоди! Я его, долгогривого колухана, обтяпаю»².

Не перечисляя всех лексических, морфологических, интонационных поправок, вносимых копией Кетчера в общеизвестный текст письма Белинского к Гоголю, отметим лишь наиболее типические из них. Так, строка «А ведь всё это теперь вовсе не новость» передавалась до сих пор без слов «всё» и «вовсе»; вместо «русских мужиков» ошибочно писалось и печаталось «мужиков»; вместо «нельзя умолчать» — «нельзя молчать»; вместо «никогда и ничем» — «никогда ничем»; вместо «по Христе» — «по Христу»; вместо «и в самом деле» — «в самом деле»; вместо «их выполнение» — «их исполнение»; вместо «по натуре своей» — «по натуре»; вместо «фанатических католиков» — «католиков»; вместо «вовсе не в его натуре» — «не в его натуре»; вместо «по их направлению» — «по направлению»; вместо «только одно» — «одно»; вместо «вы не знали, что творили» — «вы не знали, что говорили»; вместо «скажете вы мне» — «вы скажете»; вместо «так почтенно» — «так почетно»; вместо «великих поэтов» — «великих талантов»; вместо «гимны устраивают» — «гимн устраивает»; вместо «осердилась» — «рассердилась» или «сердилась»; вместо «выразиться» — «выражаться»; вместо «о самом себе, как о писателе» — «о себе, как писатель»; вместо «отменным умом» — «отличным умом»; вместо «предосудительный» — «превратный»; вместо «восторженных восклицаний» — «восклицаний» и т. д. и т. п.

Показательной деталью списка Кетчера, равно как и прочих ранних копий письма Белинского к Гоголю, являются обозначения — «N» (вместо обычного «Некрасов») и «Зальцбрунн». Во всех более поздних и отдаленных от первоисточников списках вместо «N» и «Зальцбрунн» бытуют написания «Современник» и «Зальцбург»³.

Как бесспорное свидетельство близости списка Кетчера к подлиннику Белинского должно быть отмечено, наконец, и наличие в нем точной даты автографа: «15 июля н. с. 1847 г.». Справка о новом стиле — неизменная принадлежность дат всех заграничных писем Белинского, — не имела, конечно, никакого значения для копировщиков документа, и неудивительно,

¹ «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля, изд. 3-е, т. III, 1904, стр. 194.

² А. Н. Афанасьев. Русские заветные сказки, стр. 83. Место и время выхода этого издания в свет (начало 60-х годов) до сих пор не установлено.

³ Отметка «Зальцбрунн» в дате письма Белинского, опубликованного в «Полярной Звезде», является, как мы полагаем, поправкой Герцена, а не особенностью списка, бывшего в его распоряжении.

что эти две буквы («н. с.») оторвались от остального текста письма в первой же стадии его распространения. Наличие отметки «н. с.» в списках Кетчера и Анненкова—признак не только тщательности копииста, но и его пиетета к автографу¹.

Эта близость к оригиналу Белинского и гарантировала список Кетчера от тех грубых искажений словесной ткани письма, которыми испещрены были все прочие его списки. В копии Кетчера подлежат исправлению лишь две мелких описки («ее приписали все» вместо «ее принимали все»; «истиною» вместо «истинного») и две неточности, связанные с пропуском слов: «у нас легок» вместо «у нас так легок»; «энтузиазм» вместо «их энтузиазм». Эти явно ошибочные чтения легко исправляются на основании вариантов, засвидетельствованных прочими авторитетными копиями².

Незначительность и случайность всех дефектов текста письма Белинского к Гоголю в копии Кетчера наглядно подтверждается сравнением с ней даже родственных ей списков. Так, например, одна из старейших копий Зальцбруннского письма, обнаруженная в архиве декабриста Е. П. Оболенского (дата этой копии—19 декабря 1848 г.), сохраняя основные особенности прототипа, запечатленные в списках Анненкова и Кетчера (в том числе «мрак самодержавия», «перетоненная проделка», «теологический педантизм», «колуханы», «N» вместо «Некрасов», «Зальцбрунн» и пр.), имела уже около двадцати самых неожиданных ошибок («кровью связанный» вместо «кровно связанный», «верховного просветления» вместо «духовного просветления»; «светские силы» вместо «свежие силы»; «тогда рассказал» вместо «тогда же сказал»; «я не более вознегодовал бы на вас» вместо «я не более возненавидел бы вас»; «памятник всем статьям» вместо «памятнее всеми статьями» и т. д.). Отсутствовала в дате этого списка и отметка «н. с.», характерная для прототипа³.

Очень близки к списку Кетчера были копии письма Белинского к Гоголю, сохранившиеся в архиве И. Е. Забелина (Го-

¹ Факсимильное воспроизведение первого и последнего листов списка Кетчера см. в «Литерат. Наследстве», т. 56, стр. 573—574.

² Более сложно разрешение вопроса о такой детали списка Кетчера, как «Она не так красива и не так безопасна». В некоторых списках, правда, не всегда авторитетных, мы читаем: «Оно не так красиво и не так безопасно». В первом случае «Она» имеет в виду «красоту самодержавия», а во втором—«оно» относится уже не к красоте, а к самому «самодержавию», которое, конечно, «вблизи не так красиво и не так безопасно».

³ Копия письма Белинского, сохранившаяся в архиве кн. Е. П. Оболенского, входит в тетрадь, озаглавленную: «Корреспонденция Г...ля с Б.....м». В этой тетради находятся и два письма Гоголя к Белинскому

сударственный Исторический Музей) и в коллекции Н. П. Рогожина (там же). Для этих копий характерно, однако, большое количество пропусков и описок, мешающих правильному восприятию текста. В обоих списках «Зальцбрунн» заменяется «Зальцбургом», и лишь в списке Рогожина сохранилась отметка «н. с.»¹.

К группе старейших московских копий «Письма» восходил и список, обнаруженный следственными органами в бумагах Н. Ф. Павлова в 1855 г. Однако, несмотря на имя Н. Ф. Павлова, для которого список этот был изготовлен, его текст ни в какой мере нельзя было бы признать авторитетным. В копии Павлова (сохранивший такие особенности текстов Кетчера и Анненкова, как «колханы», «русских мужиков», «теологический педантизм», «еретическую», «фанатических католиков», «и заключается огромность», «мрак самодержавия», «восторженных восклицаний») были грубо искажены и сбивались местами даже не пересказ самые ответственные политические формулировки. Так, например, известные строки—«Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть»—в списке Павлова передавались в следующей усеченной и извращенной редакции:

«Национальные вопросы в России. 1) уничтожение крепостного имущества, 2) отменение телесного наказания, 3) введение по возможности строгого выполнения тех законов, которые уже есть».

В списке Павлова все отсутствовали такие строки, как «Но смысл учения Христова слова открыт философским движением прошлого века», как «Ваша книга испугала меня возможностью дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику». Вместо «Чичиковы, Ноздревы, Городничие» в списке Павлова читается: «Ноздрев, Городничий»; вместо «действительно не совсем лестным»—«не совсем лестным»; вместо «под покровом»—«под покровительством»; вместо «самого большого»—«большого»; вместо «только как художника»,—«как художника»; вместо «и навозе»—«и неволе»; вместо «права и законы»—«правительство и законы»; «неужели вы искренно»—«вы искренно»; вместо «ясности и положительности» — «яснее и положительнее»; вместо «нетерпимости и фанатиз-

¹ В тексте письма Елицинского к Гоголю в архиве И. Е. Забелина (тетрадь на 18 листах, включающая, кроме письма Белинского, два письма к нему Гоголя) интересны следующие варианты: «приписали» вм. «принимали»; «только нечем откупиться» вм. «нечем откупиться»; «она ведь всегда была» вм. «она всегда была»; «непогрешительную истину» вм. «неоспоримую истину»; «выражаться» вм. «выразиться».

ма»—«нетерпимости»; вместо «очень близких к вам»—«к вам близких»; вместо «подобных убеждений» — «ваших убеждений»; вместо «затмили»—«заменяли»; вместо «великих поэтов»—«всяких поэтов»; вместо «стихотворения»—«сочинения»; вместо «камер-юнкерскую»—«камергерскую»; вместо «осердилась»—«рассердилась»; вместо «позорно провалилась»—«провалилась»; вместо «самодержавия, православия, народности»—«православия и народности», вместо «цинически-грязно» — «ученически грязно»; вместо «вы только омрачены»—«вы омрачены»; вместо «теперь всяк человек»—«всяк человек»; вместо «формы»—«философии»; вместо «пера автора»—«автора»; вместо «по человечески»—«нечеловечески»; вместо «рассердило бы меня»—«расстроило меня»; вместо «чужие письма» — «письма»; вместо «сегодня же еду»—«поеду сегодня»; вместо «и Некрасов»—«и Современник».

Очень характерны для копии Павлова произвольная перестановка слов (вм. «нашли общего»—«общего нашли»; вместо «близких к вам»—«к вам близких»; вместо «вполне исчерпано»—«исчерпано вполне» и т. п.), замена одних глагольных форм другими (вместо «написали бы вы»—«писали бы вы» вместо «надо спешить»—«надобно поспешить»; вместо «Приглядитесь»—«Приглянитесь»; вместо «овладевает»—«овладеет»; вместо «передавши»—«передавая»; вместо «не хотят»—«не хотеть»; вместо «ошибался»—«ошибаюсь», и т. п.); произвольная замена союза «и» запятой (вместо «здравым смыслом и справедливостью»—«здравым смыслом, справедливостью»; вместо «чорта и ада»—«чорта,ада» и т. д.)¹.

¹ Копия Н. Ф. Павлова, первые сведения о находке которой появились еще в 1936 г. в статье Я. З. Черняка («Красная Новь» 1936, кн. VII), до последнего времени оставалась неизученной и даже неописанной. Правда, Д. Д. Благой, редактируя в 1941 г. текст письма Белинского к Гоголю, отмечал, что список Н. Ф. Павлова, как «один из самых авторитетных», положен был якобы «в основу» установленной им редакции этого документа. («Избранные сочинения В. Г. Белинского», т. III, М., 1941, стр. 605—612 и 805—806). Однако условия массового издания, видимо, не позволили Д. Д. Благому охарактеризовать ни особенностей нового списка, ни тех принципов, которыми он руководствовался, принимая или отвергая те или иные его варианты при «уточнении текста».

Произведенное нами сличение списка Н. Ф. Павлова с текстом письма в «Избранных сочинениях В. Г. Белинского» позволило установить, что из ста с лишним вариантов копии Павлова Д. Д. Благой воспользовался только четырьмя: «перетоненную» вместо «нецеремонную» (стр. 605); «будешь без вины виноватым» вместо «быть без вины виноватым» (стр. 607); «своему византийскому богу» вместо «византийскому богу» (стр. 609); «овладеет религиозный дух» вместо «овладевает религиозный дух» (стр. 608). Из этих четырех вариантов бесспорному включению в канонический текст письма подлежит только первый; второй и третий — очень сомнительны; четвертый — явно ошибочен. Мы ни в какой мере не склонны упрекать Д. Д. Благого за то, что он в действ-

Список Павлова—один из типичных массовых списков, стоящих на грани полной текстовой деформации. Мы остановились с такой обстоятельностью на особенностях его вариантов только для того, чтобы резче оттенить его отход от текстов Кетчера и Анненкова, более тесно и непосредственно связанных с первоисточником, восходящим к оригиналу Белинского.

11.

Признаки деформации, обнажившиеся в копии письма Белинского к Гоголю, принадлежавшей Н. Ф. Павлову, в той или иной степени определяют характер искажений текста этого документа и почти во всех прочих его списках. Старейшим из них является список, обнаруженный в архиве М. И. Пущина.

Как и копия Павлова, список Пущина генетически связан с копиями Анненкова и Кетчера. В инвентарных описях Пушкинского Дома список Пущина датируется концом 40-х годов. Эта датировка, конечно, очень условна и не имеет большого значения, ибо исключительная небрежность переписчика до крайности суживает возможности правильного учета его вариантов. Так, например, бережно сохраняя контуры ранних списков письма, повторяя даже такую характернейшую описку копии Анненкова, как пропуск нескольких слов в предложении о «духе и форме христианства нашего времени», список Пущина некоторыми своими разночтениями уже близок копиям Краевского и Чижова («Просвещение» вместо «просветление», «Зальцбург» вместо «Зальцбрунн»). Точная передача очень тонких деталей списков Анненкова и Кетчера совмещается в копии Пущина с грубыми искажениями самых элементарных словосочетаний («Да, я люблю вас» вместо «Да, я любил вас», «папы, архимандриты» вместо «попы, архиереи»; «непристойную» вместо «похабную»; «спину» вместо «задницу»; «заступников» вместо «защитников»; «атеизму» вместо «китаизму»; «рабскими» вместо «робкими»; «я ошибаюсь в моих о вас понятиях» вместо «я ошибался в моих о вас заключениях» и т. д. и т. п.)¹.

Пущин не сделал того, что обещал в своих примечаниях, т. е. не изложил «в основу своего текста новый список». Последний настолько неправилен, что без дополнительных разысканий не могло быть и речи даже о частичном предпочтении его спискам ранее известным. Но, фактически положив в основу своего издания текст С. А. Венгерова, Д. Д. Благой почему-то не учел и бесспорно ценных вариантов Павловского списка, которые в самом деле могли бы существенно уточнить его работу. Важнейшие из этих вариантов отмечены нами выше.

¹ Список М. И. Пущина — писарской, малограмотный, входит в тетрадь, озаглавленную «Переписка Гоголя с Белинским». Местонахождение списка — Пушкинский Дом Академии Наук СССР.

Более близки к прототипу, несмотря на элементы той же деформации, которую мы установили в копиях Павлова и Пушкина, списки письма Белинского к Гоголю, хранящиеся в Историческом музее в Москве, в составе собрания П. И. Щукина¹ и в Пушкинском Доме, в собрании В. Ф. Груздева.

Список Щукина датируется началом 1854 г. Как и в списке Павлова, в нем сохранились некоторые характерные черты самых ранних и авторитетных копий (напр., «мрака самодержавия», «теологический педантизм», «перетоненную проделку», «по Христе» и т. д.). Однако к автографу Белинского копия из собрания П. И. Щукина восходила, видимо, какими-то своими путями, не зависевшими от линии списков Анненкова и Кетчера. В ней нет, например, таких описок, как «приписали все» вместо «принимали все», «легок» вместо «так легко», «энтузиазм» вместо «их энтузиазм». Но, наряду с этим в Щукинском списке вместо «Зальцбрунн» появляется «Зальцбург», «N» <Некрасов?> неправильно расшифровывается, как «Современник», а о резко выраженной безответственности копииста свидетельствует обилие таких искажений, как «бедных негров» вместо «белых негров», «купеческого права» вместо «крепостного права»; «цинически-грозно» вместо «цинически-грязно»; «истинную добродетель» вместо «истину и добродетель»; «затоптанного» вместо «потерянного»; «покорным унижением» вместо «позорным унижением»; «скотам» вместо «сатане»; «так тяжело» вместо «так почтенно»; «характер» вместо «толк» и пр.

Список В. Ф. Груздева, датируемый началом 60-х годов, столь же неисправен. Правда, со списками Кетчера и Анненкова его роднят такие варианты, как «теологический педантизм», «колуханы», «великих поэтов», «мрака самодержавия», «восторженных восклицаний», но в нем не мало пропусков не только отдельных слов, но и целых строк, много и прямых искажений («пересоленную» вместо «перетоненную», «агенту» вместо «адепту», «Пашками» вместо «Палашками», «мраколюбия» вместо «мракобесия», «ваши папы» вместо «ваши попы», «сродницей деспотизма» вместо «угодницей деспотизма», «Зальцбург» вместо «Зальцбрунн»)

Все охарактеризованные нами списки, независимо от времени их составления и степени авторитетности, особенностями отступлений от прототипа объединяются в определенную груп-

¹ Список входит в рукописный сборник «Статьи о Гоголе и его сочинениях» (Гос. Историч. музей, фонд. 343/10, инвентарный номер 23989/125). Сборник начинается копией статьи Белинского о «Выбранных местах» в «Современнике» 1847 г. и включает два письма Гоголя и Зальцбрунский ответ Белинского. Фамилия составителя сборника отмечена очень неразборчиво.

пу, первоисточником которой условно можно считать оригинал списка Н. Х. Кетчера (ЛБ).

Списки этой группы довольно резко противостоят позднейшим спискам петербургского происхождения, особенности которых запечатлены в текстах «Полярной Звезды», А. А. Краевского, и в официальных следственных материалах о петрашевцах.

Списками промежуточного типа, сочетающими особенности копий первой группы с мелкими искажениями, стабилизировавшимися в списках группы второй, являются копии письма Белинского в собраниях Н. Я. Колобова, Б. Э. Нольде, М. А. Васильева, М. И. Семевского, в Премухинском архиве Бакуниных и в публикации В. П. Чижова¹.

Список из собрания Б. Э. Нольде, поступивший в Ленинградскую Государственную Публичную Библиотеку в 1919 г., не датирован, и происхождение его неизвестно. Бумага калужской фабрики И. Аристархова (та же, кстати сказать, что и в списке Н. Х. Кетчера) позволяет отнести его к концу 40-х или к началу 50-х годов. Как признак более поздних списков, в копии ГПБ надлежит отметить неполноту датировки (отсутствие отметки «н. с.»), двукратное «Зальцбург» (вместо «Зальцбрунн»), исправление первоначально написанного «N» на «Современник». Список сделан, видимо, с очень неисправного оригинала и сочетает искажения первоисточника с новыми ошибками копииста, домыслы которого порою совершенно искажают письмо. Так, вместо «она», т. е. Россия, в строке «ей нужны не проповеди, не молитвы» появляется двукратное «мы»: «довольно мы слышали их! довольно мы твердили их!» Вместо «Чичиковы, Ноздревы, Городничие» в списке оазываются «Ваши Чичиковы» и пр.: «неумытое рыло» заменяется «невывытым рылом»; в сентенции «Это теперь не новость для всякого гимназиста» вместо «гимназиста» мы читаем «студента»; вместо «ваше письмо» — «ваши письма»; вместо «колуханы» — «шелыганы»; вместо «похабную сказку» — «соблазнительную сказку»; вместо «в ложном отношении» — «в ложном положении»; вместо «менее резко» — «менее верно»; вместо «у него есть будущность» — «у нас есть будущность»; вместо «у русского человека» — «у русского общества»; вместо «тяжко зрелище унижения» — «тяжело зрелище унижения» и т. п. Несколько десятков

¹ Предельным искажением текста письма Белинского к Гоголю является его список, переходящий, местами, в совершенно произвольный пересказ, в собрании петербургского библиофила П. А. Картавцева. Об этом списке, предназначавшемся для публикации в сборнике «Литературный архив» в 1902 году, но запрещенном цензурой, см. данные К. П. Богаевской в «Литературном Наследстве», т. 56, стр. 567.

пропусков, описок и произвольных перестановок слов свидетельствует о небрежности копииста ГПБ в такой же степени, как прямые искажения текста подтверждают неисправность его оригинала.

Однако, наряду с этим, список ГПБ дает варианты, характерные и для самых ранних списков письма Белинского, и для позднейших его искаженных копий. К числу первых относятся такие чтения, как «мрак самодержавия», «перетоненная проделка», «теологический педантизм», такие же описки, как и в копии Кетчера («приписали все», «она не так красива и не так безопасна»). К числу вторых принадлежат мелкие варианты, роднящие список ГПБ с копиями Краевского и «Полярной Звезды» и неизвестные более авторитетным спискам: «любовь свою» вместо «любовь мою»; «их исполнение» вместо «их выполнение»; «более сын» вместо «больше сын», «овладеет» вместо «овладевает»; «постигает» вместо «постигнет»; «так почетно» вместо «так почтенно»; «отличным умом» вместо «отменным умом» и т. п.

Некоторые характерные особенности списка ГПБ роднят его с копией письма Белинского, хранящейся в собрании М. А. Васильева. В списке Васильева, правда, нет тех произвольных добавлений к тексту, которых так много в копии ГПБ, но самый факт повторения в обеих копиях таких вариантов, как «мрак самодержавия», «перетоненная проделка», «Зальцбург», «шелыганы», нельзя признать случайным¹.

В такой же степени был далек от первоисточника список письма Белинского к Гоголю, хранившийся в Премухинском архиве Бакуниных (нынешнее его местонахождение—Пушкинский Дом). Его неточности и пробелы—результат неисправности его оригинала, во-первых, и малограмотности переписчика, во-вторых. Так, например, вместо «апатического полусна» в копии Бакунина появилось «стратегического полусна»; вместо «схоластический педантизм» — «педагогический педантизм»; вместо «неумытые рыла» и «неумытое рыло» — «неумытые рожи» и «неумытая рожа»; вместо «во всеобщем презрении у русского общества и русского народа» — «в презрении общественном у русского народа»; вместо «опорою кнута» — «подпорою кнута»; вместо «адепту из помещиков» — «одному из помещиков»; вместо «приняло за основание принцип ортодоксии» — «приняло за правило ортодоксию церкви».

Некоторые искажения Бакунинской копии совпадали с описками копии Краевского («А потом невежества» вместо «апостол невежества», «просвещения» вместо «просветле-

¹ Данные о списке М. А. Васильева (Пушкинский Дом) см. в «Литерат. Наследстве», т. 56, стр. 569.

ния»). В то же время один из характернейших вариантов копии Бакуниных «ш....., жеребцы» явно восходил к первоисточнику списков М. А. Васильева и ГПБ («шелыганы, «жеребцы» вместо более правильного «колыганы, жеребцы»). Список Премухинского архива не имеет двух заключительных слов письма и даты. Рукою переписчика отмечено: «окончания нет».

12.

Список А. Н. Плещеева, являвшийся самой ранней из известных нам петербургских копий письма Белинского к Гоголю, не сохранился. На вечере у Петрашевского 15 апреля 1849 г. прочитан был не плещеевский текст письма, а копия с него, сделанная П. Н. Филипповым. Именно эту копию получил для размножения поручик Н. А. Момбелли, недостаточная осторожность которого привела к тому, что криминальный документ очень скоро и легко оказался в распоряжении следственных органов. Список, временно находившийся в распоряжении Момбелли, сохранился как «вещественное доказательство» в секретной части архива Аудиториатского департамента («Дело поручика л.-гв. Московского полка Момбелли»). Изучение этой копии позволяет установить, что характернейшие особенности всей группы списков письма Белинского к Гоголю, которые мы условно определили выше, как петербургские (списки Краевского, Чижова, Семевского, «Полярной Звезды» и др.), восходили, как к первоисточнику, к копиям А. Н. Плещеева и Н. А. Момбелли.

Каковы же эти особенности, которые мы имеем все основания считать признаками списков, гораздо более отдаленных от оригиналов Белинского, чем копии Кетчера, Анненкова, Забелина, Оболенского и др.? Ответить на этот вопрос нетрудно. Все варианты списков Плещеева и Момбелли прежде всего сокращали и обедняли текст подлинника. Например, для списков этой группы характерны следующие написания, восходящие к копии Н. А. Момбелли: «мужиков» вместо «русских мужиков»; «а ведь это не новость» вместо «а ведь это теперь вовсе не новость»; «по натуре» вместо «по натуре своей»; «искренних католиков» вместо «искренних фанатических католиков»; «не в его натуре» вместо «вовсе не в его натуре»; «огромность» вместо «и заключается огромность»; «вы скажете» вместо «скажете вы мне»; «плодом» вместо «плодом только»; «о себе» вместо «о самом себе»; «восклицаний» вместо «восторженных восклицаний». Это, во-первых. Во-вторых, — в петербургских списках и, в частности, в копии Н. А. Момбелли впервые появляются такие варианты, как: «схоластическим педантством» вместо «теологическим педантизмом»; «которое» вместо «ка-

кое»; «любовь свою» вместо «любовь мою»; «исполнение» вместо «выполнение»; «говорили» вместо «творили»; «талантов» вместо «поэтов»; «сам себя» вместо «самого себя»; «превратный» вместо «предосудительный»; «заблуждался» вместо «ошибался»; «однохвостного» и «треххвостный» вместо «однохвостый» и «треххвостый».

Мы не останавливаемся на более мелких неточностях (перестановки и пропуски отдельных слов, произвольные знаки препинания, падежные и временные изменения, единственное число вместо множественного и наоборот), общее число которых доходит до шестидесяти. В списке Момбелли находим мы и некоторые варианты, которые не повторяются ни в одном из известных нам списков письма Белинского к Гоголю. Важнейшие из них: «Не очень лестным» вместо «не совсем лестным»; «перетонченную» вместо «перетоненную»; «высокое открытие» вместо «великое открытие»; «организовалось» вместо «организовалось»; «буквально бумаге» вместо «бумаге»; «заклучение» вместо «заклучительное слово». Однако у нас нет оснований утверждать, что эти варианты были и в списке А. Н. Плещеева. Самые условия переписки письма Белинского—конспиративность, спешка, нечеткие оригиналы, не всегда грамотные копировщики—предрасполагали к невольному извращению текста в первых же стадиях процесса его размножения. Красноречивым подтверждением этого положения является список письма Белинского к Гоголю, сделанный профессиональным копистом Комаровым непосредственно с оригинала, данного ему Момбелли.

Писарь 3-й гвардейской пехотной бригады Комаров, привыкший с особой тщательностью относиться к своей работе, изготовил довольно точную копию текста Момбелли. Однако уже в этой первой писарской копии оказались отличия от ее первоисточника. Вместо «этот эпитет слишком слаб» Комаров написал «этот этикет слишком слаб»; вместо «кровно связанный»—«кровью связанный»; вместо «враги ваши»—«ваши враги» и т. д. В копии Комарова уже после приобщения ее к делу Момбелли сделаны были (на основании, вероятно, ошибочных уточнений этого текста в показаниях кого-либо из петрашевцев) два существенных карандашных изменения: «кнутобесие» вместо «мракобесие» и «кулак самодержавия» вместо «мрак самодержавия». Эти варианты дошли до нас и в тех цитатах из письма Белинского к Гоголю, которые сохранились в одной из секретных сводок III Отделения¹ и в обвинитель-

¹ Архив III Отделения, 1-я экспедиция. № 214. По розысканию Липранди и донесениям Антонелли о Буташевиче-Петрашевском и его товарищах, ч. 142, л. 164 об.

ном заключении по делу «неслужащего дворянина Алексея Плещеева» в докладе генерал-аудиториата¹.

Копия, размножением которой занимался петрашевец Момбелли, легла в основание многочисленных петербургских списков письма Белинского к Гоголю, имевших хождение по всей стране с весны 1849 г. по конец 50-х годов². К числу этих списков принадлежала и копия, сохранившаяся в коллекции купца Н. Я. Колобова (Государственная Публичная Библиотека в Ленинграде). Копия эта, не поддающаяся точной датировке, очень неисправна, но некоторые особенности ее позволяют существенно уточнить генеалогию многих из дошедших до нас списков.

Со списком Момбелли копию Колобова роднят такие детали текста, как «схоластическое педанство» вместо «теологический педантизм»; «превратный толк» вместо «предосудительный толк»; «вы не знали, что говорили» вместо «вы не знали, что творили»; «о Христе» вместо «по Христе»; «истиною Христовою» вместо «истинного Христова учения» и т. д. Но, наряду с этими отступлениями от канонического текста, повторяющимися во многих списках (Краевского, «Полярной Звезды». Чижова и др.), в копии Колобова наблюдаются уникальные варианты, объясняющие самый процесс порчи тех или иных мест текста Белинского под пером его копиистов. Так, например, строки о «чересчур перетоненной проделке» переходят в списке Момбелли в «перетонченную проделку», а в копии Колобова в «переточенную проделку». Следующий копиист, пытаясь осмыслить явную опisku своего предшественника, вместо эпитета «перетоненную» вводит в текст предположительное чтение «бесцеремонную», которое и утверждается затем в десятках новых списков (Краевского, Семейского, «Полярной Звезды» и пр.). Точно такими же путями «великое открытие» (все московские списки) переходило в списке Момбелли в «высокое открытие», а в списке Комарова во «всякое открытие»³.

¹ «Петрашевы». Сборник материалов. Ред. П. Е. Щеголева. Т. III. М.—Л., 1927, стр. 211—213. В этих же «выписках» оказались и такие явные описки, как «неимоверно выше» вместо «неизмеримо выше», «свежие мысли» вместо «свежие силы».

² При копировке текста Плещеева, судя по разнице почерков в первой и во второй частях списка, П. Н. Филиппов воспользовался помощью двух лиц, фамилии которых не установлены.

³ Важнейшие искажения текста Белинского в списке, хранящемся в коллекции Н. Я. Колобова: «Ваш Чичиков, Ноздрев, Городничий» вместо «Чичиковы, Ноздревы, Городничие»; «самопознанию» вместо «самосознанию»; «не организовалась церковь и не приняла» вместо «не организовалась в церковь и не приняла»; «нарушивший» вместо «потушивший»; «эверской власти» вместо «светской власти»; «протопопова дочь» вместо

Вовсе не поддается уяснению генеалогия нескольких выписок из письма Белинского к Гоголю, включенных в рукописный сборник 1858—1859 гг., хранящийся ныне в Государственной Публичной Библиотеке в Ленинграде. Эти три выписки объединяли наиболее ответственные политические формулировки Белинского: 1. От начала письма («Вы только отчасти правы») до слов «в апатическом полусне», 2. От слов «Проповедник кнута» до «перед нею числительно»; 3. От слов «Вы, сколько я вижу» до «падению вашей книги». Эти выписки изобиловали грубейшими извращениями текста¹, в котором оказались объединенными варианты как московских, так и петербургских списков: «любовь мою» вместо «любовь свою», «выполнение» вместо «исполнение» (Анненковская копия); «сочинения» вместо «стихотворения» (списки Павлова и Пушкина); «принимали» вместо «приписали», «хорошо вам» вместо «вам хорошо» (список Краевского); «шалыганы» вместо «колуханы» (списки Нольде и Васильева).

Позднейшими переосмыслениями и пробелами были искажены копии Зальцбруннского письма в архиве М. И. Семевского и в публикации В. П. Чижова.

О списке В. П. Чижова (точнее, о тех цитатах, которые только и дошли до нас из этого списка) мы упоминали уже в обзоре первопечатных текстов письма Белинского. Список же М. И. Семевского, датированный переписчиком «12 августа 1858 г.», сделан был в Петербурге, восходил к хорошему оригиналу, но особой тщательностью не отличался². Рукою М. И. Семевского в списке сделано много уточнений, но рабо-

«попова дочь»; «и если еще не дошли» вместо «смело дошли»; «русскую литературу» вместо «Пушкина, литературу»; «оставили» вместо «отставали»; «служение» вместо «смирение»; «в Англию» вместо «с Анненковым». Вариант списка Колобова—«непристойную сказку» (вместо «похабную сказку») встречается и в списке Пушкина.

¹ Важнейшие искажения текста Белинского в «Сборнике 1858—1859 гг.»: «Васьками, Степками, Палашками»; «под защитой религии и покровом кнута»; «татарских прав»; «духовенство народное» вместо «духовенство»; «и в уме и воле» вместо «в уме»; «грубым невежеством» вместо «диким невежеством»; «книги вредной» вместо «зловредной книги»; «барометр» вместо «характер»; «простую книгу» вместо «плохую книгу».

² Список входит в состав большого рукописного сборника М. И. Семевского в виде особого раздела: «Переписка Н. В. Гоголя с В. Белинским, возникшая вследствие выхода в печать книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» 1847 г. (1. Письмо Гоголя к Белинскому от 8. VI. 1847 г. 2. Ответ Белинского. 3. Ответ Гоголя от 10. VIII. 1847 г.). В списке много неточностей, пропусков и искажений. Так, например, в строке «Ваньками, Васьками, Степками, Палашками» последнего имени не сохранилось. Вместо «чуждым ему» появилось «чуждым всему», вместо «на пути сознания» — «на пути познания»; вместо «смысл учения Христова слова» — «смысл учения Христова снова». Последняя описка характерна и для копий из собраний Пушкина и Щукина.

та эта не доведена до конца. В списке сохранилась точная дата оригинала письма: «июля 15 (нового стиля)», архаическое «N» (вместо «Некраов»), но уже вместо «мрака самодержавия» оказалось «русского самодержавия» (как в списках Краевского и в «П. З»), вместо «перетоненную» — «нецеремонную» (как в тех же списках), вместо «Зальцбрунн» — «Зальцбург», вместо «глубоко-искреннего» — «глубокого, искреннего»; вместо «почесывают себе» — «почесывают у себя»; вместо «гимн» — «гимны», вместо «о том вопле» — «о тех воплях»; вместо «никогда не идели» — «не видели»; вместо «больше сын Христа» — «более сы Христа»; вместо «о себе, как о писателе» — «о себе, как писатель» и т. п.

В списках М. И. Семевского и А. А. Краевского так много совпадений, что вопрос об общем их первоисточнике не вызывает никаких сомнений. Однако, даже если бы этот прототип петербургских дисков и был обнаружен (мы полагаем, что он совпадал с юпией письма Белинского, пересланной А. Н. Плещеевым всною 1849 г. из Москвы Достоевскому), его вхождение в научно-исследовательский оборот ни в какой мере не могло бы поколебать нашего разрешения вопроса о дефинитивном тексте письма Белинского к Гоголю.

13.

Как материал для истории текста письма Белинского к Гоголю должны быть учтены и черновые наброски ответа на это письмо, сохранившиеся в бумагах автора «Выбранных мест из переписки с друзьями». В окончательной редакции этого письма Гоголь, как известно, отказался от полемики с Белинским по существу поднятых последним больших проблем, но в начальных вариантах своего ответа предполагал, видимо, опровергать Зальцбрунское письмо даже по пунктам. Принципиальные положения Белинского Гоголь поэтому старался передать возможно точнее, отчего они и ощущаются в черновых его набросках почти как цитаты.

Разумеется, если бы цитация Гоголя оказалась совершенно точной, то, при отсутствии автографа Зальцбрунского письма, она могла бы в некоторых случаях получить значение первоисточника, гораздо более авторитетного, чем любой из дошедших до нас списков этого документа.

Ближе всего наминает цитату сентенция, включенная в начальные строки ответа Гоголя на письмо Белинского. К сожалению, именно эта сентенция дошла до нас лишь в виде обрывков случайных фраз и слов, реконструкция которых (в ломанных скобках наши дополнения к тексту) очень условна: <С чего начать мы> ответ на ваше письмо, <если не с ваших же слов:> Опминтесь, вы стоите <на краю> бездны.

Во всех дошедших до нас списках письма Белинского последние строки имеют иную редакцию, а именно: «Взгляните себе под ноги,—ведь вы стоите над бездною».

Мы готовы были бы предпочесть в данном случае чтение Гоголя («Опомнитесь, вы стоите на краю бездны» вместо «Взгляните себе под ноги,—ведь вы стоите над бездною»), если бы все прочие его ссылки на слова Белинского не оказались явными пересказами подлинника, подрывая тем самым и авторитетность первой его цитаты.

Так, например, строки Гоголя: «Вы извиняете себя тем, что вы писали в гневном расположении духа» имели в виду сентенцию Белинского: «Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека». Так, например, строка: «Вы говорите, что Россия долго и напрасно молилась» имела в виду формулировку Белинского «Ей нужны не молитвы (довольно она твердила их!)». Так, если в письме Белинского был вопрос: «Неужели вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству?», то в передаче Гоголя получалось. «Отчего вам показалось, что я спел тоже песнь нашему, как выражаетесь, гнусному духовенству?». Если Белинский писал: «Ведь это теперь не новость для всякого гимназиста», то в ответе Гоголя эта строка передавалась: «Это известно всякому ученику гимназии». Если Белинский утверждал, что «Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу», то в ответе Гоголя этот текст оказывался преобразенным в строках: «Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к религии и что говоря о боге он чешет у себя другой рукой пониже спины». Если Белинский писал: «Не без некоторого чувства самодовольствия скажу вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику», то в интерпретации Гоголя это признание звучало гораздо претенциознее: «Еще меня изумила эта отважная самонадеянность, с которою вы говорите, что я знаю о народе и духе его».

Таким же резким переосмыслением высказываний Белинского являлись в ответе Гоголя строки: «Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации; но какое это беспредельное и безграничное слово! Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации!» Как известно, Белинский нигде об «европейской цивилизации» в своем письме прямо не упоминал. Гоголь, вероятно, имел в виду в данном случае знаменитую формулировку: «Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности».

Выделяя из первой редакции ответа Гоголя на Зальцбруннское письмо все те места, которые являлись передачей конкретных высказываний Белинского, мы пользовались автографом Гоголя, хранящимся в рукописном отделении Всесоюзной публичной библиотеки им. В. И. Ленина, а не реконструкцией его, сохранившейся в бумагах П. А. Кулиша и частично опубликованной В. И. Шенроком¹.

Анализ этого автографа, точнее, его фрагментов, ибо ответ Гоголя дошел до нас лишь в виде обрывков мелко изрезанных листов, позволил установить, что передача Гоголем формулировок Белинского имела в виду только их смысл и являлась не цитацией в строгом смысле этого слова, а передачей текста Белинского или по памяти или путем сжатого и предельно упрощенного пересказа.

Ко времени работы Гоголя над его ответом на Зальцбруннское письмо относилось и его упоминание о последнем в записке к А. П. Толстому: «Кстати о Белинском. Я получил от него недавно письмо, которое, по словам его, само просилось вследствие моего приглашения всем говорить мне правду. Письмо, действительно чистосердечное и с тем вместе изумительное уверенностью и непреклонностью своих убеждений. Он видит совершенно одну сторону дела и не может даже подумать равнодушно о том, что существует и может существовать другая сторона того же дела»².

14.

Эта «уверенность и непреклонность своих убеждений», столь характерная для политического пафоса революционного демократа и столь непонятная автору «Выбранных мест из переписки с друзьями», обусловила почти дословное использование Белинским в тексте Зальцбруннского письма некоторых формулировок, известных внимательным читателям его статей задолго до его полемики с Гоголем³. Так, например, еще в октябре 1845 г., рецензируя третью книгу «Сельского чтения», Белинский отмечал в «Отечественных Записках»: «Одно, что мы можем не похвалить в «Сельском Чтении»,—это употребле-

¹ Письма Гоголя. Редакция В. И. Шенрока, т. IV, стр. 32—41. (Первоначально в книге П. А. Кулиша «Записки о жизни Н. В. Гоголя», т. II, СПб., 1856, стр. 108—113). См. «Рукописи и переписка В. Г. Белинского». Каталог. Составила Р. П. Маторина, М. 1943, стр. 27.

² Письма Н. В. Гоголя. Редакция В. И. Шенрока, т. IV, стр. 74. Первоначально в «Сборник в память С. А. Юрьева», М., 1892, стр. 263—264.

³ Этим вниманием, к сожалению, не отличались позднейшие исследователи Белинского. Факты, отмеченные нами, остались неучтенными и в статье Е. А. Василевской «Язык и стиль письма Белинского к Гоголю» («Русский язык в школе» (1947, № 4, стр. 1—8), впервые наметившей (правда, еще в очень примитивной форме) основные линии изучения стилистики Зальцбруннского письма.

ние презрительно-уменьшительных собственных имен: Ванюха, Ванька, Сенька, Васька, Машка, и т. п. «Сельское Чтение» должно способствовать истреблению, а не поддержанию отвратительного обычая называть себя не христианскими именами, а кличками, унижающими человеческое достоинство»¹.

Именно эти строки вспомнились Белинскому в 1847 г., когда, подчеркивая «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе», он негодуяще характеризовал «страну, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками».

Такова же была функция в Зальцбруннском письме и формулировки, брошенной в рецензии на «Повести, сказки и рассказы казака Луганского» в феврале 1847 г.: «Мужик—наш брат по Христу, и этого довольно, чтобы мы изучали его жизнь и его быт, имея в виду их улучшение»².

Именно эти строки развернуты были Белинским в его уничижающей тираде по поводу советов Гоголя «Русскому помещику»: «Если бы вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова учения—совсем не то написали бы вы вашему адепту из помещиков; вы написали бы ему, что так как его крестьяне—его братья по Христу, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или, хоть, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном, в отношении к ним, положении»³.

¹ «Отечественные Записки» 1845, № 10, отд. VI, стр. 58. Ср. негодующие строки Белинского о «русских помещичьих домах, где беспрестанно раздаются клички: девка, малый, Ванька, Филька, Палашка, Машка» («Отеч. Зап.» 1841, № 2, отд. VI, стр. 48—49. Ср. «Литерат. На следство», т. 56, стр. 38). К этому же положению Белинский возвращался и в своей последней программной статье, отмечая, как центральную мысль романов Герцена — «Мысль о достоинстве человеческого, которое унижается предрассудками, невежеством, и унижается то несправедливостью человека к своему ближнему, то собственным добровольным искажением самого себя» («Современник». 1848, кн. III, отд. III, стр. 6).

² «Современник» 1847, № 2. Ср. «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. X, стр. 465. Впервые эта формула использована была Белинским, в несколько ином контексте, еще в «Молве» 1836 г. («Полн. собр. соч. Белинского», т. III, стр. 46).

³ В одном из вариантов известной агитационной песни Рылеева и Бестужева «Ах тошно мне и в родной стороне», предвосхищавшей в некоторых отношениях резкую характеристику крепостнического государства, данную в письме Белинского, очень близки были апелляции к «братьям по Христу» строки:

Чем мы хуже господ?

У нас тот же нос и рот.

По рессудку и желудку,

Братья мы и по кресту.

Критически учитывая факты прямого переключения некоторых характерных для фразеологии Белинского формулировок из его печатных статей в нелегальное письмо к Гоголю, исследователь не может прийти мимо явлений и обратного порядка. Мы имеем в виду отражение в одной из последних статей Белинского известных имфлетных тирад Зальцбруннского письма о николаевской России, как стране бесправия и застоя, в которой «нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но и даже и полицейского порядка, а есть только огромные корорации разных служебных воров и грабителей». Именно эти строки письма к Гоголю мы рассматриваем как ключ для расшифровки тех страниц Белинского, в которых он делился январе 1848 г. с аудиторией «Современника» своими впечатлениями от материалов книги иеромонаха Иакинфа «Китай: гражданском и в нравственном отношении»:

«Вглядитесь в устоиство этого странного государства,—и вам с первого взгляд может показаться, что это какое-то исключение из общего порядка азиатской жизни, что у него нет ничего общего с другими азиатскими государствами, что, наконец, это чисто евопейское государство. В нем ничего нет оставленного на произвол судьбы и людей, все отношения определены, все юридические случайности предупреждены и обсуждены, на все существуют положительные законы; машина администрации самаямногосложная и вместе с тем правильная, строго систематическая; законы нередко отзываются человеколюбием и, повидмому, представляют верные гарантии жизни, чести и благоостоянию честных людей всех званий, от высших до низших... (какой стороны ни взгляните на это дивное государство—ничго азиатского, Европа, да и только! Но, увы, это только мирак, разлетающийся прежде, чем взглядишься в него! Это ткой же призрак, как и политическое могущество Китая... Всеэти законы и гарантии хороши только на бумаге, а на делеслужат только к обогащению беруших взятки и утеснению дюющих взятки... Взяточничество—основа китайского судопроизводства. Там это уже не злоупотребление, не порок, не язва общественного тела (язва может быть только на здоровом теле, а не на таком, которое все язва)... Китай—страна неподвижности; вот ключ к разгадке всего, что в нем есть загадочного, странного. Тут ничего нет проникнутого идеей государственного и народного развития; все держится на закоснелом обычае»¹.

¹ «Современник» 1848, кн. 1, отд. III, стр. 46--49. Особенно много цензурных усечений на последней странице. О том, что шифр Белинского не мог возбуждать никаких сомнений в передовых кругах его читателей,

Этот исключительный по своей смелости и остроте опыт передачи и осмысления Белинским его впечатлений от новых данных якобы о Китае настолько откровенно открывал глаза демократическому читателю на язвы русской крепостнической действительности, что цензура вынуждена была изъять из этой предсмертной статьи Белинского целые страницы.

Ассоциация «китайского царства» с «рассейской действительностью» очень характерна для высказываний Белинского. Так, еще в письме от 23 августа 1840 г. к К. С. Аксакову он отмечал: «Гадкое государство Китай, но еще гаже государство, в котором есть богатые элементы для жизни, но которое спелено в тисках железных и представляет собою образ младенца в английской болезни. Гадко, гнусно, ужасно!» Эта же параллель определяет в письме Белинского к Боткину от 11-го декабря 1840 г. его отказ, как от «страшного сна», от «насильственного примирения с гнусною рассейской действительностью, этим китайским царством материальной животной жизни, чинолюбия, крестолубия, деньголюбия, взяточничества, разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества бесстыдной и наглой глупости, посредственности, бездарности, где все человеческое, сколько-нибудь умное, благородное, талантливое осуждено на угнетение, страдание...»¹.

Неудивительно, что в письме к Гоголю Белинский рассматривает «лицемерие, ханжество, китаизм»², как наиболее грозные показатели отрыва писателя от правильного понима-

ибо сравнение России с Китаем в этом смысле было широко распространено, свидетельствуют и некоторые материалы процесса петрашевцев. Так, штабс-капитан Ф. Н. Львов изобличал И. Ф. Ястржембского в том, что он «резко отзывался о сановниках, над чинами смеялся, говоря о государе, называл его богдыханом потому, что часто сравнивал Россию с Китаем» («Дело петрашевцев», т. 1, М.—Л., 1937, стр. 408).

¹ «Письма Белинского», т. II, стр. 154 и 186. Первая попытка Белинского отразить эти впечатления в печати относится к весне 1841 г. Однако, эти русско-китайские параллели, намеченные Белинским в связи с вопросом о лихоимстве, как «язве нашей народности», были изъяты цензурой из его статьи о «Деяниях Петра Великого» («О. З. 1841, № 5). См. рукопись этой статьи, опубликованную В. С. Спирidonовым в «Избранных философских сочинениях В. Г. Белинского», т. I, М., 1948, стр. 346.

² «Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смиреннее, может быть плодом или гордости, или слабоумия—и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму» («Письмо Белинского к Гоголю»). Ср. «Лицемерие, лукавство, ложь, притворство, унижение—натура китайца. И как быть иначе там, где церемония поглощает всю духовную жизнь народа, где младший непременно должен удивляться уму и добродетели старшего, хотя бы тот был глупее осла и грешнее козла. Вся жизнь китайца словно пеленками связана церемониями. Становиться на колени и бить поклоны—это его священная обязанность. Что за гибкие должны быть хребты у этого народа!» («Рецензия на книгу Иакинфа «Китай в гражданском и нравственном отношении»—

ния «самых живых современных национальных вопросов в России». Неудивительно, что и Некрасов, давая в 1855 г. в своей нелегальной поэме «Белинский» первую развернутую историческую характеристику великого критика¹, строил ее на материалах именно письма к Гоголю:

Не пощадил он ни льстецов,
Ни подлецов, ни идиотов,
Ни в маске жарких патриотов
Благонамеренных воров!
Он все предания проверил,
Без ложного стыда измерил
Всю бездну дикости и зла,
Куда, заснув под говор лести,
В забвеньи истины и чести,
Отчизна бедная зашла.

15.

«Свободу печати, обещанную в пределах, дозволенных Треповым, революционный пролетариат раздвигает своей могучей рукой до несколько более широких пределов»², — писал Ленин в ноябрьские дни 1905 г., отмечая в статье «Приближение развязки» освобождение русского печатного слова от цензурно-полицейских барьеров.

В числе первых массовых изданий запретных памятников русской литературы было и «Письмо Белинского к Гоголю». Выпуская последнее в свет, его редактор, С. А. Венгеров, разъяснял в своем предисловии: «Целиком письмо Белинского делается доступным только в настоящем издании, в медовые дни

«Современник» 1848, кн. 1, отд. III, стр. 48). Точно такими же словами Белинский характеризовал государственный и общественный быт донепетровской Москвы в статье о «Деяниях Петра Великого»: «Бессилие при силе, бедность при огромных средствах, бессмыслие при уме природном, тупость при смысленности природной, унижение и позор человеческого достоинства при христианской религии: вот первое, что бросается в глаза при взгляде на общественный и семейный быт в России до Петра Великого». И далее: «Сколько тут азиатского, варварского, татарского! Сколько унижительных для человеческого достоинства обрядов... В этих частых стуканях лбом о пол, в этих валяниях по земле, в этих китайских церемониях» («Избранные философские сочинения В. Г. Белинского», т. I, стр. 352 и 354).

¹ Поэма «Белинский» была опубликована впервые, без имени автора, в лондонской «Полярной Звезде» 1859, т. V, стр. 51. В полные собрания сочинений Некрасова входит только после Октябрьской революции. Время написания поэмы точно не установлено, но, судя по тому, что Некрасов читал ее Грановскому, как новость, летом 1855 г. в Москве, она была написана не раньше начала этого года. Использование в поэме материалов письма Белинского к Гоголю до сих пор не отмечалось.

² «Сочин. В. И. Ленина» изд. 3-е, т. VIII, стр. 371.

русской самочинной свободы печати»¹. Вслед за изданием С. А. Венгерова в течение нескольких недель появились еще две перепечатки Зальцбруннского письма.

Именно этот момент в истории распространения письма Белинского к Гоголю хорошо запомнился В. И. Ленину. И не только запомнился, но и получил определенное политическое осмысление.

В статье «Еще один поход на демократию» Ленин с чувством большого удовлетворения отмечал в 1912 г., как реализованы были в дни первой русской революции чаяния Некрасова:

«Некрасов восклицал в давно-давно прошедшие времена:

...Придет ли времячко
(Приди, приди, желанное!),
Когда народ не Блюхера
И не милорда глупого,
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

«Желанное для одного из старых русских демократов «времячко» пришло. Купцы бросали торговать овсом и начинали более выгодную торговлю—демократической дешевой брошюрой. Демократическая книжка стала **базарным** продуктом. Теми идеями Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими Некрасову—как и всякому порядочному человеку на Руси—была пропитана сплошь эта новая базарная литература»...².

В успехах продвижения «демократической книжки» в массы Ленин усматривал и основные причины того «беспокойства», которое овладело «мнящей себя образованной, а на самом деле грязной, отвратительной, ожиревшей, самодовольной либеральной свиньей», когда она «увидала на деле этот «народ», несущий с базара... письмо Белинского к Гоголю»³.

Первые конкретные признаки этого «беспокойства» в лагере контрреволюционной буржуазии определились в исключительной по своей резкости постановке вопроса о Белинском и его традициях на страницах «Вех»,—тех самых «Вех», которые Ленин в первом же отклике на этот сборник охарактеризовал в 1909 г. как «крупнейшие вехи на пути полного разрыва русского кадетизма и русского либерализма вообще с русским

¹ В. Г. Белинский. Письмо к Гоголю. С предисловием С. А. Венгерова. Книгоиздательство «Светоч», СПб, 1905, стр. 8.

² «Невская Звезда» 1912, № 24. Ср. «Сочин. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XVI, стр. 132.

³ «Сочин. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XVI, стр. 132.

освободительным движением, со всеми его основными задачами, со всеми его коренными традициями»¹.

В новой платформе буржуазного либерализма, декларированной на страницах «Вех», борьба с Белинским, как с автором «письма к Гоголю», как с духовным «отцом русской интеллигенции», как с пропагандистом «западно-европейского атеистического социализма»², занимала одно из центральных мест.

В статье С. Булгакова в этом сборнике письмо Белинского к Гоголю квалифицировалось, как образец «интеллигентского непонимания» высших политических и моральных проблем, как «классическое выражение интеллигентского настроения»³. М. Гершензон объявлял на страницах «Вех» традиции Белинского в истории русской публицистики «сплошным кошмаром»⁴. Итоги же этой «ревизии» литературного наследства Белинского подводил П. Струве. В его программной статье «Интеллигенция и революция» исторический облик великого просветителя подменялся карикатурной трактовкой Белинского, как «ученика Бакунина», роль которого в истории русской общественной мысли сводилась якобы лишь к «истолкованию Пушкина и его национального значения»⁵.

Лозунги борьбы с Белинским, брошенные на страницах «Вех», переходят в специальную литературу. В защиту «Выбранных мест из переписки с друзьями» выступает в 1909 г. М. О. Гершензон, решая на страницах кадетской «Русской Мысли», а затем в книге «Исторические записки» проблему письма Белинского целиком и полностью с реакционных позиций Гоголя: «Только теперь, когда мы начинаем понимать мысль Гоголя и когда она восстанавливается в своих правах, как равноправная с Белинским спорящая сторона,—писал Гершензон,—только теперь стало возможным из сопоставления обоих манифестов ясно уразуметь самую сущность спора»⁶. Однако апелляция к «самой сущности спора» и к «равноправности сторон» являлась в условиях русской подцензурной печати после революции 1905 г. грубейшей полемической передержкой. Ни о каком равенстве сторон не могло быть и речи,

¹ Статья «О «Вехах» в газете «Новый День» от 26.XII. 1909 г., № 15. Ср. «Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XIV, стр. 217.

² «Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции, М 1909, стр. 56 и 162.

³ «Вехи», стр. 56.

⁴ «Вехи», стр. 82.

⁵ «Белинский велик совсем не как интеллигент, не как ученик Бакунина, а, главным образом, как истолкователь Пушкина и его национального значения» («Вехи», стр. 163).

⁶ М. Гершензон «Исторические записки» М., 1910, стр. 121; изд. 2-е, Берлин, 1923, стр. 195—196.

поскольку голос автора «Выбранных мест» уже свыше полу-столетия звучал во всех изданиях его сочинений, а письмо Белинского к Гоголю, впервые полностью опубликованное в России в 1905 году, к перепечатке не допускалось. Больше того, когда историк В. Я. Богучарский попытался воспроизвести текст письма Белинского к Гоголю в своей книге «Три западника сороковых годов», весь тираж этого издания был опечатан в типографии и полностью уничтожен. Это произошло в том же 1909 г., в котором «Веки» и их подголоски лицемерно зывали к защите Гоголя от Белинского¹.

Весьма показательно, что Л. Н. Толстой в эту же пору, несмотря на всю свою симпатию к Гоголю, как к христианскому моралисту, уклонился от выступления против Белинского, на которое, видимо, очень рассчитывали руководители буржуазной общественности и печати. Статья Толстого приурочивалась к празднованию столетия со дня рождения Гоголя. Дошедшие до нас наброски этой статьи свидетельствуют о том, что в споре Белинского с Гоголем о «Выбранных местах из переписки с друзьями» Л. Н. Толстой в марте 1909 г. ближе был к Белинскому, чем к Гоголю².

Контрреволюционная ревизия политических и литературных традиций Белинского, начатая в 1909 г. в статьях Булгакова, Струве и Гершензона, возобновляется в 1912 г. в клеветнической книжке нижегородского педагога П. И. Вишневского «Н. В. Гоголь и В. Г. Белинский»³, а завершается в 1913 г.

¹ Книга В. Я. Богучарского, уничтоженная в 1909 г., вновь была напечатана после Октябрьской революции. Ср. В. Я. Богучарский, Три западника сороковых годов. Изд. «Антей», П. 1919 (Письмо Белинского к Гоголю занимает страницы 43—51).

² «Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого». Под общей редакцией В. Г. Чертова. Т. 38, М., 1936, стр. 50—51. С работой над статьей о Гоголе связаны интереснейшие отметки Толстого (отчеркивание отдельных слов и строк) в печатном тексте Венгеровского издания письма Белинского к Гоголю, подробно охарактеризованные в статьях С. М. Брейтбурга «Л. Н. Толстой о письме Белинского к Гоголю» («Литер. Наследство», т. 57, стр. 273—280) и И. Успенского «Письмо Белинского к Гоголю и Л. Н. Толстой». (Сб. «Белинский-историк и теоретик литературы», М.—Л., 1949, стр. 374—381). В исследовании И. Успенского дан критический обзор материалов о работе Толстого над статьей о Гоголе еще в 1888 г. В сохранившихся набросках этой статьи Толстым широко было использовано письмо Белинского к Гоголю (по тексту «Полярной Звезды»). Как свидетельствует Н. И. Тимковский, Толстой не закончил своей статьи о Гоголе в 1888 г. только потому, что ему «по его собственным словам, не хотелось вступать в полемику с Белинским» («Душа Л. Н. Толстого», М., 1913, стр. 154).

³ П. И. Вишневский «Н. В. Гоголь и В. Г. Белинский». Нижний-Новгород, 1912. Пытаясь дискредитировать политическую платформу письма к Гоголю, Вишневский не только пользуется для этого явным извращением текста Белинского в копии Краевского об «ослаблении» телесных наказаний (вместо «отменения» их), но и делает ложную ссылку

зловным памфлетом из великого критика в сборнике статей воинствующего идеалиста Ю. И. Айхенвальда «Силуэты русских писателей».

Политический смысл дискуссии о Белинском, затянувшейся на несколько лет, разгадан был в первых же откликах В. И. Ленина на реакционную проповедь «Вех». В публичной лекции, прочитанной В. И. Лениным 26 ноября 1909 г. в Париже на тему «Идеология контрреволюционного либерализма (успех «Вех» и его общественное значение)», весь «второй раздел», судя по дошедшей до нас программе, посвящен был исторической части концепций Струве, Булгакова и Гершензона. Этот раздел называется «Белинский и Чернышевский, уничтоженные «Вехами»¹. Текст этой лекции не сохранился, но как бы экстрактом ее явилась статья, опубликованная Лениным под названием «Вехи» в «Новом Дне» от 26.XII. 1909 г. В этой статье впервые развернуты были формулировки, определившие ленинское понимание политического завещания Белинского, но самый вопрос о месте великого критика в истории русской общественной мысли был и поставлен и разрешен В. И. Лениным еще в 1902 г.

Вывдигая в работе «Что делать?» свой известный тезис о том, что **«роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией»**, В. И. Ленин разъяснял: «А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский...»².

В этой замечательной формулировке, данной как бы попутно, на ходу, современный читатель не всегда учитывает уже всю ее свежесть, своеобразие и остроту. А между тем эта родословная «русской социал-демократии» была одним из тех гениальных исторических обобщений и открытий, которыми наша наука обязана именно Ленину.

Напомним, что Плеханов, поставив вопрос о месте Белинского в истории русской общественной мысли, ограничился в 1898 г. в своей знаменитой юбилейной речи «В. Г. Белинский» осторожным указанием на то, что «мысль Белинского работала в том же самом направлении, в каком уже начала тогда работать революционная мысль Запада». И далее: «Если бы

ку на наличие этой формулировки якобы «в самой ранней редакции письма, как оно напечатано в «Полярной Звезде» Герцена» (стр. 114). Эту лживую «справку» использовал Ю. Айхенвальд в своей брошюре «Спор о Белинском», М., 1914, стр. 26.

¹ «Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XIV, примечания, стр. 531—532.

² «Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. IV, стр. 380—381.

Белинский дожил до нашего времени, то он отдохнул бы, наконец, душою... С обычной своей страстностью, своими вдохновенными словами приветствовал бы он начинающееся пробуждение русского пролетариата и, умирая, искренно позавидовал бы тем счастливым, которые доживут до дня его победы»¹.

Не трудно заметить, что Плеханов в своих определениях намеренно не четок, вовсе обходя или поэтически вуалируя прямое разрешение проблемы.

Конспекты и наброски речи о Белинском, сохранившиеся в архиве Плеханова, объясняют причины этих колебаний: «Белинский был гегелианцем—писал Плеханов—но это не значит, что он был предшественником русской социал-демократии»².

Это признание Плеханова очень резко определяет историческое значение и полемическую остроту первого ленинского высказывания о Белинском.

В статье «Вехи» В. И. Ленин углубил свое понимание Белинского, как одного из «предшественников русской социал-демократии», обнажив политический смысл всех попыток дискредитации автора Зальцбруннского письма и ревизии его наследства.

Выписывая из статей Булгакова и Гершензона строки о письме Белинского к Гоголю, как о «пламенном и классическом выражении интеллигентского настроения», а о его традициях, как о «сплошном кошмаре», Ленин иронически резюмировал: «Так, так. Настроение крепостных крестьян против крепостного права, очевидно, есть «интеллигентское» настроение. История протеста и борьбы самых широких масс населения с 1861 по 1905 г. против остатков крепостничества во

¹ Г. В. Плеханов. «В. Г. Белинский». Речь, произнесенная весной 1898 г., по случаю пятидесятилетия со дня смерти Белинского. (Г. В. Плеханов. Сочинения, т. X, изд. 2-е, М.—Л., 1925, стр. 347—348). Курсив Плеханова.

² «Литературное наследие Г. В. Плеханова», т. VI, М., 1938, стр. 177. Социально-политический смысл письма Белинского к Гоголю и его значимость как программного документа остались не вскрытыми и в последующих работах Плеханова о Белинском. Так, даже в обобщающей статье «В. Г. Белинский», написанной в 1909 г. для «Истории русской литературы XIX века» под редакцией Д. Н. Овсяннико-Куликовского, Плеханов ограничился однострочным беглым упоминанием лишь о художественной ценности документа: «Как велик был его талант памфлетиста, показывает его знаменитое письмо к Гоголю» («Соч. Г. В. Плеханова», т. XXIII, М.—Л., 1926, стр. 164). В заметках «О Белинском», написанных в 1910 г. в связи с приближающимся столетием со дня его рождения, Г. В. Плеханов опять-таки лишь мимоходом упомянул о «знаменитом письме к Гоголю, полном такого страстного революционного протеста» («Сочинения Г. В. Плеханова», т. XXIII, стр. 199).

всем строе русской жизни есть, очевидно, «сплошной кошмар». Или, может быть, по мнению наших умных и образованных авторов, настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян? История нашей публицистики не зависела от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета?»¹.

Мы отметили уже выше отклик В. И. Ленина на массовое распространение в России письма Белинского к Гоголю после революции 1905 г. и его понимание причин «беспокойства» в охранительных кругах связи с проникновением в «народ» этого документа. Актуальность и острота письма Белинского в новых условиях политической борьбы может быть подтверждена не только идеологической позицией контрреволюционных «Вех».

В апреле 1909 г., при обсуждении в Государственной Думе сметы Святейшего синода рабочий П. И. Сурков, выступая от социал-демократической фракции (большевиков), протестовал против отпуска средств на содержание «кровных врагов народа, затемняющих его сознание»: «Отцы церкви—заявлял Сурков—освятили и своим словом и своим молчанием намыленную веревку, расстрелы, плахи, виселицы, палачей»².

В. И. Ленин откликнулся на выступление П. И. Суркова статьей «Об отношении рабочей партии к религии», в которой подчеркнул «чрезвычайную важность и злободневность» разъяснения в данный политический момент «классовой роли церкви и духовенства в поддержке черносотенного правительства и буржуазии в ее борьбе с рабочим классом»³. В статье «Классы и партии в их отношении к религии и церкви» В. И. Ленин еще раз вернулся к этому вопросу, констатируя, что «воинствующий клерикализм в России не только имеется налицо, но явно усиливается и организуется все больше»⁴.

Точность этого диагноза подтвердили через три года выборы в IV Государственную Думу, в процессе проведения которых государственный аппарат, по крылатому выражению Ленина, осуществил «лоббизацию духовенства против либеральных и октябристских помещиков»⁵, правильно учтя, что

¹ «Новый День» от 26.III. 1909 г., № 15. Ср. «Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XIV, стр. 219.

² «Стенографический отчет III Государственной Думы», II сессия, ч. III, стр. 2074.

³ «Пролетарий» 1909, № 45. Ср. «Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XIV, стр. 76.

⁴ «Социал-Демократ» 1909, № 6. Ср. «Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XIV, стр. 77.

⁵ «Просвещение» 1913, № 1. Ср. «Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XVI, стр. 257.

и в центре и на местах «попы будут голосовать за кандидатов, удобных правительству»¹.

В борьбе с воинствующим клерикализмом высших придворных и административно-полицейских кругов, в борьбе с агрессией Распутина и Вырубовой, Хвостовых и Саблеров, Иллиодоров и Гермогенов, страницы письма Белинского к Гоголю, разоблачавшие церковь, как «опору кнута и угоднику деспотизма», как «льстеца власти, врага и гонительницу братства между людьми», продолжали сохранять функцию одного из самых актуальных памятников революционно-демократической публицистики.

Еще большую взрывчатую силу получали в обстановке кануна империалистической войны те формулировки письма к Гоголю, в которых Белинский определял свое неприятие помещичье-дворянской монархии, свое требование «прав и законов, сообразных не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью», свое отрицание государства, где «нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей».

Этот обвинительный акт, несколько не устарев в своих основных частях и семьдесят лет спустя после его прокламирования, не раз являлся объектом использования и публицистов либерально-народнической ориентации. Особенно интересна в этом отношении безнадежно-упадочная оценка Зальцбрунского письма в известном юбилейном трехтомнике «Сочинений Белинского» в 1911 г.: «Письмо к Гоголю до настоящего дня остается вдохновенным манифестом цельного и определенного мировоззрения. Мы говорим «до настоящего дня»,—потому что хотя и исполнились некоторые пожелания Белинского: пало крепостное право, отменено телесное наказание, но зато мало ли новых позорных и кошмарных «бытовых явлений» возникло на Руси? И разве очень устарели слова Белинского, что «в России нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей?» С горечью нужно признаться, что письмо Белинского к Гоголю еще не скоро утратит интерес современности»².

¹ «Невская Звезда» 1912, № 27. Ср. «Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XVI, стр. 152—153.

² «Собрание сочинений В. Г. Белинского в трех томах». Юбилейное издание (1811—1911). Под редакцией Иванова-Разумника. СПб, 1911, т. III, стр. 820. Перепечатано без перемен в издании втором, 1913, т. III, стр. 820.

Строки, выписанные нами, ярко свидетельствуют о том, как дезориентировали общественность эпигоны народничества, сказавшиеся еще более далекими от правильного осмысления революционной ситуации кануна империалистической войны, чем наспех перевоскресшие в эту пору идеологи реакционных «Вех». Близорукая бесперспективность и тех и других разоблачена была в выступлениях В. И. Ленина.

Характеризуя летом 1913 г. симптомы в России «политического кризиса общенационального масштаба», В. И. Ленин свое понимание последнего подкреплял аргументами, неотражимость которых очень скоро была подтверждена историей.

«Россия переживает революционное состояние потому,— писал В. И. Ленин,— что угнетение громаднейшего большинства населения, не только пролетариата, но и девяти десятых мелких производителей, особенно крестьян, обострилось в максимальной степени, при чем этот обостренный гнет, голодовки, нищета, бесправие, надругательство над народом находится в вопиющем несоответствии и с состоянием производительных сил России, и с степенью сознательности и требовательности масс, пробужденных пятым годом, и с положением дел во всех соседних, не только европейских, но и азиатских странах»¹.

Эти формулировки предопределили и содержание раздела «О задачах агитации в настоящий момент» в резолюциях Поронинского совещания ЦК РСДРП с делегатами местных партийных организаций в августе 1913 г.

«На пути к сколько-нибудь действительной политической свободе в России,—отмечал В. И. Ленин,—попрежнему стоит царская монархия, враждебная всякой серьезной реформе, оберегающая только власть и доходы крепостников...»².

В порядке защиты этой «власти и доходов крепостников» царское министерство внутренних дел зимою 1913—1914 гг. развертывает наступление и на всех участках цензурно-полицейского фронта. Борьба с главной опасностью—с агитационно-пропагандистской работой большевиков—не ослабляет ударов и по классическим памятникам старой революционно-демократической литературы. Объектом двух судебных процессов (одного в Петербурге, другого в Москве) оказывается и письмо Белинского к Гоголю. Его издания конфискуются и уничтожаются, ибо, как формулирует 4 января 1914 г. СПб Цензурный Комитет,—«выражения, допущенные автором пись-

¹ Статья «Маевка революционного пролетариата» в газ. «Социал-демократ» от 28(15) июня 1913 г., № 31. Ср. «Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XVI, стр. 486—487.

² «Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XVII, стр. 5.

ма к Гоголю по отношению к православной церкви с одной стороны и к существующему у нас самодержавию с другой, являются как поношением церкви православной, так и оказанием дерзостного неуважения к верховной власти и порицанием установленного основными законами образа правления»¹.

Таким образом, документы политической борьбы 1913—1914 г. до конца объясняют нам, почему именно письмо к Гоголю, с его сокрушительными ударами по самодержавию, по полицейскому государству крепостников, по идеологии застоя и мракобесия, оказывается в центре внимания В. И. Ленина в его последних высказываниях о Белинском. Поэтому же, напоминая русскому пролетариату в апреле 1914 г. об исторической роли Белинского, В. И. Ленин обращал внимание своей аудитории на исключительное значение письма к Гоголю «и по сию пору»: «Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский. Его знаменитое «Письмо к Гоголю», подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору»².

¹ Архив СПб Цензурного Комитета (Ленинградское отделение, ЦГИА, фонд 776, опись 10). См. также документальные материалы об уголовных преследованиях издателей «Писем Белинского к Гоголю» в Петербурге (В. Яковенко) в 1913 г. и в Москве (типографа А. Д. Плещеева) в 1914 г. («Литературное Наследство», т. 56, стр. 547).

² «Из прошлого рабочей печати в России». Впервые в специальном выпуске журнала «Рабочий» от 22.IV. 1914 г. Ср. «Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XVII, стр. 341.

БЕЛИНСКИЙ И РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

1.

Деятельность В. Г. Белинского в период 1834—1848 годов была блестящей страницей не только в истории русской критики и общественной мысли, но и в истории развития русского литературного языка. Его значение в развитии русского литературного языка и, в частности, научно-публицистического, «языка науки и общественности», как он выражался, неизмеримо. Он, поистине, является, в основном, создателем русского научно-публицистического языка. Если в 1824 году Пушкин заявлял, что «метафизического (т. е. научно-публицистического.—А. Е.) языка у нас вовсе не существует», что «ученость, политика, философия по-русски еще не изъяснялись», то уже в начале 40-х годов XIX в. Белинский имел полное основание говорить о возросших и окрепших его силах. И главная заслуга в этом, несомненно, принадлежит ему.

Для успешной работы в области языка у Белинского было много необходимых данных. Он хорошо знал теорию языка, о чем свидетельствуют и его учебник по русскому языку, и его многочисленные высказывания о языке. Им были глубоко продуманы стилистические принципы. У него было великолепное чутье языка, о чем он сам говорил в своей статье по поводу одной языковой особенности Сенковского. Об этом и Тургенев писал в своих воспоминаниях: «Ни у кого ухо не было более чутко; никто не ощущал более живо гармонию и красоту нашего языка»¹. В Белинском было ярко выражено чувство патриотизма: «благо родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзывы», — говорит о нем Тургенев. — «Западнические убеждения Белинского,—продолжает он, — ни на волос не ослабили в нем

¹ И. С. Тургенев. Воспоминания о Белинском. — Об. «В. Г. Белинский в воспоминаниях современников». Собрал и комментировал М. Клеман. Л. 1929, стр. 235.

понимания, его чутья всего русского, не изменили той русской струи, которая была во всем его существе,—тому доказательством служит каждая его статья. Да, он чувствовал русскую суть, как никто». Это чувство патриотизма помогло ему найти правильную линию в работе над языком и выработать свою «политику слова».

Белинский, видя в русском языке одну из форм выражения самобытности могучего русского народа, считал его «одним из богатейших языков в мире» и находил в нем колоссальные возможности для его развития. «Было время,—говорил он (1841 г.), — когда на Руси никто не хотел верить, чтоб русский ум, русский язык могли на что-нибудь годиться; всякая иностранная дрянь легко шла за гениальность на святой Руси, а свое русское, хотя бы и отличное высокою даровитостью, презиравось за то только, что оно русское. Время это, слава богу, прошло»¹.

В его представлении русский литературный язык еще не установился, и в этом он видел залог его дальнейшего процветания. Окончательно установившимся может быть только мертвый язык, например латинский и др.-греческий, а не живой: «Говоря строго, — пишет он, — язык (живой. — А. Е.) никогда не устанавливается окончательно: он непрестанно живет и движется, развиваясь и совершенствуясь»². А «движение языка связано с движением мысли»³. Эта мысль находит подтверждение в словах И. В. Сталина: «Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях результаты работы мышления, успехи познавательной работы человека и, таким образом, делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе»⁴. После этого понятным становится патетический возглас Белинского: «Русский язык еще не установился, — и дай бог, чтоб он как можно дольше не установился!...»⁵. Иначе сказать: русский язык будет жить и совершенствоваться в веках, пока будет жить великий и могучий русский народ, как это им было сказано по поводу языка басен Крылова.

¹ В. Г. Белинский «Несколько слов о поэме Гоголя». — Полное собрание сочинений под ред. Венгерова, т. VII, стр. 292.

² Белинский. Ответ на ответ г. Д. — «Отечественные записки», 1846, № 5, стр. 47. Принадлежность этой статьи Белинскому доказана К. П. Богаевской.

³ Белинский. Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 216.

⁴ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, 1950, стр. 18—19.

⁵ Белинский. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 476.

Но Белинский понимал, что литературный язык—это не язык Крылова, не язык Пушкина, не язык Лермонтова и т. д., а язык и Крылова, и Пушкина, и Лермонтова и т. д.; это язык художественной литературы, критики, публицистики, науки, язык государственности целой нации и культурного обихода. Он создается в речевой практике, взаимодействуя с языком разговорно-бытовым и диалектами, сохраняя одно, отмечая другое. Литературный язык — это генеральная линия, «равнодействующая» всех сил, борющихся и взаимодействующих в речевой практике. «Создатель и властелин языка, — говорит Белинский, — народ, общество»¹. Эта мысль гармонирует с мыслью И. В. Сталина: «Он создан не одним каким-нибудь классом, а всем обществом, всеми классами общества, усилиями отцов поколений, «как единый для общества и общий для всех членов общества общенародный язык»².

Этот язык находит лучшее отражение в индивидуальном языке писателя, при наличии в нем отклонений от этой генеральной линии, а творческие усилия писателя в свою очередь оказывают воздействие на общерусский литературный язык, содействуя его поступательному движению: «русский язык... не перестанет подвигаться вперед до тех пор, — пишет Белинский, — пока не пересанут на Руси являться великие писатели»³. И он, стоя на трагедии русского национального литературного языка, проявляет большую заботу о его совершенствовании в соответствии со своей «политикой слова». Он ревниво оберегает его от агрязнения, засорения и искажения и почти каждую научную и учебную книгу, почти каждое художественное произведение, — все что является предметом его рецензии, рассматривает, чуть ли не в обязательном порядке и со стороны языка. Им дается общая оценка языка с указанием на «дикость изложения» и «пустой набор слов», на «неправильность и необработанность», на «грубое незнание отечественного языка», отмечаются отдельные недочеты в отношении синтаксического построения, словаря и даже морфологии; рекомендуется «вникнуть в дух родного языка», «быть поопрятнее в выражении» и «прочесать, умыть слог». Он охотно вступает в дискуссии по вопросам языка и стиля, иронизирует по поводу излишних языковых увлечений некоторых писателей и пародирует их манеру письма, опираясь на свои теоретические знания и языковое чутье.

¹ Белинский. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 375.

² И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, 1950 г., стр. 5.

³ Белинский. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 478.

Согласно своей «политике слова», Белинский поддерживал тенденцию к демократизации литературного языка, сближая его с разговорным и внося в него элементы просторечия. Эта тенденция отчетливо дает себя знать в истории литературного языка уже во второй половине XVIII в. и усиливается в XIX в. Она крепла и становилась определеннее по мере того, как крепла и прояснялась в сознании Белинского идея реализма. Он одобрительно относится к демократизации языка в творчестве Крылова, Пушкина и Гоголя, находившейся в тесной связи с расширением социальной базы их творчества, более широким охватом жизни, и сам вводит в свой язык элементы стиливого опрощения. Речь идет не о письмах, где он в отношении языка был менее связан с литературным этикетом и чувствовал себя более свободным, а о критико-публицистических работах. Письма, поскольку это материал интимного свойства, не предназначенный для широкой публикации, не могли сыграть такой роли в деле демократизации литературного языка, как критико-публицистические работы, которые были адресованы к широким читательским кругам и оказывали, судя по воспоминаниям современников, большое воздействие.

Демократизация языка в критико-публицистических работах Белинского достигалась за счет не народно-диалектной речи, а, главным образом, просторечия, находившегося на грани народно-диалектной и литературной речи. Элементы опрощения языка встречаются уже в его работах 1834 года, но гуще они вводятся с 1840 года: **морочить** бедных читателей, **обзавелся** своим **умишком**, **может** **статься**, уже и не на шутку **струхнули**, достается им, **бедненьким**, **мастак** на великие периоды, сущая **тарабарская** грамота, **сдобрить** всю эту микстуру, не хочу **шарлатанить**, некому хорошенько **припугнуть**, жалкий **писака**, неистовая **трескотня**, **пялил** и **корчил** русский язык, прочей литературной **сволочи**, **катайте** всех, **спеленать** себя гнилыми пеленками французской эстетики, этот добрый **простак**, он **зарекася** пить, **разживу** предоставил хозяину, **заводил** разговор, поработать **посходнее** в какой-нибудь газете, рассказать подробно всю **ералажь**, он решился **общипать** Пушкина не на шутку, имел право **расхвастаться**, театральная литература надоела нам **донельзя**, **прекурьезные** **диковинки**, об изделиях драматической «тли», **наповал** **бранить**, вся эта **галиматья** и т. д. Нет нужды множить подобные примеры. Надо лишь сказать, что все такие слова, не только опрощали речь, но и придавали ей иронический характер, усиливая остроту мысли.

В тех случаях, когда просторечные слова воспринимались Белинским с оттенком тривиальности, он, пользуясь ими, вносил оговорки и тем как бы отмежевывался от них в своем стиле, подчеркивал их несвойственность его языку: «Это не то, что на человеческом языке называется «любить», а то, что на мешчанском языке называется «амуриться» (т. VI, стр. 156), «стараятся быть «крикачами» (**критикан**—тривиальное слово, равнозначительное «зубоскалу») (т. VIII, стр. 386), «сочинитель статьи, как говорится, **пересолил**» (т. V, стр. 243) и др.

Белинский не навязывает свою речь просторечной лексикой, проявляя чувство меры. Это в еще большей степени надо сказать в отношении народно-диалектной лексики. Последняя у него слабо представлена и не дает ровно никаких оснований судить о том, в какой степени он был знаком с русскими говорами, тем более утверждать, что он был «изумительным знатоком» их. Можно сказать, что она представлена в его языке лишь единицами: пустились **гуторить**, **баить по-мужицки**, читайте ниже и **дивитесь**, мужицкие **побранки**, г. Савельев-Ростиславич **осерчал** и др. Белинский испытывал большую нужду в отмежевывании от них и в подчеркивании их несвойственности, чуждости его языку, чем при употреблении просторечных слов; поэтому у него при народных словах наблюдаются графические или словесные оговорки: то кавычки — «сомлела» (т. VI, стр. 171), то определяющие слова — «мужицкие **побранки**», «**баить по-мужицки**», то пояснения — «обыденкою, т. е. в один день» (т. III, стр. 223), «**вопить, кричать**» (т. VIII, стр. 30), то кобочные оговорки — «страшные ссоры между (выражаясь мленько-мужицким слогом) **закадышными друзьями**» (т. VI, стр. 187), «**приискали мадам (или мамзель—провинциальные названия гувернантки)**» (т. V, стр. 169) и т. п. Но он и пользуется этими приемами для отмежевывания тогда, когда говорит от представителя крестьянской среды: «а что, тятя, оли-б наш чалый мерин-то сделался бурою коровою—ведь мма молочка еще бы дала мне?». Зато здесь он прибавляет елую фразу, явно отмежевывающую его от речи крестьянина: Вы смеетесь, читатели? Моя выходка кажется вам фарсом, плоскою шуткою?» (т. VII, стр. 139). Или когда говорит от представителя купеческой среды, близкого по своему культурному уровню к мужику: «Чего доброго! теперь и **поштенне** купечество с бороною, от которого попахивает **маненько** апусткою и лучком, даже и оно, идя по улице с **хозяйкою**, ведет ее под руку, а не толкает в спину коленом, указывая доогу и заказывая **зевать** по сторонам»

(т. XII, стр. 115). В этом случае для отмежевания он прибегает к курсиву.

В отношении народно-диалектных слов Белинский был даже более придирчив, чем это было нужно, на что обратил внимание в своих комментариях к его сочинениям С. А. Венгеров по поводу слова «загодя», в употреблении которого Белинский не видел целесообразности, усматривая в нем непонятность жаргонизма¹. В письме к Анненкову (15.II. 1848 г.) он обвиняет Тургенева за то, что тот «пересаливает в употреблении слов орловского языка, даже от себя употребляя слово **зеленя**, которое так же бессмысленно, как **селеня** и **хлебенья**, вместо **села** и **хлеба**»². Сам Тургенев, под влиянием указания такой авторитетной личности, как Белинский, признал за собой этот грех в письме к Аксакову: «Что касается провинциальных выражений, то, к несчастью, я сам их незаметно употребляю в разговоре, и покойный критик В. Г. Б. всегда называл меня «орловцем, не умеющим и говорить по-русски». В результате в издании «Записок охотника» 1852 г. он вносит 50 исправлений в целях «ослабления этнографичности языка»³, сохранив, кстати сказать, слово «зеленя» (см. «Бурмистр»). И в отношении этого слова он был прав: оно было типичным для орловских и калужских говоров словом, как и «площадь», «мелоча», и даже вошло в интеллигентскую речь, что и отмечал Тургенев в письме к Аксакову. Прав В. И. Чернышев: замена их литературными словами «разрушила бы определенное представление о значении»⁴.

Вряд ли у Белинского было большое основание говорить о «пересоленности» в языке Тургенева в отношении народной лексики. Народные слова вводятся им с соблюдением такта, но в большем количестве, чем это соответствовало «политике слова» Белинского, о чем говорят его многочисленные высказывания, проходящие через все тома его сочинений.

Белинский много раз указывал на то, что народность «все, решительно все, смешивают с **простонародностью** и отчасти с тривиальностью»⁵, что «у кого нет таланта и кто захочет быть народным, тот всегда будет простонародным и

¹ Белинский. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 397—596.

² Письма Белинского, т. III, стр. 338.

³ А. Е. Грузинский. И. С. Тургенев (личность и творчество). М. 1918 г., стр. 74.

⁴ В. И. Чернышев. Русский язык в произведениях И. С. Тургенева. «Известия Академии наук СССР», 1936, № 3, стр. 481.

⁵ «Литературные мечтания». — П. с. с., т. I, стр. 384.

тривиальным»¹. «Отсюда,—говорит Белинский,—неизбежная подделка.. под лад языка наших простолюдинов»²; «все эти господа сочинители стали выезжать в своих романтически-народных произведениях на разбитых носах, фонарях под глазами, зипунах, лаптях, мужицких речах и поговорках, кабаках и харчевнях»³. «Удачное подражание языку черни, слогу площадей и харчевень сделалось признаком народности», точнее — псевдонародности⁴. Нельзя, — пишет он в другом письме, — восхищаться художественными произведениями только потому, что «в них мужики говорят чистым мужицким языком»⁵, «не должно слишком гоняться за мужицким наречием»⁶. В основе всех этих высказываний лежали мысли о том, что диалекты простого народа не развиты и в своем словарном составе ограничены узкой сферой жизни⁷.

3.

В силу указанных только что взглядов Белинский, хотя и признавал, что «в народной речи есть своя свежесть, энергия, живописность»⁸, не чувствовал большой потребности, как это уже было сказано, в введении народной лексики в язык своих работ, тем более морфологических особенностей народно-диалектной речи, за небольшим исключением в частных письмах, но письма не могли иметь значение в жизни литературного языка, и их не следует принимать во внимание, говоря о воздействии великого критика на литературный язык в направлении его делократизации. В отношении же народной фразеологии, пословиц и поговорок, он держится иной позиции, рекомендуя брать «преимущественно» их в качестве примеров при изучении тропов в учебных пособиях⁹. Он и сам в языковой своей практике, в своих критико-публицистических работах широко пользовался ими, сознавая их связь с народным творчеством («говоря» наши русские мужички», — т. IX, стр. 150). В этом нельзя видеть противоречия его взглядам. Пословицы и поговорки уже утратили диалектную окраску, свою «простонародность» и вошли в общерусский литературный язык, сохранив лишь печать просторечности. Белинский и называет их не «народными», а «русскими», пользуясь ими.

¹ «Ничто о ничем». — П. с. с., т. II, стр. 356.

² «Литературные мечтания». — П. с. с., т. I, стр. 384.

³ Сочинения Зинаиды 2-вой. — П. с. с., т. VIII, стр. 307.

⁴ Древнероссийские сикхотворения К. Данилова. — П. с. с., т. VI, стр. 302.

⁵ Там же, стр. 307.

⁶ «Сельское чтение». — П. с. с., т. VIII, стр. 110.

⁷ Статьи, рецензии и аметки. — П. с. с., т. XII, стр. 426, т. IX, стр. 477.

⁸ Полевой. Старинная сказка об Иванушке Дурачке. — П. с. с., т. VIII, стр. 534.

⁹ Кошанский. Общая история. — П. с. с., т. IX, стр. 156.

Пословицы и поговорки представляют солидный пласт в языке Белинского. Необычно их соотношение: в его работах они встречаются в равных долях (50 % — 50 %), хотя поговорки, как обломки, осколки суждений, дают большую свободу в обращении с ними, легче входят в состав разнообразных синтаксических построений, поэтому чаще использовались другими писателями, например, Чернышевским.

В обращении с пословицами Белинский очень осторожен, бережен: не ломает их конструкций, не лишает их ритма и не демегафоризирует, сохраняя их идиоматичность. Он обычно дает возможность почувствовать их как цитату из чужой речи, как мудрый афоризм, образно оформленный и имеющий самостоятельное существование, как непреложный закон обычного права, как девиз, идейно направляющий:

«...уцепилось обеими руками за мудрое правило, завещанное от праотцев: **ученье—свет, а неученье—тьма**» (т. I, стр. 329).

«Смелым бог владеет» — его девиз» (т. V, стр. 136).

«...он напоминает своими робкими опытами мудрую пословицу, что **неразумному сыну не в помощь богатство**» (т. II, стр. 122).

«Бочка дегтю, ложка меду» — вот вам великий мировой закон!» (т. III, стр. 47).

«...на поприще их замолкнувшей славы величаются гг. Брамбеусы, Булгарины, Гречи, Калашниковы, по пословице, **на безлюдьи и Фома дворянин**» (т. I, стр. 309).

Но, говорит пословица, что **город, то норы, что село, то обычай**» (т. II, стр. 377).

«Не напрасно говорит русская пословица: по платью встречают, по уму провожают!» (т. III, стр. 45).

«На ловца и зверь бежит, говорит русская пословица» (т. III, стр. 457).

«Да, любовь к свету, выразившаяся в пословице: **ученье—свет, неученье — тьма**, составляет одно из лучших и благороднейших свойств русского народа» (т. X, стр. 446). И т. п.

Это чувство пословицы, как самостоятельного идейного целого, дает себя знать, — через курсив, кавычки и специально предназначенные для того модальные слова «подлинно», «точно» и «справедливо», — даже тогда, когда пословица сливается с авторской речью:

«Мы не должны слишком нападать на Сумарокова за то, что он был хвастун: он обманывался в себе так же, как обманывались в нем его современники: **на безрыбьи и рак рыба**» (т. I, стр. 334).

«Я буду только обманывать его (ближнего. — А. Е.), заставлять его служить мне, предоставляя и ему какие-нибудь выгоды, но только помня, что **своя рубашка к телу ближе**» (т. II, стр. 155).

«Нет, воля ваша, а **глас народа — глас божий**, и народ и века самые непогрешительные критики» (т. II, стр. 265).

«И мы, видя коварную торжествующую улыбку «Пантеона», повторяем с невольною грустью: «кошке игрушки — мышке слезки!» (т. V, стр. 515).

«Подлинно, **дело мастера боится**» (т. VII, стр. 345).

«Молодой и удалой гусар <поэт Давыдов> поддался на минуту духу сентиментальности, царствовавшей тогда в русской литературе, и не имел смелости, в зрелые лета, сознаться в этом самому себе, забыв, что **быль молодцу не укора**» (т. VII, стр. 538). И т. д..

Таким образом, и в этих текстах нет полного слияния пословицы с авторской речью, полного, так сказать, растворения в ней. Так обстоит дело и со всеми другими пословицами, приведенными Белинским. Лишь в единичных случаях можно констатировать полное слияние, напр:

«Такие проделки смешны, конечно, но и простительны: ведь у страха глаза велики» (т. V, стр. 493).

«Все говорят, словно по книге читают; не услышишь живого слова, и нет признака того, что бывает в действительности. Оно и лучше: никто не взнает себя и не осердится. Волки сыты и овцы целы» (т. VII, стр. 388).

В той же пропорции, что и пословицы, используются Белинским и идиоматические выражения поговорочного типа, о чем уже было говорено. Но он, за редким исключением, не стремился подчеркивать их генетическую особенность, свойственность речи крестьянской или какой-либо другой среды ни словесными оговорками, ни курсивом, ни кавычками, что, наоборот, было обычным приемом введения пословиц. Очевидно, в поговорочном жанре он видел больше стертости отпечатка народного творчества и большую общеупотребительность в речевой практике, что делало совершенно ненужными какие бы то ни было оговорки относительно их свойственности или несвойственности речи автора. В его языковом сознании поговорки—это ходячие стереотипы просторечия. Он даже не заботился о том, чтобы каким-либо образом обновлять и освежать их. Поговорки в его языке разнообразны:

«Новые... на старый лад **надоели** всем **пуще горькой редьки**» (т. II, стр. 49).

«1835 год, в литературном отношении, в сорочке **родился**» (т. II, стр. 94).

«Работа, наскоро произведенная топором и скобелю с целью зашибить деньги» (т. II, стр. 186).

«Говоря о веке Людовика XIV, он (Мишле.—А. Е.) пересчитывает его славных писателей, между которыми включает и г-жу Севинье. **Убил бобра!**» (т. III, стр. 415).

«Кучер погнал лошадей—и след простыл» (т. V, стр. 4).

«Они в самом деле знают искусство как свои пять пальцев» (т. V, стр. 269).

«Если... поверят статье г. Навроцкого..., то игра не стоит свеч» (т. V, стр. 162).

«Она (сила непосредственно творчества.—А. Е.), так сказать, отводит ему глаза от идей и нравственных вопросов» (т. VII, стр. 441).

«Все теории перевернулись и перепрокинулись: классицизм единогласно был уволен вчистую, за выслугу и дряхлостью» (т. VII, стр. 515).

«Народ не станет проливать своей крови... за людей, которые любят его только тогда, когда им нужно **загрести жар чужими руками**» (т. VIII, стр. 472). И т. д.

Не останавливаясь на других поговорках, в частности на сказочных, представленных не в большом количестве в языке Белинского, следует обратить внимание на незначительность у него литературных фразеологизмов. Это бросается в глаза особенно при сопоставлении с языком Чернышевского и Ленина. Причина понятна. В своем распоряжении он имел меньший простор для отбора литературных цитат. Все его источники ограничивались именами его же современников, а их язык еще не был, по выражению Гончарова, «разменен на гривенники», и эти «гривенники» еще не были пущены в речевой оборот. Но чем дальше, чем богаче становилась реалистическая литература, тем больше представлялось возможности для использования острых цитат с яркими образами и с широтой обобщения.

Зато много в языке Белинского было латинских фразеологизмов, что, по показаниям современников, было свойственно разночинцу-демократу. В сознании людей 40-х годов знание латинского языка характеризовало разночинцев. Герцен в романе «Кто виноват?» (1847 г.) вставляет в уста генерала слова о латинском языке: «Это совершенно ненужный язык; для докторов..., а нам зачем же?» (гл. 1).

Сам Белинский был большим сторонником классического образования. В письме Боткину от 27—28/VI 1841 г. читаем: «Обаятелен мир древности. В его жизни зерно всего великого, благородного, доблестного, потому что основа его жизни—гордость личности, неприкосновенность личного достоинства. Да, греческий и латинский языки должны быть краугольным

камнем всякого образования, фундаментом школы»¹. Вообще «в то время, как говорит С. А. Венгеров, люди прогрессивно-го образа мыслей были сторонниками греческого и латинского языков, а противниками их были люди охранительного направления». «А в 1848 году именно в классицизме видели источник революционной заразы. Известно, что еще в начале XIX столетия, при реставрации, господствовало мнение, что классицизм был причиною французской революции»².

Наличие латинских оборотов в языке Белинского понятно. Ими он обычно пользуется без пояснений, без русских вариантов, кроме отдельных единиц:

«Крылов возвел у нас басню до *pes plus ultra* совершенства» (т. I, стр. 351).

«... о каждом новом изделии такого рода надо говорить *idem per idem* или, по-русски: про одни дрожжи твердить трюжды» (т. II, стр. 45).

De mortuis aut bene aut nihil (т. II, стр. 140).

Ars longa, vita brevis (т. III, стр. 41).

Amicus Plato, sed magis amica veritas (т. III, стр. 361).

Ubi bene, ibi patria (т. IV, стр. 407).

Sine ira et studio (т. V, стр. 101).

Sic transit gloria mundi (т. IX, стр. 118). И т. д.

Конечно, у Чернышевского их значительно больше; они и разнообразней у него, и прием использования их несколько иной; в его языке они имеют и большую политическую заостренность, как и вообще все фразеологизмы, что стоит в связи с политической остротой всей внутренней обстановки в эпоху 50—60-х годов, когда революционным демократам, в частности их вождю Чернышевскому, приходилось вести ожесточенную борьбу и с либералами и с консерваторами. Белинский, бывший, по выражению Ленина, предшественником «полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении»³, находился лишь у преддверия этой эпохи.

4.

Борясь за совершенствование русского литературного национального языка, Белинский был осторожен не только в пользовании народно-диалектными словами, но и в отношении устарелых слов, требуя соблюдения такта. «Конечно,—пишет он в обзорной статье «Русская литература в 1841 году»,—ничего смешнее, пошлее и надутее, как употребление педантами

¹ А. Н. Пыпин. В. Г. Белинский, его жизнь и переписка. СПб, 1876 г., т. II, стр. 117.

² В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. СПб. 1904, т. II, стр. 556.

³ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XVII, стр. 341.

и безвкусными рифмоторцами старинных слов там, где это не требуется сущностью дела, напр., в переводе Тассова «Освобожденного Иерусалима и т. п. Но в переводе «Илиады» наши слова, под пером вдохновенного переводчика, исполненного поэтического такта—истинное и бесценное сокровище!»¹.

Особенно он был настроен против таких слов, которые вышли из употребления в «языке разговорном, общественном, так сказать, комнатном», стали «мертвыми», «старой ветшью», но нашли приют в языке подъячих, превратившись в специфически «подъяческие слова», в «подъячизмы». В частности, он высказывается против местоимений **сей** и **оный**: «Я, с своей стороны,—пишет он (1835 г.),—не уступаю «Библиотеке» в ненависти к **сим** и **оним**, считая, по уважению прав собственности, делом беззаконным похищать **сии** местоимения у подъячих, которым **оние** толико любезны и вожделенны, и притом не видя в них ни малейшей надобности»². А по поводу употребленного в сказках Одоевского слова **сии** он говорит (1847 г.): «Дети не поймут его, как будто оно было санскритское или эфиопское слово, и будут спрашивать старших, что де оно значит. И не мудрено: теперь, когда уже подъячие перевелись, а вместо их явились благовоспитанные чиновники, теперь только через знакомство с семинаристами да с русскою литературою можно детям познакомиться с неприличными словами в роде **сих**, **оних**, **коих**, **каковых**, **таковых**, **соделывать**, **днесь**, **се** и т. д.»³. Они ухудшают стиль, «словно веснушки на лице» (II, 250), делают его «несносным» (II, 163) и обнаруживают неумение выразиться «порядочным русским языком» (т. II, 257). И Белинский советует выбросить их. По поводу перевода книги Араго он замечает: «Перевод мог бы еще быть лучше, если-б издатели исправили его, заменив **сии**, **кои**, **многоостровия**—**этими**, **которыми**, **архипелагами** и вообще исключив **оние**»⁴. В целях высмеивания местоимения **сей** и **оный** нередко употреблялись им подчеркнута, с иронией.

Своими высказываниями о местоимениях **сей** и **оный** Белинский откликнулся на ту дискуссию, какую поднял Сенковский, объявивший войну не только данным местоимениям, а и другим устарелым старославянским словам: **злато**, **очи**, **чело**, **младой**, **ланиты**, **стопы** и т. п. Это было не ново: еще в начале XIX в. названные местоимения попали под обстрел карамзинистов; в 30-е годы проблема архаизма ставится вновь и остро Сенковским в связи с установкой на более широкое вве-

¹ «Русская литература в 1841 году».—П. с. с., т. VII, стр. 31.

² П. с. с., т. II, стр. 418—419.

³ П. с. с., т. X, стр. 513.

⁴ П. с. с., т. XI, стр. 147.

дение в литературный язык разговорного начала. Мысль раздваивается. Были противники изгнания из русского языка приведенных выше местоимений—Булгарин, Греч, Плевой и Пушкин. Их позиция была усилена настроением враждебности по отношению к Сенковскому, что Белинский отмечает словами: «по нерасположению», «наперекор» (III, 303). О Пушкине, в частности, он утверждает: «Кстати о сих, оных и таковых. Пушкин всегда употреблял их, по любви к преданию, хотя к его сжато, определенному, выразительному и поэтическому языку они также плохо шли, как грязные пятна идут к модному платью светского человека, собравшегося на бал. Но, когда Библиотека для чтения воздвигала гонения на эти старопечатные слова, Пушкин еще более, еще чаще начал употреблять их к явному вреду своего слога»¹.

Белинский занял срединное положение. Будучи против употребления местоимений **сей и оный** «без всякой нужды», он не разделял «исключительной односторонности», крайности и фанатизма Сенковского и считал, что иногда они нужны «для большей ясности в слоге, особенно когда дело идет о предметах догматических, ученых» (II, 114). В статье о брошюре Греча «Литературные пояснения» (1838 г.) он упрекал Сенковского в нежелании считаться с тем, что стили неодинаковы, «что самый драматический язык, выражая потрясенное состояние души, разнится от простого разговорного языка, равно как драматический язык необходимо разнится от языка проповеди», «не говоря уже о различии стихотворного языка от прозаического» (III, 487). А по поводу стихотворных произведений Пушкина он категорически утверждает в той же статье: «На **сии и оные** могут решаться только истинные поэты: их поэтический инстинкт всегда и безошибочно покажет им не возможность, но необходимость употребления этих слов там, где есть эта необходимость. Но **сии и оные**, употребляемые в прозе, хотя бы было и в прозе самого Пушкина, доказывают или предубеждение и желание делать вопреки не истине, а человеку, который сказал истину, или неумение упрямиться с языком» (II, 488). Белинский был убежден, что в решении вопроса о том, когда можно и когда нельзя пользоваться этими словами, лучше всего полагаться на «простое, непосредственное чувство» (III, 489). Вообще же, по его мнению, необходимо «говорить живым народным (т. е. общерусским, национальным.—А. Е.) словом, а не мозаикою школьных и подъяческих слов», «доводя до педантизма отделку слова» (II, 420). Сам Белинский, всегда «кипевший новизною», изгнал из своего языка «подъячизмы», кроме случаев ирониче-

¹ Белинский. Статьи о Пушкине. — П. с. с., т. XII, стр. 166.

ского пользования ими, и вообще устарелые старославянские слова. Если последними он и пользуется, то преимущественно в частной переписке, где они наделены функциями насмешки, издевки или патетики.

5.

Видя в русском языке «один из богатейших языков в мире» и яркое выражение самобытности русского народа и русской культуры, Белинский стремился к еще большему его обогащению через введение новых русских и иноязычных слов. Он сам перечисляет (1840 г.) из «Отечественных записок» некоторые «до них никем не употреблявшиеся (в том значении, в каком они принимают их) и неслыханные слова: **непосредственный, непосредственность, имманентный, особый, обособление, замкнутость, созерцание, момент, определение, отрицание, абстрактный, абстрактность, рефлексия, конкретный, конкретность** и пр.»¹. И надо признать, что в этом отношении он несколько «перебарщивал», в чем потом сам признавался. В конце 1839 года, вспоминая годы своей работы в «Московском наблюдателе» (1838—1839 гг.), он пишет об этом журнале в письме к Н. В. Станкевичу: «Смешная и детская сторона его не в нападках на Шиллера, а в этом обилии философских терминов (очень поверхностно понятых), которые и в самой Германии, в популярных сочинениях, употребляются с большою экономиею»², а в 1840 г. в письме к Боткину от 16/IV говорит: «Смешно вспомнить, какие мы были (и отчасти есть и теперь) дети и какими словами мы злоупотребляли»³. Об этом периоде и Тургенев вспоминает: «В глазах рябило от множества любимых тогдашних оборотов и выражений. Надо же было и Белинскому заплатить дань своему времени!»⁴.

Обилие иноязычной терминологии в языке Белинского вызвало нападки со стороны представителей враждебной идеологии. Его высмеивали, гаерствуя, в лекциях и учебных пособиях (Греч), в фельетонах (Булгарин) и в пьесах (В. Н-ый, Навроцкий и Куликов). Булгарин нападал за непонятные слова: **субъективность, объективность, абсолют, конечность, призрачность, действительность, просветление, прекраснотушние, распадение, разорванность** и пр., называя все это «субъективной и объективной галиматьей». Греч обвинял за слова:

¹ «Русская литература в 1840 году».—П. с. с., т. V, стр. 492.

² Письма Белинского, т. II, стр. 106.

³ Там же, стр. 107.

⁴ И. С. Тургенев. Воспоминания о Белинском. Сб. «В. Г. Белинский в воспоминаниях современников». Л., 1929, стр. 240—241.

индивидуум, индивидуальное, абсолютное, субъективное, нормальный и др., хотя, по свидетельству Белинского, они употреблялись в разных журналах 20 лет назад и тогда «не возбуждали ничьего ни удивления, ни негодования» (т. V, стр. 492).

В чем причина нападков? В необычности употребления слов, в непонятности и странности терминов, в отрицательном, даже враждебном отношении к философии, в непонимании задач создания русского научно-публицистического языка, а главное—в классовой враждебности охранительной идеологии «опекунов языка» и мысли. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский по поводу гонения на слово «прогресс» вносит полную ясность в этот вопрос: «Есть еще особенный род врагов «прогресса»: это—люди, которые тем сильнейшую чувствуют к этому слову ненависть, чем лучше понимают его смысл и значение. Тут уже ненависть собственно не к слову, а к идее, которую оно выражает, и на невинном слове вымещается досада на его значение... Слово «прогресс» естественно должно было встретить особенную неприязнь к нему со стороны пуристов русского языка, которые возмущаются всяким иностранным словом, как ересью или расколом в ортодоксии родного языка»¹. Интересно, что слова **прогресс, принцип, гуманность, доктрина** и др. были особенно не по душе царской охранке, как это видно из доклада Дуббельта (22/II 48 г.) Николаю I. «Люди, отдельные социальные группы, классы,—говорит товарищ Сталин,—далеко не безразличны к языку. Они стараются использовать язык в своих интересах, навязать ему свой особый лексикон, свои особые термины, свои особые выражения»².

Возражая пуристам, Белинский в своих статьях «Журнальная заметка», «Сто русских литераторов» (1841 г.), «Карманный словарь иностранных слов» Н. Кириллова (1845 г.), «Грамматические разыскания» Васильева (1845 г.), «Голос в защиту от «Голоса в защиту русского языка» (1846),—в этих статьях разработал теорию правомерности иноязычных слов в родном языке. В сжатом виде суть ее в следующем. Наличие иноязычных слов в русском, как и в другом каком-либо европейском языке, явление естественное и неизбежное. Ведь у каждого народа имеются свои достижения и свои слова для обозначения выработанных им понятий; поэтому один народ у другого вместе с понятием берет и соответствующее слово: «изобретать свои термины для выражения чужих понятий очень трудно, и вообще этот труд редко удается» (т. IX,

¹ «Взгляд на русскую литературу 1847 года». — П. с. с., т. XI, стр. 76—77.

² И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. 1950 стр. 10.

стр. 375). И не всегда слово одного языка можно точно калькировать, т. е. заменить словом, созданным по его образцу на основе соответствующего русского материала, или удачно заменить словом другого языка, не всегда они тождественны по своему значению, напр: **катехизис—оглашение, монополия—единооторжие, период — круг, ода—песнь, акция—действие, реванш — возмездие** и т. д., так как в этих парах первые слова, по своему содержанию, не равны их русским параллелям. Точно также, если для греческого слова **цикл** нашлась замена в русском слове **круг**, то для слова **квадрат** ее нет; заменить же слово **«хорда»** веревкою никто, вероятно, и не пытался.

Многие слова, по мнению Белинского, удачно калькированы: **правительство, промышленность, предмет, личность, любовь, воспроизведение, влияние, отношение, заключение, изложение** и т. д., но есть такие иностранные слова, которые можно калькировать или заменить русскими словами, и при этом не получится никакой «нелепости, но тем не менее в языковой практике последние чаще подменяются иноязычными, как, например, **землемерие—геометрия, любомудрие—философия**, или мирно сосуществуют, напр.: **народность и национальность, личность и индивидуальность, природа и натура, нрав и характер** и пр. Это происходит или оттого, что семантика иноязычных слов не покрывается семантикой русских слов, отличаясь оттенками, или оттого, что «идея как-то просторнее в том слове, в котором она родилась, в котором она сказала в первый раз; она как-то сливается и срастается с ним» (т. VI, стр. 215).

Необходимо принять во внимание также и то, что в каждом языке, при наличии «постоянных правил», имеются еще и капризы, «прихоти, которым смешно противиться»; в нем большую роль играет «потребление», которое «имеет права совершенно равные с грамматикой и нередко побеждает ее, вопреки всякой разумной очевидности» (т. VI, стр. 213). Почему, напр., наряду с русским словом **торговля** в нашем языке имеется, казалось бы, совершенно лишнее слово **коммерция**? Почему «короткое и выразительное» слово **иже** заменено «длинным и неуклюжим» **который**? И сам Белинский отвечает: «Нет ответа на этот вопрос!»

Уже в 1838 году Белинский заговорил о необходимости сдержанности в пользовании новыми как русскими, так и иноязычными словами: «Чтобы не повторять одного и того же, скажем однажды навсегда, что употребление новых слов без расчетливой осторожности может повредить их успеху, и мы решились употреблять их не иначе, как с объяснением, и, пока они не утвердились, как можно меньше» (т. III, стр. 376). В 1840 году, в письме к Боткину (от 16/IV), он, касаясь языка

«Отечественных записок», повторяет: «конкретности» и «рефлексии» исключаются решительно, кроме ученых статей... и вообще нынешний год популярнее и живее, а между тем публика уже и привыкает к новостям»¹. И еще раз решительнее заявляет в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»: «И мы первые скажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Так, напр., ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова «утрировать» вместо «преувеличивать»... Но противоположная крайность, т. е. неумеренный пуризм, производит те же следствия. Судьба языка не может зависеть от произвола того или другого лица». «Работают люди,—говорит он в другой статье,—но совершает время» (т. VI, стр. 213). Иноязычные и вновь образованные слова, в которых есть нужда, сохраняются в языке, несмотря на гонения охранителей, и, наоборот, будут выброшены из его словаря, если в них нет такой потребности, если они не будут поддержаны «употреблением». Так, исчезли слова: **виктория**, **ондироваться**, **аддиция**, **аер**, **имагинация** и т. д., но сохранились, обрусели, стали понятными и отнюдь не смешными, не старинными слова, одновременно с ними употреблявшиеся: **гений**, **фантазия**, **энтузиазм**, **меланхолия**, **фраза**, **фигура**, **лирика**, **пункт**, **линия** и мн. др.

Иноязычные слова **паспорт**, **квартира**, **солдат**, **кучер**, **ассигнация**, **квитанция** и др., связанные с повседневным бытом, настолько акклиматизировались в нашем языке, что стали понятными каждому и осознаются как более русские, чем чисто русские слова **событие**, **возникновение**, **современность**. А слово **возница** при слове **кучер** даже звучит как-то по-иностранному, как греческое **автомедон**. Сами пуристы стали употреблять ненавистные им слова, тогда как, напр., слова **побудка**, **ячество**, **сверкалец** и **быть**, придуманные пуристами вместо иноязычных **инстинкт**, **эгоизм**, **брильянт** и **факт**, никогда не войдут в словарный фонд русского языка. «Да следует ли жалеть об этом?—задает Белинский вопрос.—Каково бы ни было слово, свое или чужое, лишь бы выражало заключенную в нем мысль,—и если чужое лучше выражает ее, чем свое, давайте чужое, а свое несите в кладовую старого хлама» (т. VI, стр. 214). «Из двух сходных слов, иностранного и родного, лучшее есть то, которое вернее выражает понятие» (т. IX, стр. 375).

Чуждый низкопоклонства перед Западом, подлинный и страстный патриот, веривший в могучие силы и величие русского народа, Белинский понимал, что иноязычные слова, в ко-

¹ Письма Белинского, т. II, стр. 104.

торых имеется настоящая потребность, не смогут ослабить самобытность русского языка и принизить достоинство русского народа. Он понимал, что «опекуны слова», неистовствуя против иноязычных слов, проявляют ложный патриотизм. «Наши самозванные патриоты,—говорил он в 1844 г.,—не видят, в простоте ума и сердца своего, что, беспрестанно боясь за русскую национальность, они тем самым жестоко оскорбляют ее. Естественно ли, чтоб русский народ... мог утратить свою национальную самобытность?... Да это нелепость нелепостей!»¹.

В своих работах И. В. Сталин подтверждает справедливость этой мысли: «Конечно, словарный состав русского языка пополнялся при этом за счет словарного состава других языков, но это не только не ослабило, а, наоборот, обогатило и усилило русский язык.

Что касается национальной самобытности русского языка, то она не испытала ни малейшего ущерба, ибо, сохранив свой грамматический строй и основной словарный фонд, русский язык продолжал продвигаться вперед и совершенствоваться по внутренним законам своего развития»².

Таков ход мыслей Белинского по вопросу о введении иноязычных слов в русский научно-публицистический язык. Они высказываются им уже в 1838 году. Ими обусловлена (не без некоторого влияния нападок современников) та сдержанность в пользовании иноязычными и новыми русскими словами, какая проявляется в его языке с этого года. В тех же воспоминаниях, о которых говорено было выше, Тургенев писал, имея в виду увлечение Белинского иноязычной лексикой: «Но эта волна скоро сбежала, оставив за собою только хорошие семена, и снова явился во всей своей мужественной и бесхитростной простоте русский язык Белинского, славный язык, ясный и здравый».

6.

К 1842 году Белинский, в связи с утверждением социальности как основного принципа его мировоззрения и всей его деятельности, окончательно приходит к утверждению принципа простоты в применении к языку, что отвечало его демократическим стремлениям. По поводу «Антологии из Жан-Поля Рихтера» он категорически заявляет, что простота—«одно из первых и непреложных условий великого писателя», что она требует общедоступности изложения и «по своей сущности отрицает всякое внешнее украшение, всякую изысканность». Го-

¹ Статьи о Пушкине. — П. с. с., т. XII, стр. 78.

² И. В. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Изд. «Правда» 1950, стр. 25.

воря так, он разумел, во-первых, лексическую простоту, сдержанность в пользовании новыми русскими и иноязычными словами, о чем уже было сказано, и отказ от изысканного способа выражения, во-вторых—простоту синтаксическую.

Уже в 1835 г. Белинский по поводу стихотворений В. Бенедиктова писал, что «изысканность выражения всегда может служить верным признаком отсутствия поэзии» (т. II, стр. 279). И чем прочней становились реалистические позиции Белинского, тем более крепла в его сознании мысль, что «простота есть красота истины», тем сильнее, принципиальней была его борьба с изысканностью языка, которая, в его понимании, способна «пятнать благородную простоту слога» и враждебна реалистическому показу жизни. Он высмеивает «разливанное море риторики» в «Путевых записках» Вадима (Пассека), «странную изысканность» Шевырева, «цветистый язык» Гурьянова, «романтические красоты» Молчанова, «пышные» и «высокопарные выражения» Языкова, Кукольника, Полевого, Марлинского и Бенедиктова. Первый удар по «фразистому направлению» был нанесен еще в 1834 г. в «Литературных мечтаниях».

Анализируя причины склонности к «высокопарным риторическим украшениям», Белинский ставил их в связь с порочностью самого образования общества его времени: с влиянием французского языка, который, по его мнению, по самой природе своей отличался «фразистостью», с методами обучения изложению мыслей по схоластическим правилам господствовавшей в то время риторики, с бедностью фантазии, с недостаточностью знаний и, наконец, с романтическим направлением в литературе.

Нельзя сказать, чтобы сам Белинский не грешил по части риторических украшений в 30-е годы, платя дань времени в минуты своей патетической настроенности (см., напр., «Бородинскую годовщину»—т. IV), но в 40-е годы все это отошло в прошлое. И не без его влияния в эти годы «пышные возгласы и великолепные фразы, по его словам (конец 1843 г.), уже всем казались пошлыми, и ими уж никого нельзя было заинтересовать» (т. VIII, стр. 389). По поводу сочинений Белинского критик Дружинин, его младший современник, писал: «Все риторическое, яркое, эффектно-рассчитанное в поэзии казалось Белинскому не простым литературным грехом, а преступлением перед развивающеюся публикой»¹. Это было характерно и для его устной речи, чуждой, по воспоминаниям Тургенева, «цветов красноречия» и «подготовленных эффектов».

Идея простоты, за которую ратовал Белинский, сказалась

¹ А. В. Дружинин. Собрание сочинений, СПб, 1865, т. VII, стр. 601—639

и на простоте синтаксической. В 40-е годы речь его стала более общедоступной и в этом отношении: фразы стали проще, периоды короче, и их было меньше. Собственно Белинский никогда не питал особого пристрастия к длинным периодам. У него и раньше, с самого начала его литературной деятельности, заметна была некоторая сдержанность в употреблении периодов. Уже в «Литературных мечтаниях» (1834 г.) он пародирует периодические конструкции Сенковского, который, по его выражению, был «мастак на великие периоды» (т. I, стр. 311—312); осуждает их в рецензии (1838 г.) на книгу А. Т. «Движимость естества» (т. II, стр. 420). В 40-е годы это отношение к периодам еще резче определяется, и он выступает против периодов, составленных по методу «карамзинской речи» (т. VIII, стр. 253).

Но в сознании Белинского простота представлялась лишь одним из условий хорошего литературного языка. Каждому литератору он ставил в обязанность не только соблюдение «простоты», но и «правильности», соблюдения языковых норм. «Кто хочет быть литератором,—говорил он,—тот должен и знать язык и владеть языком»; для него необходимы,—разъяснял он,—и знание теории, и языковая практика, и языковое чутье (т. III, стр. 358, 360). И опираясь на грамматику и языковое чутье, он стойко боролся за языковые нормы, против «синтаксической какографии», как он выражался. Ее он видел в «дурной расстановке предложений» (см. II, 163; т. IX, стр. 33 и др.); в деформации сложных предложений через отрыв придаточных от главных посредством знаков препинания (см. III, стр. 360—361 и др.); в таком построении предложений с деепричастными оборотами, когда нарушался принцип двойного тяготения деепричастного оборота, выработавшийся в русском языке в результате его исторического развития (см. II, 127, 97, 149; III, 417; V, 523—4; VII, 264, 157; IX, 373, 33 и т. д.); в словорасположении, противном духу и законам русского языка, в частности—в постановке определений после определяемых (см. II, 316, 137; II, 38 и пр.), а также в нарушении законов согласования (IX, 373), управления (IV, 33) и т. д. «Синтаксическая какография» делает язык «сбивчивым, темным и тяжелым» и требует упорной борьбы с ней. «Сбивчивость языка»,—по мнению Белинского, происходит от двух причин: во-первых, «от неумения или непривычки владеть языком» (т. II, стр. 51); во-вторых, от «сбивчивости в понятиях» (т. IV, стр. 328). В статье «Русская литература в 1842 году» он, по поводу «людей-недоносков», которые жалуются на «бедность языка человеческого», пишет: «Но это клевета на язык человеческий. что прочувствует и поймет человек, то он выразит; слов недостает у людей только тогда, когда они выражают то, чего са-

ми не понимают хорошенько. Человек ясно выражается, когда им владеет мысль, но еще яснее, когда он владеет мыслью»¹, — можно добавить его же словами — «и языком». «Простота языка, — говорит он в другом месте, — должна быть только выражением простоты и ясности в понятиях и в мыслях»². О тесной связи языка и мышления мы читаем у И. В. Сталина: «Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях результаты работы мышления, успехи познавательной работы человека и, таким образом, делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе»³. А несколько раньше в своей брошюре «О великом и простом человеке» А. С. Яковлев приводит слова И. В. Сталина: «Если человек не может грамотно, правильно излагать свои мысли, значит, он мыслит также бессистемно, хаотично»⁴.

Белинский ревниво оберегал язык, внося поправки и давая стилистические рекомендации. Он был не только великим критиком, не только передовым «гувернером общества» и революционным борцом с «гнусной российской действительностью», но и нормализатором языка. Вооруженный глубокими знаниями языковой теории и веря в то, что чутье русского не обманет его в его языковых действиях, он особое внимание обращал на более слабые участки языкового фронта, содействуя выработке, по собственному его выражению, «складного и общежительного слога». В то время это было и своевременно, и уместно. Он сам хорошо сознавал это. Он видел, что нормы языка еще не установились, что они находились в состоянии колебания и противоречивости, в состоянии какого-то брожения и что требовалась направляющая рука. Он лучше это понимал, чем кто-либо из его ученых современников (Давыдов, Буслаев, Срезневский и др.). Он учитывал современность, не упуская из виду прошлое, а его ученые современники не считали даже нужным брать на учет языковую современность, лишая тем самым себя возможности строить более точные и определенные выводы и предположения относительно законов развития русского языка.

Иногда и сам Белинский грешил против принципа «правильности». Так, в «Литературных Мечтаниях» он неудачно строит, напр., фразу, соединяя союзом «и» обособленный член предложения с придаточным определительным предложением: «несмотря на то, что Булгарин, истинный бич и гонитель всех

¹ «Русская литература в 1842 г.» — П. с. с., т. VIII, стр. 12.

² «Сельское чтение». — П. с. с., т. VIII, стр. 110.

³ И. В. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, 1950, стр. 18—19.

⁴ А. С. Яковлев. О великом и простом человеке. М.-Л., стр. 22.

пороков... и который своими нраво-описательными романами... двинул вперед наше гостеприимное отечество...» (т. 1, 311). А с точки зрения нашей языковой современности у него можно найти много отклонений в отношении синтаксического управления: скучает ими (VII, 516), следить развитие (IV, 364), следил игру (VIII, 437), Гоголь попробовал своих сил (II, 236), является к должности (II, 325), в симпатии с барином (II, 478), надеяться всего этого (III, 59), дарил публику такими приложениями (V, 403), сквозь всего этого (VI, 25), умерла чахоткой (X, 89), женился на ней из денег (X, 89), Булат убит на сражении (X, 89), презирать такими предсказаниями (VII, 446) и т. д. Но не то удивляет, что в языке Белинского имеются погрешности, а то, что их у него поразительно мало. Ведь надо принять во внимание, что он писал всегда «наспех», «сгоряча», «начерно», «не имея времени», — о чем вспоминает Тургенев, — вычищать слог, взвешивать и обдумывать каждое выражение» и отрабатывать «набело». Сам Белинский в письме к Боткину от 26—28/II 1847 года признавался: «Все лучшие мои статьи нисколько не обдуманы. Это импровизация: садясь за них, я не знал, что буду писать». А что касается особенностей синтаксического управления, на которые только что было указано, то они только для нашего времени кажутся отклонениями от литературных норм и не были такими в 30—40-е годы XIX в.: тогда они были нормами, наряду с которыми существовали в речевой практике и их будущие заместители. Пережитки этих норм можно констатировать и в 60-е годы (Герцен, Л. Толстой, Чернышевский и др.).

И в области морфологии у Белинского встречаются не обычные для нашего времени формы: на бале *вм.* на *балу* (VI, 318; V, 333), *домы* *вм.* *дома* (VII, 333; т. I, 336), *толсто́та* *вм.* *толщина* (VII, 48), *глубоко́сть* и *велико́сть* *вм.* *глубина* и *величие* (II, 122; VI, 124); *апофеоза* *вм.* *апофесз* (VI, 82); *метода* *вм.* *метод* (VIII, 253). — *деепричастие* *несовершенного вида* *на в* (не писав, — VII, 381), *форма* *превосходной степени* с *«самый»* (самых пустейших, — X, 448; самых нужнейших, — V, 234), *форма* *на ейш* — с сравнительным значением (с еще толстейшею сожительницею — V, 3); еще поразительнейшим образом, — VI, 74; гораздо важнейшими делами, — V, 119); *бархатных сапогов* *не носит* (X, 168), *большие турков* (VII, 320), *несколько фазов* (VII, 81), *причастие отшибенные* (VI, 515), *студентскую удаль* (VII, 37), *был бранен*, *гораздо поразительнее* (V, 366), *на фортопьянах* (V, 409), *обилие форм на-юю* (маскою, стихиею), *-ию* (грустию, давностию) и др. Но ведь и эти все формы не были отклонениями от языковых норм того времени и повторяются в 60-е годы —

у Чернышевского, Доблюбова, у Герцена, Л. Толстого и др. Более свободен от них был Тургенев.

Охотно вступая в дискуссию по вопросам языка, Белинский не остался вне ее по вопросу, напр., об употреблении родительного падежа ужского рода на — у. Дискуссия была поднята Сенковским. Последний употреблял эту форму без разбора, проявляя некоторое пристрастие к ней, что было пародировано Белинским в «Литературном разговоре» (1842 г.): «И мне кажется, что уже слышу громкий хохот свидетелей ее бешеного восторгу, того что в поэме нет никакого размера, а может, и от сменой претензии пыхтящего рецензенту — преобразовать правописание языка, который чужд ему и которого духу «он совсем не знает» и т. п. По поводу утверждения Сенковского, поляка о происхождении, что в род. падеже надо писать **шуму, дыу, ветру**, Белинский заявляет, имея в виду его нерусское происхождение: «Как природный русский, знаю достоверно, что слова эти в русском языке принимают в родительном падеже окончание равно и **а** и **у**, а когда которое именно, на эт нет постоянного правила, но это слышит ухо природно-русского, слышит — и никогда не обманывается» (т. VII, стр. 33—329).

Попутно, в связи с морфологическими особенностями, следует также отметить, как специфическую для языка Белинского черту, широкое использование им слов с суффиксами субъективной оценки:

«одним разом выснают из своих голов весь неистощимый запас своих огромных разнообразных сведений и умещают его на нескольких **стрелочках** приятельского журнала, ... и без меня достается им, **бененьким**» (т. I, стр. 315).

«Эта **книжечка** ... ужасными пробелами, которыми авторы в наше время прикрывают нищету своего ума и фантазии» (т. III, стр. 34).

«всякая повестка считалась дивом» (VIII, 5).

«Он вздумал написать роман с **веселенькими похождениями**» (VIII, стр. 452)

«теперь всякий обзвелься своим **умишком**» (т. I, стр. 314).

«Стало быть, эта **нижонка** есть невинная спекуляция на внимание читателей» (т. VIII, стр. 341).

«один дрянной **горюдишко** не превратился бы в новый **Лию**» (VIII, стр. 461).

«Она кропает **стишонки**» (IX, стр. 93). И т. д.

Слова с суффиксами ласкательности и уничижительности в этих и подобных случаях выражали в его языке иронический и сатирический тон. Народные по своей семантике, эти

суффиксы противоположной окраски становятся функционально близкими в употреблении Белинского. Вот почему они вводились им даже в слова, входившие в одни и те же сочетания, усиливая экспрессию насмешки и издевки: *плохонький журнал*^е, *душонка низенькая* (IV, 37) и др. Суффиксы ласкательности в подобных случаях семантически переходят в свою противоположность. Впоследствии с такой же стилистической функцией, классово направленной, суффиксы субстантивной оценки широко использовались Чернышевским и Лениным.

Суффиксы субъективной оценки, в таком плане использованные вместе с другими средствами выражения, могли вызывать у современников впечатление резкости, но резкость вообще была свойственна Белинскому. В этом его часто и неосновательно обвиняли. «Люди,—пишет Тургенев,—которые, судя о нем наобум, приходили в негодование от его «наглости», возмущались его «грубостью»... Эти люди, вероятно, удивились бы, если б узнали, что у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, мягкая до нежности, честная до «рыцарства». Резкость была обусловлена не грубостью его натуры, а присущими ему прямоотой и правдивостью, глубокой принципиальностью и честностью, непримиримостью и страстностью в борьбе с идейными врагами за свои передовые взгляды, бережно выношенные и глубоко прочувствованные им. Объяснение всему этому дает его собственное признание. Он, всегда «искренний, правдивый, но горячий в своих увлечениях», как сказал о нем И. А. Гончаров¹, чистосердечно заявлял, что «есть блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное» в том, чтобы «сказать какому-нибудь гению в отставке без мундира, что он смешон и жалок со своими детскими претензиями на важность»; заклеить позором какого-нибудь пройдоху, видока и литературного торгаша и сорвать с них маску, «хотя бы она была и баронская». И нет ничего удивительного в том, что язык Белинского отличается высокой эмоциональной напряженностью, что в нем нет бесстрастия политического скопца, а слышится то восторженный пафос, то убийственная ирония или гневный сарказм. Нет ничего удивительного в том, что в подборе языковых средств из общенародного языка он не знает половинчатости и середины, смягчения и прикрашивания, что слово его не только продукт благородной и честной мысли, но и пламенного сердца «с какой-то фанатической любовью к свободе и независимости человеческой личности».

¹ И. А. Гончаров. На родине.—П. с. с. СПб. 1899, т. XI, стр. 76.

«Чувствую,—пишет сам Белинский Боткину 31 марта 1842 г.,—теперь вполне и живо, что я рожден для печатных битв и что мое призвание, жизнь, счастье, воздух, пища — «полемика»¹.

Белинский был не только критиком, а и публицистом. Он много поработал над совершенствованием литературного языка и по праву может считаться создателем русского научно-публицистического языка. В дальнейшем своем развитии, продолжая совершенствоваться, научно-публицистический язык шел по его пути. Гениальными продолжателями его являются представители революционно-демократической публицистики шестидесятых годов XIX в.—Чернышевский и Добролюбов. В их языке живут лучшие традиции, идущие от «неистового Виссариона», а отголоски этих традиций звучат и в большевистской печати.

К ИСТОРИИ РАБОТЫ БЕЛИНСКОГО В «ТЕЛЕСКОПЕ»

1. Белинский накануне «Литературных Мечтаний»

1.

Как критик и теоретик литературы, Белинский формировался в 1833—1834 гг. в кружке Станкевича, как журналист — в редакции «Телескопа» и «Молвы».

Полтора года Надеждин держал Белинского на черной работе поставщика переводного материала — рассказов, статей и заметок из «Revue Etrangère», «Revue de Paris», «Courier du beau monde», «Miroir».

Никакого выхода в критику и публицистику из этого тупика как будто бы не намечалось. Не случайно и поиски исследователей направлены были в течение многих лет на обнаружение звена, связующего Белинского-журнального чернорабочего и Белинского-автора «Литературных Мечтаний», предшественника «полного вытеснения — по знаменитой формулировке В. И. Ленина — дворян разночинцами в нашем освободительном движении»¹.

Рукописи Белинского периода 1833—1834 гг. не сохранились. Работа биографов и текстологов была переключена поэтому на материал, сосредоточенный в журналах Надеждина.

Пионером в области разысканий неизвестных публикаций Белинского среди анонимных статей и заметок «Телескопа» и «Молвы» явился С. А. Венгеров. Благодаря его исследовательской инициативе, фонд ранних оригинальных и переводных произведений великого критика необычайно обогатился². Но,

¹ В. И. Ленин. Из прошлого рабочей печати в России. («Соч. В. И. Ленина», изд. 3-е, т. XVII, ст. 341).

² «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского» под ред. и с примеч. С. А. Венгерова, т. I, СПб, 1900, стр. 156—307. Ср. заметку В. Гурьянова «Неизвестные переводы Белинского» («Литерат. Наследство», т. 57, 1951 г., стр. 255—256). В письме Белинского к брату Константину от 21 мая 1833 г. сохранилось упоминание о принадлежности Белинскому еще одного перевода, а именно статьи «Английские Нравы. Граф и Альдерман» («Телескоп», 1833 г., № 14. Ср. «Письма Белинского», т. I, стр. 51—53). На том основании, что этот перевод снабжен

наряду с статьями, бесспорно принадлежавшими Белинскому, в первый том нового полного собрания его сочинений, выпущенный С. А. Венгеровым в 1900 году, попали и произведения, включение которых в литературное наследство «неистового Виссариона» приходится признать явно ошибочным. Беда была бы не так велика, если бы речь шла о публикациях, ничего существенного, принципиально нового, в литературный формуляр критика не вносящих. Но, поскольку некоторые из этих «открытий» оказались опорными пунктами для новых ошибок, поскольку их материал стал заполнять белые пятна биографии Белинского, постольку и пересмотр всех оснований включения в корпус сочинений Белинского тех или иных анонимных произведений из «Телескопа» и «Молвы» должен стать первоочередной задачей исследователя начальных этапов работы великого критика.

2.

Как этюды, предваряющие большое полотно, как статьи, предшествующие «Литературным Мечтаниям», С. А. Венгеров включил в полное собрание сочинений Белинского полемическую заметку «Литературная Новость» и две рецензии — на роман Н. Лутковского «Любовь моего соседа» и на рассказ «Дедушкины посиделки».

Если принять эту гипотезу, Белинский, как критик и публицист, дебютировал заметкой «Литературная Новость» в «Молве» от 15 июня 1834 г. (№ 24, стр. 366—370).

Ни с какой стороны эта статья, однако, не похожа ни на литературный дебют вообще, ни на первый критический опыт Белинского — в частности. Более чем странен для начинающего автора, для человека, не искушенного в журнальной борьбе, был бы самый повод, вызвавший «Литературную Новость» к жизни. Это отклик на роман Греча «Черная женщина», но отклик, вызванный не самым романом, которого автор заметки еще не прочел, ибо книжка Греча не успела дойти до Москвы, а яростная атака на информацию о «Черной женщине» в «Северной Пчеле», протест против рекламного характера этой информации в статье самого Греча и в первой рецензии на роман, написанной В. В. В. (В. М. Строевым).

То обстоятельство, что В. М. Строев, недавний сотрудник ссылкой на «New Montly Magazine», а «по-английски Белинский не знал». С. А. Венгеров отверг авторство Белинского. Однако, как разъяснил М. П. Алексеев, ссылку на английский первоисточник в данном случае надо понимать, конечно, как обозначение источника не Белинского, а того французского издания, из которого Белинский эту статью извлек. (См. «Венок Белинскому», М., 1924, стр. 170). Английский материал в русских журналах 20—30-х годов обычно восходил не к первоисточнику, а к французским переводам.

журналов Надеждина, очень резко обнаруживал в «Северной Пчеле» свою близость к Н. И. Гречу и его окружению, в какой-то мере оправдывало интерес лишь самого редактора «Молвы» к этому мало значительному литературно-бытовому эпизоду. Всеми своими корнями заметка «Литературная Новость» уходила в аппарат «Молвы», изобличая в авторе давнего антагониста «Северной Пчелы», исконного врага Н. И. Греча, хорошо осведомленного в журнальной борьбе профессионала. Это позиции, конечно, самого Надеждина, а никак не Белинского.

Заметка «Литературная Новость» претенциозна и мелочна, ее пафос фальшив, юмор грубоват и натянут, в ней нет и следа той высокой идейности, того лиризма, свежести и непосредственности, которые так характерны для молодого Белинского. Фразеологии Белинского органически чужды такие красоты семинарской элоквиции, как «роман г. Греча совершил, наконец, торжественное вшествие в печальную юдоль книжного света» или наивное щегольство цитатной латынью (Эпиграф «*Amititia cara et valde gaia*»; неожиданная ссылка на девиз голландского червонца: «*Concordia res parvae crescunt*»). Это — стиль самого Надеждина, хорошо всем памятный стиль полемических статей Никодима Надоумко в «Вестнике Европы» и в «Телескопе» 1829—1831 гг.

Мы попытались не только мотивировать свои сомнения в принадлежности Белинскому полемической заметки «Литературная Новость», но и определить ее настоящего автора. Какова же была, однако, аргументация С. А. Венгерова, перепечатавшего эту статью в полном собрании сочинений Белинского? Как это ни покажется сейчас странным, но большой аргументации покойный исследователь и не развертывал. С присущей ему резкостью эмоциональных оценок, он в своих примечаниях даже откровенно признал, что «тон статейки мало напоминает манеру Белинского», а, как единственный и якобы решающий довод в пользу авторства последнего, привел подпись, которой была скреплена «Литературная Новость» в «Молве»: «—нский»¹.

Эта справка могла быть рассчитана, однако, только на формальный эффект, а по существу не выдерживала, конечно, никакой критики. Нам неизвестно ни одного случая, когда бы Белинский, пользовавшийся разными способами замены своей фамилии в печати («В. Б.», «Б», «-он-инский») воспользовался бы концовкой «нский». В числе сотрудников «Телеско-

¹ «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. I, СПб, 1900, стр. 250. Впервые возражения против атрибуции С. А. Венгерова сформулированы были нами в заметке «Мнимые статьи молодого Белинского» в «Литерат. Наследстве»; т. 57, 1951 г., стр. 564—567.

па» и «Молвы» были к тому же литераторы, фамилии которых имели такое же окончание (напр., О. М. Бодянский). Наконец, никто бы не мог возбранить Надеждину, как редактору «Молвы», намеренно отвести подозрение от себя, как автора, подписью, напоминающею фамилию того или иного из его сотрудников.

3.

Рецензии на «Любовь моего соседа» и на «Дедушкины посиделки», помещенные в «Молве» от 6.VII.1834 г., № 27, стр. 10—11, за подписью «W», ни тематически, ни стилистически, ни формально-конструктивно не схожи с общеизвестными писаниями молодого Белинского. Правда, в них нет ничего, что и резко противостояло бы последним в идеологическом плане.

«Подпись «W», — писал С. А. Венгеров, — дает известное основание приписать эти две небольшие рецензии Белинскому. Правда, буквой W мог бы подписаться и В. Межевич, деятельный сотрудник библиографического отдела «Молвы». Но так как непосредственно за этими двумя статейками идет рецензия, подписанная псевдонимом Межевича — **Читатель ex officio**, то становится вероятным, что буква W поставлена для того, чтобы отделить двух авторов. Слог как будто бы Белинского. С этими оговорками считаем нелишним перепечатать статейки¹.

Аргументация С. А. Венгерова сама по себе очень осторожна и никак не мотивирует его же — для нас совершенно неожиданного — заключения. Последнее могло бы иметь некоторое оправдание лишь в одном случае — если бы удалось установить хоть какие-нибудь признаки, роднящие статьи за подписью «W» с подлинными статьями Белинского до «Дедушкиных посиделок» или после них. Таких признаков, однако, установить не удалось, а потому и заключение С. А. Венгерова должно отпасть как формально порочное и беспредельно расширяющее возможности заполнения собрания сочинений того или иного автора анонимной продукцией любого из его товарищей по журнальной работе.

4.

Прошло около полувека со времени включения в полное собрание сочинений Белинского случайных рецензий неизвестного автора за подписью «W». Заметки о «Любви моего соседа» и о «Дедушкиных посиделках» утвердились за Белинским уже как бы по праву давности. Больше того, нейтрально равнодушное отношение к засорению сочинений Белинского вещами, ему не принадлежащими, дало плод. В 1945 г. М. Я. Поляков, автор нескольких интересных статей о моло-

¹ «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. I, СПб, 1900, стр. 254.

дом Белинском, работая над «Молвой», обнаружил в одном из ее номеров еще одну заметку за подписью «W». Эта рецензия оказалась в «Театральной хронике» и была оформлена в виде «Письма к издателю» о постановке в Москве пьесы А. А. Шаховского «Смольяне» («Молва», 1834, № 19, стр. 295—297).

Несмотря на то, что «письмо» это обнаруживало в его авторе черты квалифицированного театрального рецензента, каким Белинский в эту пору еще быть не мог, несмотря на то, что оно никак не увязывалось с известными нам суждениями Белинского о репертуаре 30-х годов и о Шаховском, как драматурге, М. Я. Поляков использовал свое открытие не для критического пересмотра всех заметок за подписью «W» в «Молве», а для прокламирования традиции: «Еще С. А. Венгеров вполне обоснованно установил, что подпись «W» принадлежит Белинскому — писал М. Я. Поляков. — Две заметки из № 27 «Молвы» за 1834 г., подписанные этой буквой, он ввел в собрание сочинений критика. Третью, о которой идет речь, он, по странному недосмотру, не заметил»¹.

Мы нарочно привели выше полностью выписку из комментария С. А. Венгерова, чтобы показать, что даже он сам никогда не считал «установленным» тождество «W» с Белинским. «По странному недосмотру», он действительно упустил заметку о «Смольянах». Но, если бы этого недосмотра не случилось, то С. А. Венгеров сам поспешил бы от своей осторожной гипотезы отказаться. Он, конечно, хорошо знал, что автором статей и заметок о новых театральных постановках в московских журналах 30-х годов был страстный театрал и профессиональный театральный рецензент В. М. Межевич, который еще до Белинского и вместе с ним деятельно сотрудничал и в «Телескопе» и в «Молве»².

5.

Изъятие из статей и рецензий молодого Белинского полемических заметок за подписями «нский» и «W», как вещей, ему не принадлежавших, обязывает исследователя еще к одному выводу биографического порядка.

Активное сотрудничество Белинского в журналах Надеждина, начавшееся весной 1833 г. и имевшее постоянный характер (его переводы печатались из месяца в месяц, почти

¹ «Театр», 1945, № 3—4, стр. 79. В своей книге «Белинский в Москве» (М, 1948, стр. 126) М. Я. Поляков уже безоговорочно пользуется материалом статей «W» для иллюстрации взглядов Белинского.

² «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. I, стр. 254. Литературу о В. С. Межевиче см. в «Источ. словаря русских писателей» С. А. Венгерова, т. IV, стр. 233—234, а также в наших примечаниях к публикации «Белинский в неизданной переписке современников» («Литерат. Наследство», т. 56, стр. 142—144).

без перебоев), к началу следующего года не сокращается, а вовсе обрывается. За время с января до середины июля 1834 г. вся работа Белинского в «Телескопе» и «Молве» исчерпывается публикацией переводного очерка из истории раннего средневековья «Испытание кипящею водою». Но и этот очерк залежался, видимо, в портфеле редакции с предыдущего года, ибо, несмотря на свою цензурную дату (6 февраля 1834 г.), он был напечатан в одном из дополнительных номеров «Телескопа», недоданных подписчикам за 1833 г.¹ Лишь с конца лета Белинский возобновляет свое сотрудничество в «Телескопе» и «Молве», работа его опять получает регулярный характер, при чем с 3 августа Белинский переселяется в квартиру Надеждина и даже заменяет его в течение полутора месяцев в журнале на правах заведующего редакцией.

Чем же объяснить установленный нами полугодовой перерыв сотрудничества Белинского в «Телескопе», его временный, но явный отход от Надеждина? Как известно, из Москвы он никуда в течение этого времени не отлучался, материальное положение его к лучшему не изменилось, никакой другой работы, кроме случайных уроков, у него не было. Мы полагаем, что этот перебой в литературно-деловых взаимоотношениях Белинского с Надеждиным мог быть вызван только какими-то осложнениями принципиального или редакционно-тактического порядка. Эти осложнения мы склонны связать, разумеется, гипотетически, с судьбой той первой оригинальной статьи, которая написана была Белинским для «Телескопа» в конце 1833 г., но света так и не увидела. Об этой статье, точнее о предстоящем появлении ее в «Телескопе», Белинский уведомлял брата Константина в своем письме из Москвы от 8 ноября 1833 г. Свою новую работу, в отличие от всех предыдущих, Белинский характеризовал как «оригинальную статью» и отмечал даже ее название: «Тоска». Ни в одном из номеров «Телескопа» и «Молвы» статьи под этим названием, однако, не оказалось. Она не сохранилась и в рукописи².

¹ «Телескоп». 1833 г., № 21, стр. 62—79. Ср. «Летопись жизни Белинского» Редакция Н. К. Пиксанова, М., 1924, стр. 25—28.

² Первые сведения об этой статье Белинского появились в печати еще в 1859 г., на основании отмеченного нами выше письма великого критика к брату от 8.XI.1833 г., но без точной даты этого свидетельства и с ложной ссылкой на то, что «Тоска» опубликована была в «Телескопе» 1833 г. («Москов. Ведомости», 1859 г., № 25). С. А. Венгеров, перепечатав полностью эту заметку, снабдил ее разъяснением: «Такой статьи ни в «Телескопе», ни в «Молве», ни за 1833, ни за позднейшие годы, ни оригинальной, ни переводной не появлялось. Тут какое-нибудь недоразумение или ошибка». («Юлн. собр. соч. Белинского», т. I, с. 249). Для того, чтобы исчерпать литературу предмета, отметим предположение, высказан-

Можно, однако, предполагать, что статья была литературно-критической, писанной в эмоциональных тонах «Литературных Мечтаний». К этому заключению уполномачивает нас и тематическая близость ее названия («Тоска») знаменитому подзаголовку «Литературных Мечтаний: «элегии в прозе». Этому не противоречит и самая интонация начальных страниц «элегий»: «Помните ли вы то блаженное время, когда в нашей литературе пробудилось было какое-то дыхание жизни?.. Увы, где ты, о *bon vieux temps*, где вы, мечты отрадные, где ты, надежда-обольститель? Какое ужасное, раздирающее душу разочарование, после столь сильного, столь сладкого обольщения».

Если рассматривать «Тоску», как начальный вариант «Литературных Мечтаний», как первый подход Белинского к проблематике его статей 1834 г., то и вопрос о переходе Белинского — журнального чернорабочего на амплуа Белинского — ведущего критика утратит в значительной степени свою остроту, перестанет ассоциироваться со скачком, биографически не мотивированным, литературно не подготовленным¹.

Белинский переходной поры, Белинский кануна «Литературных Мечтаний» это вовсе не аноним, какой-то «нский» или «W», автор случайных рецензий или бесцветных переводных заметок, затерянных на страницах «Молвы». Нет, это автор «Дмитрия Калинина», это автор «Тоски», это автор, вероятно, и других произведений, не дошедших до читателя, но в процессе создания которых определилась в 1833—1834 гг. база для выхода Белинского в большую литературу.

II. Н. А. Полевой — сотрудник «Телескопа»

«Надеждин передает свой «Телескоп» Белинскому — писал Н. В. Станкевич 1 июня 1835 г. Я. М. Неверову — с № 7 он вступает в его распоряжение, а мы понемногу все станем ему помогать. За это берутся и еще некоторые особы»².

ное А. А. Корниловым, что «статьей, о которой сообщал г. Острови-дов под названием «Тоска» и которую тщетно искал в «Телескопе» С. А. Венгеров, является «отрывок из романа «Две жизни», опубликованный в «Телескопе» 1834 (ч. XIX, стр. 377—390) за подписью «У—Z». Гипотеза эта, не подкрепленная ни одним аргументом («Рус. Мысль», 1911, № 6, стр. 32), не заслуживает внимания. Но «статьей» Белинский мог называть, конечно, и беллетристическое произведение.

¹ «В биографии Белинского есть один невыясненный вопрос, который был впервые поставлен С. А. Венгеровым — отмечается даже в популярных обзорах жизненного пути великого критика. — Каким образом Надеждин, зная Белинского только как переводчика, приступает к печатанию статьи «Литературные Мечтания», имея только ее начало и совершенно не зная критических сил Белинского?» (И. Кубиков «В. Г. Белинский. Жизнь и литературная деятельность», М., 1924, стр. 11).

² «Переписка Н. В. Станкевича» М., 1914, стр. 321.

² В числе этих «особ», как постараемся мы доказать, был и Н. А. Полевой. В пору организации «Телескопа» он уже около полутора лет нигде не печатался. Шум, связанный с ликвидацией «Московского Телеграфа», закрытого по именному повелению императора Николая I от 3 апреля 1834 г., еще далеко не утих. О возвращении к активной журнальной работе в эту пору для него не могло быть и речи.

«Не ошибаясь в том, что Н. А. Полевой не перестанет писать и после запрещения его журнала — отмечал в своих воспоминаниях Ксенофонт Голевой—Уваров предписал цензурным комитетам, чтобы они не позволяли печатать **ничего**, написанного бывшим издателем «Московского Телеграфа», так что, по произволу министра народного просвещения, самое имя Н. А. Полевого делалось запрещенным для печати»¹.

Это имя пришлось снять и с «Живописного Обозрения», первого русского иллюстрированного журнала для юношества, организованного Полевым после запрещения «Московского Телеграфа». Полевой был инициатором, организатором, редактором и едва ли не единственным автором всех оригинальных и компилятивных статей в этом издании, которое так горячо приветствовал в «Молве» леом 1835 г. Белинский².

Мы не сомневаемся в том, что этот печатный привет был бы значительно сдержаннее если бы Белинский не имел в виду оказания моральной и материальной поддержки Полевому, имя которого еще нельзя было назвать открыто.

Время знакомства Белинского с Полевым точно не установлено. Видимо, оно произошло в самом начале 1835 г., т. е. вскоре после опубликования «Литературных Мечтаний», через несколько месяцев после запрещения «Московского Телеграфа». Местом их первой встречи был, конечно, литературный салон Н. С. Селивановского где Белинский познакомился и с В. П. Боткиным, старым приятелем Н. А. Полевого.

Белинский всегда высоко расценивал вклад в историю русской культуры, сделанный Полевым, как редактором

¹ «Н. А. Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х гг.» Редакция В. Н. Орлова, Л., 1934, стр. 330—331.

² Статья Белинского под названием «Литературная Новость». «Живописное Обозрение», издаваемое А. Семеновым, появилась в «Молве» 1835 г. №№ 24—26 (Дата цензурного разрешения этого тройного номера — 30. VII 1835 г.). Принадлежность статьи о «Живописном Обозрении» Белинскому установлена В. С. Спиридоновым («Литературное Наследство», т. 55, 1948, стр. 304—305). Наши соображения о том, что статья Белинского вызвана была его желанием оказать поддержку Полевому, а не просто информировать читателей о новом издательском предприятии А. Семенова, только подкрепляют аргументацию В. С. Спиридонова.

«Московского Телеграфа»¹. В первом же своем письме к Полевому, информируя 26 апреля 1835 г. опального публициста о своей новой роли в «Телескопе», Белинский счел необходимым подчеркнуть свое восхищение писателем и человеком, который «с таким благородным и беспримерным самоотвержением старался водрузить на родной земле хоругвь века, который воспитал своим журналом несколько юных поколений и сделался вечным образцом журналиста»².

В условиях полной литературной изоляции, в которых находился Полевой, обращение к нему молодого Белинского получало совершенно определенный общественно-политический смысл — это было не только первое открытое признание исторических заслуг редактора и вдохновителя «Московского Телеграфа» со стороны наиболее яркого выразителя новой критической мысли, но и некоторое обоснование тем самым его готовности на союз, на практическую постановку вопроса о взаимодействии коллектива молодых сотрудников «Телескопа» с такой политической и литературной силой, как Н. А. Полевой. О том, что последний именно так и понял обращение Белинского, свидетельствует его ответ, писанный в тот же день: «Чувствую, как сильно устарел я, но все еще кипит сердце на дело правды, и если я могу только чем быть полез-

¹ «Белинский признавал себя учеником «Московского Телеграфа» — отмечал Ксенофонт Полевой. — Много раз говорил нам, что еще живши в своей губернии, читал, перечитывал этот журнал, воспитывая себя его идеями и направлением» («Северная пчела», 1859, № 229). Эта связь многократно отмечалась и в первых же откликах на статьи Белинского в печати. Так, например, А. Ф. Воейков констатировал, что Белинский «отважно идет по следам храброго издателя «Московского Телеграфа» («Литер. Прибавления к Русскому Инвалиду» от 15.II.1836 г., № 14) и называл его «юношей, воздоенным кипучим млеком Н. А. Полевого». («Литер. Прибавления к Русскому Инвалиду» от 15.VIII. 1836 г., № 66). Об этом же очень ядовито писал П. А. Плетнев в своей рецензии на брошюру Белинского «Н. А. Полевой» («Современник», 1846, № 4, стр. 348—349).

² «Письма Белинского», т. I, СПб, 1914, стр. 62. Развитием и обоснованием этих положений явилась через двадцать лет характеристика Н. А. Полевого в специальном этюде «Николай Алексеевич Полевой». Сочинения В. Белинского. СПб, 1846. Как продолжатель традиций Полевого, Белинский и был особенно ненавистен своим политическим противникам из кругов «Московского Наблюдателя» и «Москвитянина». Соплемя хотя бы на памфлетные строки Погодина в его статье «Несколько слов по поводу некролога г. Белинского»: «Беспокойно-покойный Телеграф был для него гимназией, университетом, академией и библиотекой для чтения. Всю премудрость свою почерпнул он в своей молодости из этого мутного источника и подновлялся он по слухам из вторых и третьих уст о новых произведениях французской литературы» («Москвитянин», 1848, № 8, стр. 43). О том, что Погодин имел в виду социально-политические установки Белинского, а не эстетическую систему, свидетельствует молчание в некрологе о философских исканиях Белинского.

ным—готов служить вам. Дайте только мне еще немного отдохнуть от болезней душевных и телесных»¹.

В литературе о Белинском этот обмен письмами с Полевым был только зафиксирован, но никак не освещен. Несколькими строками уделил ему лишь С. А. Венгеров, заключение которого усвоено было и позднейшими биографами. Оно сводилось к следующему: «Приглашенный Белинским Полевой был очень растроган тем, что Белинский «потрепал лавры старика», но ничего не дал. Ему с его огромной семьей и огромными долгами надо было устроиться при большом деле, и при том хозяином, а не сотрудником»².

Это заключение сделано было, однако, слишком поспешно. И для одной и для другой стороны наметившийся личный контакт важно было закрепить в печати. Для Полевого журнал Белинского являлся в эту пору единственным мостом в публицистику, для Белинского очень существенно было поднять свой редакционный авторитет привлечением к сотрудничеству Полевого. Само собою разумеется, что, при наличии запрета на журнальную работу, Полевой мог появиться в «Телескопе» или без подписи или под псевдонимом. В этом направлении мы и осуществили пересмотр материала «Телескопа» за период редактуры Белинского. Старые политические и литературные счеты Надеждина с Полевым исключали возможность участия последнего в «Телескопе» в другое время.

В первой же книжке журнала, выпущенной Белинским—это был по общему счету за 1835 г. номер седьмой—внимание читателя не мог не привлечь широко развернутый критический разбор драмы Альфреда де Виньи «Чаттертон».

Новая драма де Виньи была в центре внимания и западноевропейской и русской литературной критики. С большой программной статьей выступил в «Московском Наблюдателе» по поводу «Чаттертона» С. П. Шевырев. В своем известном обзоре «О критике и литературных мнениях «Московского

¹ А. Н. Пыпин «Белинский, его жизнь и переписка», изд. 2, СПб, 1908, стр. 122. К. А. Полевой, характеризую начальный период дружеских отношений Белинского с семьей Полевых, замечал: «Эта приязнь была совершенно бескорыстной как с нашей, так и с его стороны. Брат мой, сам опальный литератор, не мог покровительствовать ему ни в чем, а Белинский, безвестный юноша, не мог оказать ему никакой услуги. Мы видели в нем только добродушную искренность и благородную пылкость во всех его стремлениях; он с своей стороны, выражал нам свои жалобы, свои сетования на людей, на их испорченность, пошлость, и, конечно, находил утешение в беседе с тем, кому так искренно открывал свою душу» («Записки К. А. Полевого», СПб, 1887, ч. 3, гл. 2). Вся эта характеристика слишком, к сожалению, обща и не конкретна.

² «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. II, СПб, 1900, стр. 587.

Наблюдателя» полемизировал с Шевыревым Белинский¹. В какой-то мере на эту полемику ориентирована была и специальная статья, без подписи автора, в седьмом номере «Телескопа»². Эта статья критически реферировала высказывания о «Чаттертоне» ведущих французских журналов — *Revue de Paris* и «*Revue de deux Mondes*». Подчеркнутый нейтралитет русского обозревателя нарушали только заключительные страницы разбора.

«В наш век, когда частные физиономии европейских народов слились в общую — утверждал анонимный автор—когда жизнь и искусства всех времен и всех стран сделались предметом общего внимания, когда устранились уничижительные для человечества предрассудки местности и привычки, в наш век возможны все роды драмы, лишь бы они были естественным выражением души... В наше время менее, нежели когда-нибудь, может существовать драматическая система. Степень материяльного действия, великолепного спектакля, определяется идеею драмы, а идея драмы фантазиею поэта. Разумеется, впрочем, что такие пьесы, как Мессинская невеста, не могут в такой степени возбуждать общий интерес, как Гец или Вильгельм Телль, следовательно не могут иметь и такого успеха на театре. Для **честного**³ успеха драмы на нынешней сцене она должна быть взята из нашего, из близкого или хорошо знакомого нам общества, должна иметь народный, современный или общий человеческий интерес, должна быть обработана свободно, поэтически, не подчинена чуждым формам и не обвешена без внутренней необходимости сценическими побрякушками, известными под именем патетических общих мест, материяльного действия, великолепного спектакля».

Проблематика этих заключительных страниц анонимной статьи о «Чаттертоне» в условиях борьбы за национальный театр, за народную русскую драму, была исключительно острой и актуальной. Протест против «сценических побрякушек, известных под именем патетических общих мест, материяльного дейст-

¹ «А. де Виньи, — писал Белинский в статье «О критике и литературных мнениях «Московского Наблюдателя» — овладела мысль о бедственном положении поэта в обществе, о его враждебном отношении к обществу, которому он служит, и которое, в награду за то, допускает его умереть с голоду... В мысли А. де Виньи много истины, но не такую показала она г. Шевыреву, и он напал на нее стремительно, опровергает ее с каким-то ожесточением, как явную нелепость, как клевету на общество» («Телескоп», 1836, № 6. Ценз. разр. 17 апреля 1836 г.). Ср. Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. II, стр. 489.

² «Чаттертон». Драма А. де Виньи («Телескоп», 1835 г., ч. XXI, № 7, стр. 418—440).

³ Выделено в «Телескопе» курсивом.

вия, великолепного спектакля» явно обращался против официально-ходульных исторических мелодрам Кукольника и его школы, утверждение которых в репертуаре вдохновлялось директивами III Отделения и субсидировалось министерством императорского двора. На страницах «Телескопа» таким образом не только повторялся, но получал еще и новое теоретическое и историко-литературное обоснование вызов, не так давно брошенный Полевым всей фаланге казенных драматургов в его известной статье о пьесе Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». Это была именно та статья, которая и явилась ближайшим поводом для закрытия «Московского Телеграфа»¹. Характерная деталь—даже попутная сентенция в разборе «Чаттертона» о «честном успехе» явно перекликалась с намеками на успех, не связанный с литературными достоинствами пьесы, в криминальном разборе «Руки всевышнего»².

Кто же, кроме самого Полевого, мог так смело перенести в «Телескоп» продолжение дискуссии, которая стоила жизни «Московскому Телеграфу»? В чьих устах не показалось бы плагиатом повторение излюбленных Полевым мыслей не только о путях русской драмы, но и об общих достижениях «нашего века», о прогрессе в жизни «народов», об устранении «уничижительных для человечества предрассуждений местности и привычки».

Не случаен интерес Полевого и к писаниям о Чаттертоне. Трагическая судьба поэта, гибнущего в борьбе с холодным равнодушием света,—это тема, особенно характерная для проблематики всей его прозы. Как свидетельствует Белинский, «представить художника в борьбе с мелочами жизни и ничтожностью людей—вот тема, на которую г. Полевой пишет с особенною любовью, и с особенным успехом: доказательством тому его повесть «Живописец» и роман «Аббадонна»³.

Итак, самый материал анонимной статьи о Чаттертоне, изучаемый во всех его напастованиях, позволяет положительно разрешить вопрос принадлежности ее Полевому, независимо от наличия аргументов документальных. Мы бы и не прибегли к последним, если бы эти доказательства не оказались в переписке Белинского с Полевым за сентябрь 1835 г.

¹ «Н. А. Полевой и его журнал «Московский Телеграф» (М. И. Сухомлинов «Исследования и статьи», т. II, СПб, 1889, стр. 365—431).

² «Мы слышали, что сочинение г. Кукольника заслужило в Петербурге много рукоплесканий на сцене. Но рукоплескания зрителей не должны приводить в заблуждение автора» («Московский Телеграф», 1834 г., февраль, кн. 1).

³ «Молва», 1835 г., № 11. С. «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. I, стр. 76.

В самом деле, статья о Чаттертоне была опубликована в седьмом номере «Телескопа», подписанном к печати 1 сентября 1835 г. Возможно, что Полевым обещан еще был перевод самой драмы, ибо в записке Белинского от 19 сентября того же года к Полевому мы находим вопрос: «Благоволите уведомить меня касательно вашего намерения на счет Чаттертона, я бы и распорядился сообразно с вашим решением... Мне нужно только узнать, а я во всяком случае ваш должник, вполне чувствующий всю важность ваших одолжений, всю великость вашей снисходительности»¹.

Нетрудно догадаться, что, благодаря Полевого за статью, Белинский еще не знает, рассматривать ли ее как подарок, или как обычный журнальный материал, подлежащий оплате. Именно так понял это письмо и сам Полевой: «Беда не велика,—отвечал он Белинскому в тот же день,—только бы годилось вам. Касательно двух других предметов <статья об «Энциклопедическом Лексиконе» и перевод «Чаттертона»?> приятель мой юба начал их, но—повремените немного. Столько хлопот и занятий! Как нарочно все болен»².

Характерна осторожность, с которой говорит Полевой о своей работе для «Телескопа». Читывая запрещение С. С. Уварова, он обеспечивает себя и журнал от возможных цензурно-полицейских осложнений обещанием статей не своих, а какого-то мифического «приятеля». Впрочем, эта конспирация до конца не выдерживается, и в заключении письма аноним, работающий для «Телескопа», сливается с Полевым.

III. Белинский и литературно-театральный салон Н. С. Селивановского

1.

Статья о первом представлении «Ревизора» в Москве, опубликованная в девятом номере «Молвы» 1836 г. за под-

¹«Письма Белинского», т. I, СПб, 1914, стр. 62—63. Е. А. Ляцкий, опубликовавший это письмо, отказался от его комментирования.

²«Письма Белинского», т. I, стр. 391. Первые строки этого ответа Полевого В. Г. Березина, полемизируя с нами, связывает не со статьей о Чаттертоне, а с биографией Мольера, предоставленной Белинскому Полевым для перевода в «Молве» (1835 г., №№ 37—39). Это предположение основательно, но к вопросу об авторе статьи о Чаттертоне не относится. Краткий обзор материалов, относящихся к истории отношений Белинского и Полевого, дан в книге С. Ашевского «Белинский в оценке его современников». СПб, 1911, стр. 25—36. Некоторые дополнительные сведения об этом учтены в комментариях В. Н. Орлова к изданию «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов», Л., 1934, стр. 492—494. Ценный материал для истории ранних взаимоотношений Белинского и Полевого дают четыре письма последнего за время с 1835 по 1837 г., опубликованные Р. П. Маториной в изд. «В. Г. Белинский и его корреспонденты», М., 1948, стр. 254—257.

писью А. Б. В.¹, принадлежит к числу интереснейших документов борьбы за новый русский реалистический театр, за демократическую его ориентацию, за актуальную тематику национальной драматургии. Гнатьно поэтому и то исключительное внимание, с которым в течение ста с лишним летистики русской литературы и театра анализируют материал статьи, автор которой пожелал остаться неизвестным.

Интригующая и ничего не говорящая подпись «А. Б. В.» (три первых буквы русского алфавита) не ассоциировалась ни с одним большим литературным именем. Однако литературно-политические установки статьи и самое место ее публикации—«Молва», вдохновлявшаяся в эту пору Белинским,—с точки зрения идеологически противников «неистового Виссариона» являлись достаточным основанием для того, чтобы инициалы «А. Б. В.» расшифрованы были в некоторых литературных кругах, как подпись Белинского. Об этом сразу заявлено было и в печати. Мы имеем в виду письмо в редакцию «Северной Пчелы» 1836 г., в котором некий аноним, укрывшийся за подписью «Титулярного советника Ивана Евдокимова, сына Покровского», резко полемизировал с суждениями «Молвы» о постановке «Ревизора»². В письме Покровского (Белинский подозревал, что автором его был сам директор Московских императорских театров М. Н. Загоскин) подчеркивались демагогические тенденции Белинского, как постоянного сотрудника «Телескопа» и «Молвы», его вражда ко всем тем, кто «носит чистое белье, моет лицо и от кого не пахнет ни чесноком, ни водкою», а затем резко характеризовалась статья «А. Б. В.», как примитивная «апология» «Ревизора» и злонамеренное искажение всей истории его постановки в Москве: «Эта статья никем не подписана—отмечал мнимый Покровский—но кажется—судя по слогу, энергии, логике и вежливому тону, она сочинена г. Белинским».

Письмо «Титулярного советника Покровского» с его иронической мотивировкой оснований, по которым он определял в «Северной Пчеле» принадлежность именно Белинскому интересующей нас статьи о «Ревизоре», вызвало гневную отповедь критика в очередной книжке «Молвы». Подчеркивая в специ-

¹ «Молва», 1836, ч. XI, № 9, стр. 250—264. Статья не озаглавлена, помещена в разделе «Театральная Хроника». Дата цензурного разрешения номера — 15 июня 1836 г.

² «Северная Пчела» от 27. VII. 1836 г., № 169. Письмо мнимого «Титулярного советника» датировано 9 июня 1836 г. Эта дата явно фальшива, ибо № 9 «Молвы», в котором помещена статья «А. Б. В.», вызвавшая возмущение «Титулярного советника», разрешена была цензурой 15 июня, т. е. через семь суток после того, как ее якобы уже прочел корреспондент «Северной Пчелы» из клики Загоскина.

альном объяснении «От Белинского» свою солидарность с суждениями «А. Б. В.», выраженными «с талантом, умением и знанием своего дела», Белинский категорически утверждал, что ему «было бы очень приятно подписать свое имя под этой статьей», но «долг справедливости повелевает отклонить от себя незаслуженную честь». Поэтому Белинский отказывался и «опровергать нападки на самую статью, предоставляя это сделать ее автору», а свою отповедь «Северной пчеле» мотивировал тем, что «письмо» мнимого Покровского писано было «не столько в обличение статьи г. А. Б. В.», сколько с намерением сделать под этим предлогом «извет» на Белинского, «не как на литератора, а как на человека»¹.

Белинский настолько четко отделил себя в этой отповеди от анонимного автора статьи о «Ревизоре», настолько определенно выразил свою высокую оценку ее, подчеркнув в суждениях А. Б. В. «талант, умение и знание своего дела» (сам Белинский никогда не считал себя знатоком сцены и постоянно ссыался на свой диллетантизм, как театрального рецензента), что никаких сомнений в искренности этого отречения ни у кого остаться не могло. Печатное признание Белинским полной его солидарности с установками А. Б. В. устраняло вопрос и о возможности использования им данного псевдонима для какого-нибудь тактического маневра, мотивированного желанием снять с себя личную ответственность за рискованную статью. Резко противоречило возможности отождествления А. Б. В. с Белинским и признание последним в авторе анонимной статьи «таланта, умения и знания своего дела». Если бы автором анонимного разбора постановки «Ревизора» был сам Белинский, эти строки являлись бы грубой саморекламой, органически чуждой всем известным нам автопризнаниям «неистового Виссариона». Не к чему, наконец, было бы Белинскому отказываться и от ответа по существу на выпады против статьи А. Б. В., если бы он всерьез не рассчитывал на то, что это должен сделать сам ее автор,—ему, конечно, хорошо известный.

Всех этих оснований оказалось, видимо, достаточно для того, чтобы вопрос о принадлежности Белинскому статьи А. Б. В. не поднимался в течение многих лет ни биографами и издателями Белинского, ни исследователями «Ревизора», ни историками русского театра.

¹ «Молва», 1836, № 12. Перепечатано в «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. III, стр. 55—58. Об эффекте этой разъяснительной заметки «От Белинского» в передовых литературных кругах см. «Воспоминания П. В. Анненкова», «Academia», 1923, стр. 243.

Почин возобновления дискуссии об авторе анонимной статьи о первой московской постановке «Ревизора» принадлежал Л. В. Крестовой. В своем докладе на тему «Зрители первых представлений «Ревизора», прочитанном в 1926 г. в театральной секции Государственной Академии Художественных Наук, Л. В. Крестова доказывала близость Белинскому идейных установок А. Б. В. (эту близость достаточно отчетливо отмечал, как известно, и сам Белинский в своем ответе на письмо в «Северной Пчеле») и на этом основании высказывала гипотезу о тождестве обоих авторов. Предположения Л. В. Крестовой очень сочувственно отмечены были в 1927 г. в статье о «Ревизоре» Н. Л. Бродского, который допускал возможность, однако, принадлежности подписи А. Б. В. и «кому-либо из друзей Белинского». В ряду последних Н. Л. Бродский выделял В. П. Боткина, свидетельствуя, что именно его Белинский мог «снабдить разнородным материалом, особенно в части закулисной хроники, полученной им от С. Т. Аксакова и Щепкина»¹.

В 1929 г. доклад Л. В. Крестовой был опубликован², после чего ее гипотеза о Белинском как об авторе анонимной статьи в «Молве» о московской премьере «Ревизора» была популяризирована, с некоторыми оговорками, в 1936 г. в статьях о Гоголе С. С. Данилова и Н. И. Мордовченко³.

Более широкую и решительную аргументацию в пользу принадлежности статьи А. Б. В. именно Белинскому выдвинул в 1945 г. М. Я. Поляков на страницах журнала «Театр»⁴.

¹ «Русские и мировые классики. Н. В. Гоголь. Ревизор». Ред., введение и комментарии Н. Л. Бродского, М.—Л., 1927, стр. XXIX.

² «Научные труды Индустриально-Педагогического института имени К. Либкнехта», М., 1929, стр. 18—23.

³ С. С. Данилов. «Гоголь и театр», Л., 1936, стр. 9; «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Под ред. В. В. Гиппиуса, т. II, 1936, стр. 149. Сочувственно отмечая «предположение многих исследователей», что автором «Театральной хроники», подписанной инициалами А. Б. В., мог быть сам Белинский, С. И. Машинский в специальном сборнике «В. Г. Белинский о Гоголе» полагал, что «очень установить ее авторство пока не представляется возможным» (М., 1949, стр. 459).

⁴ «Театр», 1945, № 3—4, стр. 70—79. В книге М. Я. Полякова «Белинский в Москве» статья А. Б. В. была уже безоговорочно и широко использована для характеристики взглядов Белинского на Гоголя и на русский театр («Белинский в Москве», М., 1948, стр. 221—223). Эта ошибка молодого исследователя вызвала протест Н. И. Мордовченко, который совершенно справедливо отметил в своей рецензии на книгу М. Я. Полякова, что о статье А. Б. В. в «Молве» ведется «давний спор в науке и напрасно М. Поляков считает, что этот спор им завершен». Путно рецензент напомнил М. Я. Полякову об упущенном им свидетельстве Н. В. Станкевича о возможной принадлежности статьи А. Б. В. перу Н. С. Селивановского («Сов. Книга», 1948, № 5, стр. 103—104).

Поводом для этого нового пересмотра вопроса об анонимном разборе в девятом номере «Молвы» 1836 г. московской премьеры «Ревизора» явилось открытие в номере восьмом того же журнала заметки Белинского под названием «Московские записки». В этой заметке, необычайно близко напоминавшей позднейшие высказывания Белинского о Гоголе и о русском театре, впервые формулированы были, в связи с достижениями Гоголя как драматурга в «Ревизоре», надежды великого критика на создание русского «национального театра, который будет нас угощать не насильственными кривляниями на чужой манер, не заемным остроумием, не уродливыми переделками, а художественным представлением нашей общественной жизни»¹. Принадлежность Белинскому этой анонимной заметки, затерявшейся на страницах «Молвы», доказана была в результате тщательного анализа ее материала в исследованиях Е. Серебровской «Белинский о национальном театре» (1943 г.) и М. Я. Полякова «Неизвестные рецензии молодого Белинского» (1945 г.)².

Концовка анонимных «Московских Записок» как бы предваряла статью А. Б. В.: «Мы скоро дадим полный отчет, как в пьесе, <так> и в ее представлении,—писал Белинский,—а эти строки просим принять только за извещение»³.

Опираясь на эти строки и повторяя аргументацию Л. В. Крестовой о близости идеологических и литературно-тактических позиций А. Б. В. и Белинского, Поляков тут же давал несколько справок об общеизвестной близости Белинского с М. С. Щепкиным, информацией которого и объяснял широкую осведомленность А. Б. В. об истории постановки «Ревизора» на московской сцене. Последним доводом М. Я. Полякова являлась ссылка на письмо И. И. Лажечникова к Белинскому, в котором автор «Ледяного дома» полемизировал якобы со статьей А. Б. В., как с работой именно Белинского.

Однако вся эта аргументация, на первый взгляд весьма эффективная и основательная, с начала и до самого конца не выдерживала никакой критики.

Близость общественно-политических и литературно-тактических установок статьи А. Б. В. взглядам Белинского представляется нам не только естественным, но и совершенно не-

¹ «Молва», 1836, № 8, стр. 209—211.

² Е. Серебровская. «Белинский о национальном театре». («Совет Эдабиаты», Ашхабад, 1943, кн. XII, стр. 108—113); М. Поляков «Неизвестные рецензии молодого Белинского». («Театр», 1945, № 3—4, стр. 71—74). Текст «Московских Записок» оказался, к сожалению, не перепечатанным в тринадцатом, дополнительном, томе «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского». Редакция и примечания В. С. Спиридонова, Л., 1948.

³ «Молва», 1836, № 8, стр. 211.

обходимым следствием самого факта публикации «Театральной хроники» на страницах «Молвы», критическую линию которой единовластно определял в это время Белинский. Гораздо более неожиданным были бы, на наш взгляд, факты расхождения взглядов А. Б. В. с программными высказываниями Белинского в «Телескопе» и «Молве» о русском театре, о русской драматургии, о Гоголе и о «Ревизоре». Концовку анонимных «Московских записок», предваряющую статью А. Б. В., можно и должно понимать в связи с этим только как информацию, исходящую от редакции «Молвы», а не персонально от Белинского (недаром эта заметка и анонимна). Читатели журнала извещались о предстоящей публикации статьи о «Ревизоре», но ни в одной строке этой информации будущая статья не связывалась с именем Белинского. Больше того, сам А. Б. В. во втором абзаце своего разбора «Ревизора» категорически заявлял: «Мы хотим здесь дать отчет о представлениях Московского театра, предоставляя другим определить место в русской литературе комедии г. Гоголя». Не учитывая этих строк, М. Я. Поляков без всяких оснований связывал и полемику Лажечникова с Белинским о «Ревизоре» со статьей А. Б. В. Между тем письмо Лажечникова из Твери относилось к началу июня 1836 г. и имело в виду или письма Белинского, до нас не дошедшие, или статью «Московские записки», разрешенную цензурой 6-го июня 1836 г., в то время как № 9 «Молвы» со статьей А. Б. В., разрешенный цензурой 15 июня, мог дойти до Лажечникова только в конце этого месяца¹.

2.

Игнорируя свидетельства самого Белинского о статье А. Б. В. (мы имеем в виду его полемику с «Северной Пчелой») и навязывая читателю неправильное понимание данных и статьи «Московские заметки» и письма И. И. Лажечникова, новейшие комментаторы анонимного отчета о московской постановке комедии Гоголя не учли интереснейшего отклика на занимающий нас разбор премьеры «Ревизора» в письме Н. В. Станкевича. А между тем этот отклик исходил от одного из ближайших друзей Белинского этой поры, сотрудника и внимательнейшего читателя «Телескопа» и «Молвы», и при-

¹ Письма И. И. Лажечникова к Белинскому, известные М. Я. Полякову еще до их опубликования, впоследствии были полностью напечатаны в издании «Белинский и его корреспонденты». Редакция Н. Л. Бродского, М., 1948, стр. 181—189. Характерно, однако, что новый комментатор этих писем не только не заметил промаха Полякова при учете свидетельств этих документов, но безоговорочно перепечатал все его примечания в своих пояснениях к текстам Лажечникова.

том, что особенно важно для нас, получил выражение в непосредственном обращении к самому Белинскому:

«Кто писал о «Ревизоре»?—спрашивал Станкевич в письме от 11 августа 1836 г. к Белинскому. — Очень умно. Только странная конструкция и прилагательные после существительных заставляют меня подозревать, что это Селивановский»¹.

Своеобразие архаического стиля А. Б. В., на которое так живо реагировал Н. В. Станкевич, сразу отделивший этот псевдоним от Белинского и столь же уверенно по этим самым признакам заподозревший принадлежность статьи о «Ревизоре» именно Н. С. Селивановскому, действительно не могло не остановить на себе внимание постоянного читателя «Телескопа» и «Молвы»: «Общество московское», «перекрестки уличные», «прогулки загородные», «инстинкт особенный», «прием ласковый», «законы чернильные», «законодатели журнальные», «странность общественная», «два разряда огромные» — вот особенности порядка слов и интонационного строя фразеологии А. Б. В., резко выделяющие этого автора из всего известного нам литературного окружения Белинского².

Но эти же фразеологические данные присущи были еще одному анонимному документу литературной полемики второй половины 30-х годов. Мы имеем в виду известное «Письмо из Москвы», направленное против вводной главы статьи Белинского «Мочалов в роли Гамлета» и опубликованное во второй книге «Сына Отечества» 1838 г. за подписью «А. М.»

«Сын Отечества» редактировался в это время Н. А. Полевым. Белинский был приглашен последним в это издание и имел все основания рассматривать себя как его будущий ближайший сотрудник. Для «Сына Отечества» предназначалась и статья Белинского о «Гамлете», начало которой Н. А. Полевой поместил в «Северной Пчеле». Поэтому Белинский и был так взволнован публикацией в «С. О.» письма А. М., самый факт появления которого в журнале Полевого означал разрыв последнего с Белинским. А. М., полемизируя с безоговорочным отрицанием Белинским «всего французского», с недооценкой им как литературного наследия французского классицизма, так и писателей передовой романтической школы, причислял «неистового Виссариона» к категории «тех людей,

¹ Переписка Н. В. Станкевича, М., 1914, стр. 414.

² Особенности стиля Н. С. Селивановского очень архаичны: «Замечательно,—писал кн. П. А. Вяземский, — что у Радищева, как часто у Карамзина и, говорят, у меня, прилагательное следует за существительным, что весьма рационально, потому что сперва нужно иметь понятие о вещи, а уже потом о качествах ее—а не о ее качествах, как многие бы написали. Местоимение не должно никогда соваться вперед» («Рус. Арх.», 1902, кн. XI, стр. 426).

которые смотрят далеко вперед и не видят настоящего», людей «не глупых, но ошибающихся». Нас не занимает сейчас существо разногласий А. М. с Белинским по общелитературным вопросам. Для нас интересно только то, что все особенности построения письма А. М. о статье Белинского «Мочалов в роли Гамлета» необычайно близки фельетону А. Б. В. о московской премьере «Ревизора». Тот же независимо претенциозный, но никак не профессионально-журналистский «московский отпечаток» наигранно-свободного разговора с читателями на общественно-литературные и театральные темы, те же идеологические установки, та же архаическая лексика, тот же своеобразный синтаксис. («Но с чего же начать слово свое, речь московскую?». «Все, что дорого сердцу благородному», «плод литературы предшествовавшей», «Ни одна литература иностранная» и т. д. и т. п.).

Вопрос об авторе «Письма из Москвы» в февральской книжке «Сына Отечества» 1838 г. в течение ста лет оставался открытым. Сам Белинский, отвечая А. М. на страницах второй книжки «Московского Наблюдателя»¹, не раскрыл этих инициалов, хотя, конечно, уже хорошо знал имя автора, который ими прикрылся. «Литературное объяснение» Белинского по поводу письма А. М. должно быть датировано первыми числами апреля 1838 г. (вторая книжка «М. Н.» разрешена была цензурой 11 апреля), а 20 марта 1838 г. Н. А. Полевой писал В. П. Боткину: «За что вы все рассердились на статью Селивановского? Опять я утверждаю, что истинно он не мерзавец, но только человек—просто, а статья его что же содержала? Его мнение и довольно справедливое, и неужели журнал должен быть монополией мнений? Это то и губит нас, что мы монопольны и односторонны. Белинский, например, уничтожает классицизм и Державина—несправедливо и ложно! Он не терпит Каратыгина, а я тепеь узнал его как артиста, как человека, и беру прежнее об нем мнение обратно»².

¹ «Полное собрание сочинений В. Г. Белинского», т. III, СПб, 1901, стр. 317—322. С. А. Венгеров в своих комментариях к «Литературному объяснению» оставляет открытым вопрос об авторе «Письма из Москвы» (там же, стр. 531). Инициалы «А. М.» остались нерасшифрованными и в «Словаре псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей», т. I, М., 1941, и в «Общ. алфавитном указателе» В. С. Спиридонова к «Полному собранию сочинений В. Г. Белинского» (т. XIII, 1948, стр. 589).

² «Звенья», т. III-IV, М. 1934 стр. 879—883. Публикуя это письмо, Н. М. Мендельсон, не поняв, что в нем идет речь о статье А. М., вызвавшей возмущение Белинского его московских друзей, недоуменно замечал: «О какой статье Селивановского говорит Полевой, выяснить не удалось».

В этом письме, которое Н. А. Полевой просил показать и Белинскому («Письмо это покажите Белинскому, потому что не успеваю написать ему ничего отдельно»), он, во-первых, подчеркивал свою солидарность с протестом А. М. против галлофобии Белинского, против недооценки им классицизма и, во-вторых, прямой ссылкой на свое сближение с Каратыгиным давал понять своим старым московским друзьям свое нежелание печатать в «Сыне Отечества» панегирическую статью о Мочалове.

Раскрывая имя автора письма А. М. в «Сыне Отечества», показание Полевого документировало тем самым принадлежность Н. С. Селивановскому и статьи А. Б. В. в «Молве». В свете этих новых данных получаю для нас сейчас совершенно особое значение и строки о Н. С. Селивановском, затерявшиеся в одном из писем Белинского к К. С. Аксакову. Так, рассказывая о своем неприятном объяснении в Пятигорске с генералом И. Н. Скобелевым, выразившим Белинскому свое возмущение статьей, последнему вовсе не принадлежащей, критик с раздражением 14.VIII.1837 г. отмечал, что «обругал» Скобелева в «Молве» 1835 г. вовсе не он, а «Селивановский—в безымянной статейке, как он это всегда делает по свойственному ему благоразумию¹».

Итак, статья А. Б. В. была не первым и не единственным выступлением Н. С. Селивановского в «Телескопе» и «Молве». Его литературную манеру Н. В. Станкевич сразу же отличил от писаний других сотрудников Н. И. Надеждина. Письмо же Белинского к К. С. Аксакову внесло полную ясность и в вопрос, почему Н. С. Селивановский никогда не подписывал своих рецензий. Авторское честолюбие парализовывалось в нем боязнью политической и литературной ответственности. Поэтому Белинскому и пришлось дважды отвечать за его статьи,—один раз приняв на себя удары за отчет Селивановского о московской премьере «Ревизора», другой — за его же рецензию на книгу для солдатского чтения генерала И. Н. Скобелева.

3.

Николай Семенович Селивановский—один из старейших литературных знакомцев Белинского². Документы архива

¹ «Письма Белинского», т. I, стр. 103. Выделено нами. К более позднему времени (вероятно, к 1841 г.) относится резкая характеристика театральных рецензий Н. С. Селивановского, данная в стихах Д. Т. Ленского («Рус. Старина», 1880, кн. 10, с. 334).

² Н. С. Селивановский родился 25. XI. 1806 г., умер 15. III. 1852 г. («Московск. Некрополь», т. III, СПб, 1908, с. 88). Ни биографии Н. С. Се-

Московского университета позволяют установить, что Н. С. Селивановский, родившийся в 1806 г., поступил на физико-математическое отделение 8 октября 1823 г. и окончил курс наук со званием «действительного студента» 9 марта 1827 г. Аттестат, выданный Н. С. Селивановскому, удостоверял, что он, совмещая выполнение учебного плана физико-математического отделения со слушанием лекций на отделениях словесном и нравственно-политических наук, дополнительно изучал в Московском университете «русскую, латинскую и французскую словесность», историю и статистику, географию, теорию русского законодательства и другие специальные дисциплины¹.

Н. С. Селивановский в университете связан был, видимо, с самыми передовыми студенческими кругами. Эти связи он поддерживал и позже. Так, например, Я. М. Неверов, отмечая в своем дневнике от 10 марта 1831 г. недавно состоявшееся знакомство с Н. С. Селивановским, писал, что у последнего собирается «довольно хорошее общество из молодых людей нового поколения»². Таким образом, организация кружка Н. С. Селивановского предшествовала образованию кружка Н. В. Станкевича. Сю слов Я. М. Неверова мы знаем сейчас и то, что именно через Селивановского получали распространение в Москве в 1830—1831 гг. «запрещенные стихи Полежаева», бывшего, до сдачи в солдаты, товарищем Селивановского по университету.

Н. С. Селивановский был владельцем типографии, в которой печатался «Телескоп», он ведал рассылкой журнала подписчикам и в его же доме снимал квартиру Н. И. Надеждин,

Селивановского, ни сводки материалов о нем не существует. В единственной некрологической заметке о нем «коллежский ассесор Н. С. Селивановский» охарактеризован был только как продолжатель дела отца, как хозяин образцовой типографии и словолитни: «Окончив курс учения в московском университете, молодой Селивановский, сперва под руководством отца, с любовью продолжал его дело. Неоднократные поездки за границу познакомили его с быстрыми успехами и современным состоянием типографского искусства в Европе, поставили ему случай приобрести для своего заведения лучшие из новейших машин» («СПБ Ведомости» от 18. XI. 1852 г., № 260). Литографическое воспроизведение портрета Селивановского, писанного В. А. Тропининым в 1843 г., см. в «Литерат. Наследстве», т. 56, стр. 365.

¹ Архив Московского государственного университета. Дела Правления, 1823 и 1827 гг. В этом же архиве сохранился печатный текст диссертации «De leucorrhoea», защищенной в Москве в 1829 г. на степень доктора медицины И. Е. Добродеевым. На первой странице этой работы отпечатано: «N. S. Selivanovsky. Amico meo optimo». (Справка В. П. Гурьянова).

² «Литературное Наследство», т. 56, с. 359—364.

поселившийся у себя в августе 1834 г. Белинского¹. Как ближайший сотрудник «Телескопа» и «Молвы», как секретарь и заместитель Надеждина, Белинский сразу же, вероятно, устроил деловые отношения с Селивановским, перешедшие после окончания печатания «Литературных мечтаний» и в более близкое личное знакомство. Это предположение наше подтверждается и рассказом А. Д. Галахова, который, передавая о своей первой встрече с Белинским, не сомневается в том, что знакомство их произошло на одном из литературных вечеров у Н. С. Селивановского: «Впервые мы встретились в 1834 или 1835 г. у моего университетского товарища Селивановского, сына некогда известного типографа. В доме его занимал квартиру Надеждин, издатель «Молвы»... В один из приемных дней, вечером, у Селивановского сошлись я, В. П. Боткин и Н. А. Полевой. После чая, перед ужином, вошел Белинский, помещавшийся, если не ошибаюсь, в квартире Надеждина. Хозяин и Полевой встретили его, как уже знакомое лицо. Это доказывалось их свободным и шутливым с ним обращением².

¹ «Я перебрался к Надеждину и живу у него уже две недели — отмечал Белинский 17. VIII. 1834 г. в письме к брату в Чамбар. — Жить мне очень недурно, у меня особенная комната» (Письма Белинского, т. I, стр. 59). Новый адрес молодого критика (с явной опечаткой: «Дом Самарина» вм. правильного «Римского-Корсакова») отмечается в статье П. Прозорова «Белинский и Московский университет в его время»: «От Ивановых Белинский переселился в квартиру Н. И. Надеждина в доме Самарина, подле Страстного монастыря» («Библ. для Чтения», 1859, кн. XII, стр. 13). Ср. объявления о подписке на «Телескоп», с обозначением адреса редакции «У Тверских ворот, против Страстного монастыря в доме Римского-Корсакова» («Моск. Ведом.» 1834 г., № 99). В этой квартире Белинский оставался, однако, недолго, ибо не позже конца сентября 1834 г. Н. И. Надеждин переселился к Сухово-Кобылиным (Н. К. Козмин «Н. И. Надеждин», СПб, 1912, стр. 465). Второй раз Н. И. Надеждин поселил у себя Белинского или весной 1835 г., или уже после своего возвращения из-за границы, т. е. не раньше декабря 1835 г. Н. И. Надеждин занимал в эту пору часть большой казенной квартиры ректора Московского университета Болдырева. Именно об этой квартире Надеждина упоминается в «Моих воспоминаниях» Ф. И. Буслаева (М. 1897, стр. 19) и в письме М. А. Максимовича о Белинском (Н. Барсуков «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. IV, стр. 306). В этой же квартире «в последний раз посетил Белинского» П. Прозоров, строго различающий в своих воспоминаниях пребывание Белинского в двух разных квартирах Надеждина («Библ. для Чтения» 1859, кн. XII, стр. 12—13). В позднейшей литературе о Белинском все адреса Н. И. Надеждина периода 1834—1836 гг. безнадежно запутаны.

² «Истор. Вестн.», 1892, кн. I, стр. 135—136. О литературных вечерах Н. С. Селивановского вспоминал В. А. Инсарский, рассказывая о своем знакомстве в 1835 г. с Белинским и Вельтманом («Рус. Стар.» 1894, кн. I, стр. 9—10). Знакомство Белинского с Боткиным на одном из вечеров Н. С. Селивановского устанавливает А. Н. Пыпин в книге «Белинский, Его жизнь и сочинения». Изд. 2-е, СПб, 1908, стр. 113.

Биографы Белинского, характеризуя его политическое и литературное окружение середины 30-х годов, обычно не выходят за пределы кружка Н. В. Станкевича, во-первых, и редакции «Телескопа», во-вторых¹. Однако живые связи Белинского с передовой московской общественностью уже и в эту пору были много шире, а идеологические традиции значительнее и сложнее. Как один из очагов национально-демократической культуры, приобщение к которому оставило заметный след в политическом воспитании Белинского, мы рассматриваем и кружок Н. С. Селивановского, объединивший после закрытия «Московского Телеграфа» крупнейших представителей московской разночинной интеллигенции (братья Н. А. и К. А. Полевые, М. С. Щепкин, П. А. Мочалов, А. Ф. Вельтман, художник К. И. Рабус, Н. Х. Кетчер, молодой Боткин). Общением именно с ними (гости Н. С. Селивановского были гораздо интереснее хозяина) корректировался в сознании молодого Белинского политический пансенизм Н. В. Станкевича и М. А. Бакунина этой поры и бесхребетный оппортунизм идеологических шатаний Н. И. Надеждина. Не случайно опальный политический публицист и литературный критик Н. А. Полевой, последний выразитель традиций декабристского просветительства в легальной печати², представляется Белинскому весной 1835 г. «вечным образцом журналиста». Не случайно Белинский становится в этом же 1835 г. постоянным посетителем литературных вечеров Н. С. Селивановского, вдохновителем которых был именно Н. А. Полевой: «Н. С. Селивановский, человек университетского образования и с достаточными средствами, — отмечал А. Н. Пыпин со слов, видимо, М. П. Боткина и А. Д. Галахова, — имел литературные вкусы и любил собирать у себя представителей московской литературы; вероятно, здесь Белинский в самом начале своей деятельности встретился и с Полевым»³.

О дружеских отношениях Белинского, Полевого и Селивановского свидетельствует и записка Н. А. Полевого к Н. С. Селивановскому, переданная последним Белинскому и сохранившаяся в его архиве. Эта записка датируется первыми

¹ Эта ошибка обескровливает схему идеологической эволюции Белинского и во всех новейших изданиях о великом критике.

² В 1834 г., незадолго до своего ареста, устанавливает довольно близкие отношения с братьями Полевыми молодой Герцен. Эта связь, налаженная, вероятно, через Н. Х. Кетчера, поддерживается Герценом и в пору вятской ссылки 1835—1837 гг. («Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена», т. I, стр. 320—321 и 466). О давней близости Н. Х. Кетчера с Н. А. Полевым и с М. С. Щепкиным свидетельствуют и некоторые строки специальной главы о Кетчере в «Былом и думах».

³ А. Н. Пыпин. «Белинский. Его жизнь и сочинения» Изд. 2-ое, СПб., 1908, с. 113, М. П. Боткин—младший брат В. П. Боткина.

месяцами 1836 г., ибо она писана под впечатлением выступления Белинского против Шевырева в статье «О критике и литературных мнениях «Московского Наблюдателя»: «Итак война?—спрашивал Н. А. Полевой—уж быются на Аустерлицком мосту? Кому-то пасть, а что Шевырев дурак, воля ваша—теперь сомнения прочь. Надеждин его целиком проглотит. Пожалуйста, подбивайте нашего Орланда <т. е. Белинского> не уступать и биться. Я радуюсь, как старый забияка¹».

Через Полевого, Боткина и Селивановского закрепилось и знакомство Белинского с книгопродавцом И. Г. Кольчугиным, человеком большого жизненного опыта и ярко выраженных политических интересов. И. Г. Кольчугин был близок кружку братьев Критских, привлекался к секретному дознанию по их делу в 1827 г., и радикально-демократическую закваску сохранил до конца своих дней².

К числу постоянных посетителей «вечеров» Н. С. Селивановского, как свидетельствуют только что опубликованные воспоминания Н. В. Беклемишева³, принадлежали во второй половине 30-х годов, кроме лиц отмеченных нами выше, еще и профессор И. Е. Дядьковский, один из первых русских материалистов-биологов, Ф. И. Иноземцев, знаменитый московский врач, проф. Д. Л. Крюков, приятель Герцена и Грановского, композитор А. Е. Варламов, братья И. П. и П. П.

¹ А. Н. Пыпин, стр. 125—126.

² Высокая оценка И. Г. Кольчугина дана была Белинским в письмах его к Боткину в 1841—1842 гг. («Письма Белинского», т. II, стр. 220 и 283). Биографические данные о Кольчугине см. в «Материалах к истории русской книжной торговли в XVIII—XIX столетиях», составил П. К. Симон. Вып. I, СПб, 1907, стр. 48—66, а также в «Литер. Наследстве», т. 56, стр. 237.

³ «Из воспоминаний Н. В. Беклемишева о Мочалове и Белинском». Публикация М. Барановской. Характеризуя один из «обедов» у Селивановского (вероятно, в январе 1839 г.) Беклемишев писал: «Там были: Щепкин, Крюков, Иноземцев, Павел Степанович (Мочалов), Ключниковы. За десертом Крюков попросил П. С. почитать Пушкина. П. С. читал одно за другим стихи Пушкина. Он стоял у окна, скрестив руки, немного склонив голову и как читал! Как звучали они, я воспринимал их по-новому. П. С. давал им смысл жизни. В это время пришли Дядьковский с Белинским... До чаю Дядьковский с Крюковым играли в шахматы, Белинский и Павел Степанович сидели рядом. Дядьковский с Белинским заговорил о Шолье. П. С. внимал им, боясь проронить одно слово, и любовно глядел на них обоих». Свои общие впечатления от вечеров Селивановского Беклемишев формулировал следующим образом: «Много здесь бывало рассуждений о том, о сем и о прочем. Лилось вино, велись беседы, читали повести и стихи. Мочалов с Щепкиным читали монологи». («Литературное Наследство», т. 56, 1950 г., с. 274—276). Рассуждения «о том, о сем и о прочем» — это, конечно, дискуссии на политические темы.

Клюшниковы, актер П. Г. Степанов. Во время приездов своих в Москву частым гостем Н. С. Селивановского являлся и А. В. Кольцов.

Мы уже отметили интерес Белинского к литературным выступлениям Н. С. Селивановского в «Телескопе» и в «Сыне Отечества». По письмам Белинского и Полевого, по воспоминаниям А. Д. Галахова, В. А. Инсарского и Н. В. Беклемишева мы получили некоторое представление о нем же, как о хозяине передового московского литературного салона. Неменьшего внимания Н. С. Селивановский заслуживает и как общественный деятель, непосредственно связывавший и Белинского и Полевого с литературными преданиями и традициями, идущими от времен Радищева и Новикова.

В самом деле, отец Н. С. Селивановского — известный московский «типографщик», один из крупнейших представителей оппозиционной буржуазии начала века, почитатель, а может быть, и знакомый Радищева, друг декабриста В. И. Штейнгеля, издатель «Дум» и «Войнаровского» Рылеева. После событий 14 декабря С. И. Селивановский и сам находился несколько месяцев под следствием, как организатор издания «Энциклопедического Словаря», целью которого было «желание способствовать к развитию просвещения и свободомыслия». Этот московский издатель был настолько близок кругам Северного тайного общества, что В. И. Штейнгель на одном из допросов прямо удостоверил, что Селивановский «и без привлечения его в Общество содействует достижению его цели изданием книг, распространяющих свободные понятия»¹. Ближайшее участие в работах по составлению новой энциклопедии принимал В. К. Кюхельбекер, проживавший с 1823 по 1825 г. в Москве и бывавший в доме Селивановских так же, как и Рылеев, Пушкин, Штейнгель, Муханов и другие будущие декабристы. Не удивительно, что три уже отпечатанных тома энциклопедии Селивановского были конфискованы и уничтожены, а сам он избежал ареста только потому, что благодаря своим связям и крупным средствам нашел защитников в лице московского гене-

¹ Показания В. И. Штейнгеля от 30.IV. 1826 г. об его отношениях к С. И. Селивановскому опубликованы в изд. «Общественные движения в России в первой половине XIX в.», т. I, СПб, 1905, стр. 305. Рылеев, познакомившись с С. И. Селивановским в ноябре 1824 г., поручив ему издание «Дум» и «Войнаровского» писал о нем в конце января 1825 г. П. М. Строеву: «Прошу сказать мне истинное почтение г. Селивановскому. Он у меня из головы не выходит, истинно почтенный человек!». («Полное собр. соч. К. Ф. Рылеев». М., 1934, стр. 480). Ср. письмо И. И. Пушкина к Пушкину от 12. III. 1825 г. «Полн. собр. соч. Пушкина». Издание Академии Наук СССР, т. XIII, стр. 151).

рал-губернатора кн. Д. В. Голицына и сенатора С. С. Кушников, члена Верховного Уголовного суда¹.

Встречи с декабристами, равно как и предания о Радищеве, отмеченные в позднейших воспоминаниях Н. С. Селивановского о своем отце², были, вероятно, предметом разговора его и с Белинским, для которого эта живая летопись имела значение не только первого, но некоторое время и единственного источника непосредственных сведений о деятелях русского освободительного движения за истекшие полвека.

4.

Рассказы Н. А. Полевого и Н. С. Селивановского о героях и жертвах 14-го декабря, свободные и ст. официальной лжи «Донесения Следственной Комиссии» и ст. патетики позднейших либеральных легенд, приобретали особую значительность потому, что сам Белинский никогда не был вхож в те аристократические салоны, в которых еще подвизались в Москве последние представители разбитой декабристской интеллигенции. Даже П. Я. Чаадаев и М. Ф. Орлов, с которыми поддерживал такое близкое общение молодой Герцен, известны были Белинскому в пору его работы в «Телескопе» только по рассказам их случайных общих знакомых³. Лишь издали мог наблюдать Белинский в Москве и Ф. Н. Глинку, одного из лидеров Союзов Спасения и Благоденствия. Однако, и как поэт и как общественный деятель Ф. Н. Глинка давно уже представлял собою политический анахронизм. Иронически не сомневаясь в «нравственности и святости его художественного направления», Белинский осудил в «Литературных Мечтаниях» реакционную лирику Глинки не менее сурово, чем повести А. Бестужева⁴. ореол политического мучениче-

¹ Об «Энциклопедическом Словаре» С. И. Селивановского см. материалы В. И. Маслова «Энциклопедический Словарь С. Селивановского». — «Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца», кн. XXIV, Киев, 1914. Отд. IV, стр. 13—24; Н. П. Чулков «Москва и декабристы» («Декабристы и их время», т. II, М., 1932, стр. 314—315).

² Записки Н. С. Селивановского («Библи. Записки», 1858, № 17, стр. 518—519). Об эпизоде, рассказанном в записках Н. С. Селивановского, см. В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования. М.—П., 1923, стр. 208—209.

³ Мы имеем в виду рассказы П. В. Нащокина, М. С. Щепкина, Н. И. Надеждина. Знакомство Белинского с П. Я. Чаадаевым произошло около 10 сентября 1838 г. в доме Левашевых, где Белинский давал уроки. («Письма Белинского». Т. I, стр. 255 и 306). Встречи их были редки и случайны.

⁴ Характеристика лирики Ф. Н. Глинки, намеченная в «Литературных Мечтаниях» («Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. I, 1900, стр. 366—367), была повторена Белинским и в 1841 г., когда он писал о трогательном «постоянстве убеждений» Глинки «в одних и тех же (и притом высоких) истинах, хотя и высказываемых всегда одними и теми же словами и фразами, на один голос о чем то, где то, когда то, куда то». («Отеч. Зап.», 1841, № 7, отд. VI, стр. 3—7).

ства с точки зрения молодого критика не давал никакого права на скидку писателям-декабристам. Беспощадно-суровый приговор, вынесенный им повестям Марлинского в 1834 г., несколько не смягчился и после того, как Белинский из бесед с Н. А. и К. А. Полевым получил, вероятно, исчерпывающую информацию об условиях жизни и работы А. А. Бестужева в Сибири и на Кавказе.

Летом 1837 г. Белинский познакомился в Пятигорске с историком В. Д. Сухоруковым, который, не входя формально в Северное Общество, был тесно связан в 1823—1825 гг. с Рылевым, Бестужевым, Кониловичем и другими деятелями 14 декабря, а в 1829—1837 г. увидал многих из своих старых знакомцев на Кавказском фронте. Встречи с В. Д. Сухоруковым, как свидетельствует письмо Белинского от 14.VIII.1837 г. к К. С. Акскому, произвели на Белинского сильное впечатление, но тематику своих разговоров с ним он не рискнул доверить почте, обещая приятелю о всем услышанном «поговорить при свидании»¹.

Если рассказы Н. А. Плеваго и Н. С. Селивановского впервые открыли Белинскому глаза на декабристов, как на деятелей русской национальной демократической культуры, а свидетельства В. Д. Сухорукова обогатили его новыми сведениями о них же в условиях тюрьмы, каторги, ссылки и подневольной солдатчины а Кавказе², то впечатления от появления в Москве амнистированного декабриста А. Н. Муравьева получили отражение и в его творчестве.

В 1838 г. в пьесе «Пятидесятилетний дядюшка» Белинский попытался наметить образ декабриста, «бывшего каторжно-го», возвратившегося «через двенадцать лет» из Сибири на родину. Это был один из восторженных персонажей пьесы, «Петр Андреевич Думский» старый друг самого «пятидесятилетнего дядюшки», отец любимой им девушки. «Думский» очень интересен для нас как первый художественный образ «возвратившегося декабриста» в русской литературе, образ, предшествовавший и «Лазову» в неоконченном романе Л. Н. Толстого «Декабристы» и «Дедушке» Некрасова. Прототипом Думского явился, как мы полагаем, Александр Николаевич Муравьев, один из организаторов Союза Спасения и вождь Союза Благоденствия, сосланный в 1826 г. на поселение в Сибирь, через два года частично амнистированный,

¹ «Письма Белинского», т. I, стр. 104.

² Переписка Н. А. Плеваго с А. А. Бестужевым, продолжавшаяся до самой смерти последнего, опубликована в «Русском Вестнике» 1861 г. Данные о пензенских и чембарских декабристах, имена которых могли быть известны Белинскому, объединены с исключительной тщательностью в книге В. С. Нечаевой «В. Г. Белинский», М., 1949, стр. 145—151.

допущенный на государственную службу и через двенадцать лет после своего осуждения назначенный архангельским губернатором¹. Весной 1838 г., на пути в Архангельск, А. Н. Муравьев остановился в Москве. Он приходился двоюродным дядей М. А. Бакунину, одному из ближайших друзей Белинского этой поры. В середине марта 1838 г., в самый разгар работ Белинского и его друзей по реорганизации «Московского Наблюдателя», Бакунин писал в Премухино: «Я подружился с А. Н. Муравьевым в настоящем и полном смысле этого слова: мы с ним сошлись в том, что составляет сущность наших двух жизней; разница лет исчезла перед вечной юностью духа»².

Этот эпизод из биографии молодого Бакунина не мог не привлечь к себе внимания Белинского. Рассказы Бакунина о возвратившемся декабристе в том же 1838 г. получают отражение в театральной редакции драмы Белинского «Пятидесятилетний дядюшка». Эта вольность Белинского, незамеченная цензурой при допущении пьесы на сцену, привлекла к себе внимание органов надзора при ее публикации в журнале. Из печатного текста «Пятидесятилетнего дядюшки» и сам Думский и свидетельство о нем, как о бывшем политическом ссыльном, были изъяты³. Любопытно, что тот самый А. Н. Муравьев, который послужил в 1838 г. прототипом Думского в «Пятидесятилетнем дядюшке», явился героем

¹ «Алфавит декабристов» под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925, стр. 355. Мать М. А. Бакунина была двоюродной сестрой (по матери) А. Н. и М. Н. Муравьевых. Ее троюродными братьями были декабристы Н. М. и А. З. Муравьевы, С. И. и М. И. Муравьевы-Апостолы. Близок с многими из членов Союза Благоденствия был и отец М. А. Бакунина. В Премухинской усадьбе декабристы, однако, не являлись в 30-х годах предметом культа: «Мой отец — писал М. А. Бакунин — после рокового исхода декабрьского заговора решил сделать из нас верноподданных царя» («Соч. и письма М. А. Бакунина», т. I, стр. 27 и 440. Ср. А. Корнилов «Молодые годы Михаила Бакунина», М., 1915, стр. 18—28).

² «Соч. и письма М. А. Бакунина», т. II, М., 1934, стр. 142 и 151—153. Ср. А. Корнилов «Молодые годы Михаила Бакунина», М., 1915, стр. 406—409.

³ В. Г. Белинский. «Пятидесятилетний дядюшка или странная болезнь». Драма в пяти действиях. Неизданный текст с предисловием и примечаниями А. С. Полякова. П., 1923. Об автобиографической значимости драмы Белинского см. наши соображения в публикации «Белинский в неизданной переписке современников» («Литер. Наследство», т. 56, стр. 90—91). Наша расшифровка образа Думского разрешает до конца проблему, которая А. С. Полякову представлялась неразъяснимой. Покойный исследователь искал прототипов Думского не в окружении Белинского 30-х годов, а среди декабристов, которым разрешено было проживание под Москвой.

«Легенды о царе и декабристе», популяризированной через семьдесят лет в известном рассказе В. Г. Короленко¹.

5.

Закрытие «Телескопа» на полтора года лишило Белинского журнальной трибуны. В числе лиц, привлеченных к секретному дознанию об обстоятельствах появления в пятнадцатом номере «Телескопа» знаменитого «Философического письма» Чаадаева, неожиданно оказался в ноябре 1836 г. и Н. С. Селивановский. Он обвинялся в том, что выпустил из своей типографии и разослал этот номер журнала подписчикам до получения из Московского цензурного комитета билета, разрешающего выпуск издания в свет. Упущение было чисто формального порядка. Однако понадобилось специальное обращение Московского генерал-губернатора в III Отделение, чтобы Н. С. Селивановского оставили в покое. Князь Д. В. Голицын удостоверил, что Н. С. Селивановский «известен в Москве за человека весьма хорошей нравственности», а злополучный номер «Телескопа» разослан был им подписчикам «по одной дозволенной записке цензора, как сие обыкновенно принято для выигрыша времени»².

Человек мнительный и малодушный, травмированный еще в юности событиями 14-го декабря, делом Полежаева, арестами членов кружка Сунгурова, а затем и сам едва не репрессированный за участие в делах «Телескопа», Н. С. Селивановский ни с кем из своих многочисленных знакомых не поддерживал переписки, а все получаемые им письма, видимо, уничтожал. Поэтому мы так мало знаем сейчас и о его «вечерах». Единственное дошедшее до нас письмо Белинского к Селивановскому сохранилось только потому, что оно заменяло долговой документ, остававшийся в течение многих лет непогашенным.

«Мои с вами отношения еще не так тесны, чтобы я имел право требовать от вас подобных одолжений»,—писал Белинский, прося 27.X.1835 г. у Н. С. Селивановского взаймы 300 рублей³.

Этот долг очень тяготил Белинского: «Какой-нибудь Селивановский,—писал он 16.VIII. 1837 г. Бакунину,—может, если захочет, заставить меня и покраснеть и побледнеть одним намеком об известных ему и мне 250-ти рублях»⁴.

¹ В. Г. Короленко «Легенда о царе и декабристе» («Русское Богатство» 1911, № 2, стр. 113—140). Ср. С. Я. Штрайх «Кающийся декабрист» («Красная Новь», 1925, № 10, стр. 143—169).

² П. Баргенов «К биографии Пушкина», Вып. II, М., 1885, стр. 91.

³ «Письма Белинского», т. I, стр. 63.

⁴ «Письма Белинского», т. I, стр. 118.

Этот презрительный эпитет («какой-нибудь Селивановский») нет никаких оснований принимать за общественно-политический приговор. Да и сам Белинский продолжал посещать его литературные «субботы», об одной из которых он писал 1.XI.1837 г. Бакунину: «Кстати: я познакомился с Мочаловым на вечере у Селивановского, где Полевой читал два акта своей оригинальной драмы «Граф Уголино»; за ужином Мочалов и Щепкин, по просьбе Полевого, говорили последние монологи из «Горе от ума» — славный был вечер, хотя и у Селивановского»¹.

Круг литературных связей Селивановского был очень широк. Единомышленник Н. А. Полевого, он, через братьев Н. М. и В. М. Рожалиных, наладил еще в 1827—1828 годах хорошие личные отношения с М. П. Погодиным², а в 1836 г. был «главным комиссионером» Пушкина по делам «Современника» в Москве³. В письме П. В. Киреевского к Н. М. Языкову от 21.IV.1837 г. сохранилось интереснейшее упоминание о том, что Н. С. Селивановский вызывался быть издателем первого научного собрания русских песен: «Вст тебе на суд два предложения с двух разных сторон о напечатании песен безо всяких издержек: Селивановский предлагает в Москве, а Одоевский в Петербурге. Оба имеют и выгодные и невыгодные стороны. Селивановский не так надежен и ужасно медленен, за то близко; Одоевский надежен совершенно, но в Петербурге»⁴.

Можно думать, что именно Селивановский пытался в ноябре 1837 г. связать Белинского с Погодиным, который планировал в эту пору журнал, могущий заменить развалившийся «Московский Наблюдатель» В. П. Андросова и Шевырева⁵.

Резкие отзывы Белинского о Селивановском имели прежде всего в виду человеческие слабости последнего — его себялюбие, малодушие, суетность, зазнайство. Однако были и

¹ «Письма Белинского», т. I, стр. 138—139.

² М. Лемке «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.», изд. 2-е, СПб. 1908, стр. 70.

³ «Литературное Наследство», т. 16 — 18 М., 1934, стр. 721 — 724. Печатаемая материал об этом, М. А. Цявловский ошибочно отождествил Н. С. Селивановского с его отцом, С. А. Селивановским.

⁴ «Письма П. В. Киреевского к Н. М. Языкову». Редакция, вступ. статья и комментарии М. К. Азадовского. Л., 1935, стр. 74. Имя Селивановского здесь расшифровано ошибочно, как имя его отца (Семен Аникиевич вместо Николай Семенович).

⁵ Переговоры о новом журнале получили отражение в «Письмах Белинского», т. I, стр. 64 и 178. Записи в дневниках М. П. Погодина об этом же начинании см. в книге М. Я. Полякова «Белинский в Москве», М., 1948, стр. 312.

более серьезные основания для отталкивания Белинского от Селивановского именно в эту пору. Нетерпимость «неистового Виссариона» общеизвестна. Неприятие им Лермонтова в 1837 г., а Герцена в 1839 г. получило выражение в тирадах, по существу не очень сильно отличавшихся от его же уничтожающих реплик по адресу Н. С. Селивановского. Публикация последним «Письма из Москвы» навсегда оборвала их и личные и литературно-общественные отношения. В пору появления статей Белинского о «Бородинской годовщине» и «Менцель—критик Гете» Н. С. Селивановский должен был оказаться в числе тех ожесточенных хулителей Белинского, которыми примирение последнего с «расейской действительностью» расценивалось как грубая политическая ошибка. Белинский же мог смотреть в это время на Н. С. Селивановского только как на одного из тех «ограниченных людей», которые «всегда предаются фанатически некоторым односторонним убеждениям, не столько по любви к истине, сколько по любви и высокому уважению к самим себе». Этой категории людей, как полагал Белинский, «кажется, что и в мире все идет худо, что и отечество их вот сейчас готово погибнуть жертвою превратного хода дел, а вследствие такого взгляда на вещи им кажется, что они призваны и мир исправить и отечество спасти»¹.

В 1838—1839 г. общественные деятели этого типа были ненавистны Белинскому во всех своих вариантах. Лишь в конце 1840 г. Белинский начинает сознавать, что без учета «идеи отрицания, как исторического права, история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото»². Белинский проклиная свое «насильственное примирение с гнусной расейской действительностью» и, ревизуя в письмах к друзьям свое недавнее прошлое, вспоминая свои политические и литературные ошибки, свои личные житейские промахи, пытается заново осмыслить и свой конфликт в 1837—1838 г. с Н. С. Селивановским:

«Размышляя о моих прошлых грехах,—писал Белинский 16.I.1841 г.,—я вспомнил о моей ни на чем неоснованной ненависти к С<еливановск>му (протоканалье). И с чего мы все вдруг взбеленились на него—разве и прежде мы знали его не таким, каким увидели его после? В нем много эгоизму, бездна самолюбия, маловато чести, нисколько благородства, он мелочен, сплетник, не может быть ничьим другом, а тем менее кого-нибудь из нас, но в нем много доброты природ-

¹ Мы пользуемся формулировкой самого Белинского, брошенной им в статье «Менцель—критик Гете» (1839 г.).

² «Письма Белинского», т. II, стр. 186.

ной, он умен, даже не без чувства, не без способностей увлекаться (хоть на минуту) мыслью, а главное—он удивительно грациозен и достолюбезен во всех своих мерзостях... Не его вина, если мы хотели видеть в нем для себя то, чем он ни для кого быть не может. Я бы теперь с удовольствием опять сошелся с ним. Я бы уж держал с ним ухо остро и не позволял бы ему забываться со мною—и мы были бы довольны друг другом. Знаешь ли, что я иногда с умилением вспоминаю о его субботах, куда, вместе с порядочными людьми, напоззали Воскресенские и прочие. Знаешь ли ты, что от одного такого вечера в Питере я бы целую неделю был счастлив»¹.

Патетика этих строк не случайна. Н. С. Селивановский, единомышленник молодого Полевого, активный антикрепостник, организатор передового литературно-театрального салона, не мог не вспомниться Белинскому в те дни, когда он пришел к пониманию ошибочности своей недооценки борьбы за «права личного человека», когда конкретные вопросы политики оказались в центре его внимания, как революционного демократа. Отнюдь не амнистируя Селивановского, как человека, как типичного либерала, со всеми дефектами его общественного и личного поведения, Белинский охотно в 1841 г. помянул добрым словом «вечера» своего товарища по работе в «Телескопе» и «Молве», те «вечера», на которых он, Белинский, впервые встретился с братьями Н. А. и К. А. Полевыми, В. П. Боткиным, М. С. Шелкиным, П. С. Мочаловым, И. Е. Дядьковским, и задолго до своего сближения с Герценом приобщился к живым традициям русской национально-демократической культуры.

¹ «Письма Белинского», т. II, стр. 208. Романы и повести М. И. Воскресенского, известного московского поставщика массового «легкого чтения», обычно печатались в типографии Н. С. Селивановского. Отзывы Белинского о произведениях Воскресенского были неизменно пренебрежительны. См. «Поли. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XIII, стр. 510 (по указателю).

БЕЛИНСКИЙ В РАБОТЕ НАД ОРГАНИЗАЦИЕЙ АЛЬМАНАХА „ЛЕВИАФАН“ в 1846 г.

I.

К концу декабря 1845 года определилось решение Белинского оставить работу в «Отечественных Записках»¹. К этому же времени надлежит отнести и план издания им большого общественно-литературного альманаха, задачей которого являлось бы, с одной стороны, популяризация и закрепление идеологических позиций Белинского—революционного демократа после ухода его из журнала Краевского, а с другой—создание определенной материальной базы, могущей хотя бы на три-четыре месяца обеспечить для великого критика возможность «передышки»—свободы от всяких случайных литературных обязательств, поездки для отдыха и лечения на юг.

В успехе альманаха Белинский, видимо, не сомневался. В это время заканчивался печатанием «Петербургский Сборник» Некрасова, в редактировании и оформлении которого Белинский принимал самое деятельное участие. Как общественно-литературный сборник нового типа, именно это издание и явилось для Белинского мостом от «Отечественных Записок» к «Левиафану», демонстрируя единую политическую направленность всего материала, а не характерное для всех старых альманахов сочетание случайных имен и еще более случайных произведений.

«К пасхе я издаю толстый огромный альманах,—писал Белинский 2 января 1846 года Герцену,—Достоевский дает повесть, Тургенев—повесть и поэму, Некрасов—юмористическую статью в стихах («Семейство»,—он на эти вещи собаку съел), Панаев—повесть; вот уже пять статей есть; шестую напишу сам; надеюсь у Майкова выпросить поэму. Теперь обращаюсь к тебе: повесть или жизнь! Если бы, сверх этого,

¹ «Я твердо решил оставить «Отечественные Записки», — писал Белинский 2 января 1846 г. А. И. Герцену. — Мне нужно иметь хоть 1000 рублей серебром, потому что я забрал у Краевского до 1 числа апреля и должен буду до этого времени работать, не получая денег», («Письма Белинского», т. III, стр. 90—91).

ты дал что-нибудь печальное, журнально-юмористическое, о жизни или российской словесности, или о том и другом вместе, хорошо бы было. Но я хочу не одного легкого и потому прошу Грановского, нельзя ли исторической статьи, лишь бы имела общий интерес и смотрела беллетристически. На всякий случай, скажи юному профессору Кавелину, нельзя ли и от него поживиться чем-нибудь в этом роде. Его лекции, которых начало он прислал мне (за что я благодарен ему до нельзя), чудо как хороши: основная мысль их о племенном и родовом характере русской истории в противоположность личному характеру западной истории, гениальная мысль, и он развивает ее превосходно. Ах, если бы он дал мне статью, в которой бы он развил эту мысль, сделав сокращение из своих лекций, я бы не знал, как и благодарить его. Сам я хочу написать что-нибудь о современном значении поэзии. Таким образом, были бы повести, юмористические стихотворения и статьи серьезного содержания — альманах вышел бы на славу»¹.

Письма Белинского за январь—март 1846 г. свидетельствуют о том увлечении, с которым он работал над организацией нового альманаха. До самого отъезда Белинского в мае 1846 г. на юг альманах оставался в центре его внимания, отодвинув даже работу над «Историей русской литературы», о реализации первой части которой «к пасхе» Белинский мечтал, как об основном своем литературном обязательстве, которое будет им выполнено сразу же после ухода из журнала Краевского².

Торопя своих московских и петербургских друзей с присылкой обещанного литературного материала, Белинский обсуждает с ними возможности будущего издания. В письме к Герцену от 6 февраля он сообщает: «Чтобы мой альманах устоял после «Петербургского Сборника», необходимо во что бы то ни стало сделать его гораздо толще, не менее 50 листов (можно и больше), а потом больше повестей из русской жизни, до которых наша публика страшно падка». И в другом письме к Герцену, от 19 февраля, Белинский развивает эту же мысль: «Мне рисковать нельзя; мне нужен успех верный и быстрый. нужно, что называется, сорвать банк. Один альманах разошелся—глядь, за ним явился другой—покупатели уже смотрят на него недоверчиво. Им давай нового, повторений они не любят. У меня те же имена, кроме твоего и Михаила Семено-

¹ «Письма Белинского», т. III, стр. 90—91.

² «Письма Белинского», т. III, стр. 92. О работе Белинского над «Критическим и теоретическим курсом истории русской литературы см. «Полное собр. соч. Белинского» под редакцией С. А. Венгерова, т. VI, стр. 569—570.

вича <Щепкина>. Когда альманах порядком разойдется, тогда статья Кавелина поможет его окончательному ходу, а сперва она испугает всех своим названием — скажут: ученость, сушь, скука. Итак, мне остается рассчитывать на множество повестей да на толщину баснословную. И верь мне: я не ошибусь¹.

Герцен горячо откликнулся на просьбу Белинского, проявив большую энергию и инициативу по собиранию материала среди москвичей для нового альманаха. Сам он сразу же после получения письма от Белинского от 2 января 1846 г. пишет для альманаха повесть «Сорока-воровка», черновая редакция которой спешно закончена была 23 января 1846 г.²

В результате этой дружеской помощи, за самое короткое время, к концу марта, Белинский получил уже немало ценных произведений для затейного им альманаха. В письме к Герцену от 20 марта 1846 г. Белинский сообщает: «Получил я конец статьи Кавелина, «Записки доктора Крупова», отрывок Михаила Семеновича <Из записок артиста М. С. Щепкина> и, наконец, статью Мельгунова. Чисто литературных статей у меня теперь по горло, ешь — не хочу, и потому ученых еще две было бы очень не худо...»³.

Некрасов с самого начала видимо, энергично помогал Белинскому в деле реализации задуманного альманаха, взяв на себя все вопросы материально-технического порядка. В «Воспоминаниях» А. Я. Панаевой мы находили указание, что Некрасов, прежде всего, взял на себя «хлопоты по изданию и переговоры о кредите». Белинский верил, как он выражался, «в спекулятивную жилку Некрасова», и заметно приободрился, когда получил известие из Москвы, что все пишущие его приятели с радостью дадут ему статьи⁴.

Белинский писал Герцену 6 февраля 1846 г.: «Альманах Некрасова дерет, да и тольк. Толькэ три книги на Руси шли так страшно! «Мертвые души», «Тарантас», «Петербургский сборник». Эх, как бы моя поала в четвертые!»⁵.

¹ «Письма Белинского», т. III, стр. 102. В числе участников «Петербургского Сборника» были Белинский, Достоевский, Некрасов, Панаев, Тургенев, В. Ф. Одоевский, А. Н. Майков, А. В. Никитенко, А. И. Кронеберг.

² Л. Крестова «К истории текста повести Герцена «Сорока-воровка». «Лит. наследство», т. 41—42, М., 1941, стр. 486—489.

³ «Письма Белинского», т. III, стр. 104—105.

⁴ «Воспоминания» А. Я. Панаевой. Редакция К. Чуковского, М., 1948 г., стр. 169.

⁵ «Письма Белинского», т. III, стр. 100. Ср. его же к Герцену от 25 января: «Альманах Некрасова дерет больше 200 экземпляров продано с понедельника (21 января) по пятниц (25 января)».

В этом же письме Белинский впервые ставит вопрос о названии будущего альманаха, прося Герцена придумать для него что-нибудь «попроще и получше». Ответ Герцена до нас не дошел, но, видимо, название «Левиафан» предложено было именно им: «А что мой альманах должен быть слоном или левиафаном, это так»,—писал Белинский Герцену 19 февраля 1846 года¹. В письме от 20 марта Белинский окончательно санкционировал второе из предложенных ему обозначений: «Имя моему альманаху—«Левиафан»².

Определяя основные факторы успеха «Петербургского сборника», Белинский не случайно акцентирует внимание на особенностях структуры и даже технического оформления нового альманаха.

«Успех Петербургского Сборника упредил наше о нем суждение,—отмечал Белинский в своей рецензии на это издание,—дивиться этому успеху нечего: такой альманах—еще небывалое явление в нашей литературе. Выбор статей, их многочисленность, объем книги, внешняя изящность издания—все это, вместе взятое, есть небывалое явление в этом роде; от того и успех небывалый»³.

План издания Белинским альманаха недолго оскалывался тайной. За пределы тесного дружеского круга слухи о «Левиафане» вышли не позже конца марта 1846 г. В четвертой книге «Отечественных Записок», прощаясь «до осени» с читателями, Белинский использовал начальные страницы своей рецензии на стихотворения А. Григорьева и Я. Полонского для информации: «Не знаем, много ли и осень даст хорошего; но, не боясь оказаться ложными прорицателями, можем заранее известить публику о двух не совсем обыкновенных в нашей литературе явлениях, которыми должна ознаменоваться осень нынешнего года: мы говорим об огромном сборнике статей литературного и ученого содержания, в котором, говорят, будет до восьми оригинальных повестей и несколько поэм в стихах, и об иллюстрированном юмористическом альманахе: «Сто статей и Сто картин»⁴.

Эта информация имела в виду «Левиафан» Белинского и «Иллюстрированный альманах» Некрасова. Еще не зная о намеках Белинского в печати, Достоевский в письме к брату от 1 апреля 1846 г. сообщает «огромную новость: Белинский оставляет «Отечественные Записки». Он не возьмется за кри-

¹ «Письма Белинского», т. III, стр. 102.

² Там же, стр. 105.

³ Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. X, 1914, стр. 233.

⁴ «Отечественные записки», 1846. № 4, «Библиографическая хроника». Ср. «Полное собр. соч. В. Г. Белинского», т. X, стр. 293.

тику года два. Но для поддержания финансов издает исполнительной толщины альманах (в 60 печатных листов)»¹.

Живо реагировали на весть о «Левиафане» и литературные противники Белинского. В шестой книге «Москвитянина» М. П. Погодин в рецензии на «Московский сборник», используя сведения об альманахе Белинского, иронически информировал своих читателей: «Из Петербургских хлябей грозит вылезть какой-то Левиафан, Сборник-чудовище (*Monstre*), верно в полном значении этого слова, из тысячи страниц, в двадцать дюймов длиною и 16 шириною... Вот уж будет Сборник, так Сборник! И опять перекричится Москва, как перекрикивается ее почтенный Москвитянин вакханальным гамом Санкт-Петербургских удалых молодцов»².

История «Левиафана» получила отражение и в «Воспоминаниях» А. Я. Панаевой. Планы издания альманаха она связывает непосредственно с появлением и успешным распространением «Петербургского Сборника» Некрасова.

«Петербургский сборник»,—пишет Панаева,—изданный Некрасовым, быстро разошелся... Белинский очень радовался, что, благодаря этому, Некрасов может освободиться на несколько месяцев от поденщины и писать стихи. Я спросила Белинского, почему он также не издает подобного сборника, что наверно все московские и петербургские писатели, его друзья, с готовностью дадут материал для его издания... Я сказала Некрасову,—почему бы Белинскому тоже не заняться изданием книги. Некрасов горячо ухватился за эту мысль, стал уговаривать Белинского, долго его уламывал, наконец «уломал»³.

Мы не можем согласиться с версией рождения «Левиафана», получившей отражение в мемуарах А. Я. Панаевой: переписка Белинского с Герценом позволяет установить гораздо более существенные мотивы решения Белинского обеспечить себе к весне 1846 г. переходную литературную и общественно-политическую базу в «Левиафане». Панаева ошибается и в датах: «Петербургский сборник» вышел в свет 21 января

¹ Письма Ф. М. Достоевского, т. I, М.-Л., 1928, стр. 89.

² «Москвитянин», 1846, № 5, стр. 190. Белинский в своем «Ответе Москвитянину» через несколько месяцев откликнулся на этот выпад Погодина: «В начале прошлого года Белинский собирался издать огромный литературный Сборник, об этом намерении слегка было намекнуто, в числе других слухов, в «Отечественных Записках». И что же? — в «Москвитянине», вслед за тем, было напечатано, что в Петербурге издается огромный альманах с картинками, с цыганскими хорами и плясками и т. п.» («Современник», 1847, № 11). Ср. Полное собрание соч. В. Г. Белинского, т. XI, П., 1917, стр. 39.

³ «Воспоминания» А. Я. Панаевой. Редакция К. Чуковского, М., 1948, стр. 159—160.

1846 г.¹, когда не только окончательно уже оформился самый план издания альманаха, но уже были получены Белинским и некоторые материалы для него.

2.

Каков же был окончательный состав участников «Левиафана» и какие произведения были предоставлены Белинскому для задуманного им альманаха?

Письмо Белинского к Герцену от 2 января 1846 г. позволяет установить—еще, правда, в самой общей форме, — что «Достоевский дает повесть, Тургенев повесть и поэму, Некрасов—юмористическую статью в стихах («Семейство»), Панаев—повесть». Белинский выражает надежду получить, кроме того, еще поэму у Майкова, а через Герцена просит Кетчера «попросить у Галахова какого-нибудь рассказа». В письме упоминается и Кудрявцев, от которого Белинский через Анненкова надеется также получить повесть².

Большинство писателей, упоминаемых Белинским в письмах к Герцену, не замедлило откликнуться на его просьбы прислать материал для альманаха. Кудрявцев («Нестроев»), живший в это время в Берлине, присылает повесть «Без рассвета», Галахов («Сто один») дает повесть «Превращение», А. Н. Майков—поэму «Барышне»³.

Тургенев обещал в сборник Белинского «повесть и поэму». Можно предположить, что повестью, обещанной для «Левиафана», был рассказ «Петр Петрович Каратаев», написанный летом 1846 года, а поэмой являлся «Маскарад», анонсированный как «рассказ в стихах» в объявлении о подписке на «Современник»⁴.

¹ «Летопись жизни В. Г. Белинского». Составили Н. Ф. Бельчиков, П. Е. Будков, Ю. Г. Оксман. М. 1924, стр. 159. Письма Белинского, т. III, стр. 97; «Северная пчела», 1846, № 20.

² Письма Белинского, т. III, стр. 90—91. Ср. письмо А. Д. Галахова от 24/VI 1846 г. к А. А. Краевскому о работе его над повестью «для сборника Белинского» («Венок Белинскому», Сб. под редакцией Н. К. Пиксанова, М. 1924, стр. 146).

³ Все эти произведения, предназначенные для «Левиафана», были напечатаны в первых книжках обновленного «Современника» («Без рассвета» — в 1-й кн., «Превращение» — в 7-й книге; поэма «Барышне» — в 4-й книге).

⁴ Обещание Тургенева активно включиться в работу для альманаха Белинского подтверждает и Панаев в своих «Воспоминаниях»: «Белинский уже волновался и, когда Тургенев уезжал в деревню, то говорил ему: «Вы уж, пожалуйста, это лето не увлекайтесь так охотой и пишите, чтобы рассказ Ваш не был с куриный носок, а напишите как следует». Осенью, как сообщает Панаев, Тургенев уверял Белинского, что «он <рассказ> у меня написан для вас, только надо его обделать» (А. Панаева «Воспоминания», стр. 162). О «Маскараде» см. позднейшую переписку Некрасова с Тургеневым («Письма Н. А. Некрасова», стр. 77—78 и 87).

В «Воспоминаниях» А. Панаевой отмечалось, как Белинский торопил Панаева засесть за повесть для его альманаха, говоря: «Не забудьте, весь материал мне нужен к началу сентября»¹.

20 сентября 1846 г. Некрасов сообщил Белинскому: «Повесть Панаева поспеет не ранее, как в декабре...» Видимо, это была повесть «Родственники», предназначавшаяся для «Левифана», но законченная только в декабре 1846 г. и помещенная в первой книжке «Современника». Некрасов обещал в альманахе Белинского юмористическую поэму «Семейство». Поэма «Семейство», обещания для альманаха, это, видимо, «Секрет» («В счастливой Мокве. на Неглинной»), впервые полностью опубликованный только в 1856 году².

В письме к Герцену от 6 февраля 1846 г. Белинский отмечал: «Повести Некрасова, будь она не больше, как порядочна, буду рад до нельзя»³. Значит, Некрасов обещал не только поэму, но и повесть.

Возможно, что для «Левифана» же предназначались Некрасовым «Тройка» и «Псова охота», напечатанные в первых двух книгах «Современника».

Высоко ценя повесть Герцена «Кто виноват» и учитывая исключительный успех первой ее части в «Отечественных Записках», Белинский просит Герцена вторую часть повести предоставить для «Левифана»⁴. Однако Герцен не счел возможным отказаться от своих обязательств перед журналом Краевского и вместо «Кто виноват?» дал в альманахе «Сороку-воровку» и «Записки доктора Крупова»⁵.

6 февраля 1846 года Белинский писал Герцену: «Такие повести <«Кто виноват?»> являются редко, и в моем альманахе она была бы капитальной статьей, разделяя восторг публики с повестью Достоевского <«Сбритые бакенбарды»>, а это было бы больше, нежели сколько можно желать издателю альманаха даже во сне, не только на яву...».

О своем обещании дать материал в «Левифан» Достоевский писал 1 апреля 1846 г., информируя брата об альманахе Белинского: «...пишу еще дв. повести: 1) «Сбритые бакенбарды», 2) «Повесть об уничтоженных канцеляриях»⁶. По-

¹ А. Панаева «Воспоминания», М., 1948, стр. 160.

² Стихотворения Н. Некрасова СПб, 1879, т. IV, стр. XVIII, Ср. Н. С. Ашукин «Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова», М.—Л., 1935, стр. 66.

³ «Письма Белинского», т. III, тр. 100.

⁴ «Письма Белинского», т. III, тр. 96.

⁵ «Письма Белинского», т. III, тр. 98—99.

⁶ «Письма Ф. М. Достоевского», т. I, стр. 89.

вести эти в печати не появились. Они, видимо, были только задуманы Достоевским или, во всяком случае, только начаты и не доведены до конца¹. Внимание Белинского к Достоевскому, как участнику будущего альманаха, дало материал для пародических стишков Некрасова и Тургенева «Послание Белинского к Достоевскому». В этих стихах молодые поэты от имени Белинского гарантировали Достоевскому высокую оценку его будущих произведений, независимо даже от их качества, и глумились над претензиями автора «Бедных людей» на особое место для новых его вещей в будущем альманахе:

Ради будущих хвалений
(Крайность, видишь, велика)
Из неизданных творений
Удели не «Двойника».

Буду няньчиться с тобою,
Поступлю я, как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец²

В апреле 1846 г. альманах Белинского обогатился новым «гвоздем» — Гончаров согласился отдать в него свой первый роман «Обыкновенную историю»³. О согласии, выраженном на это самим Гончаровым, упоминал Некрасов в своем письме к Белинскому от 20 сентября 1846 г. Имя Гончарова как предполагаемого участника альманаха Белинского, упоминается и в письме Панаева к Кетчеру от 1 октября 1846 года⁴.

В числе ближайших участников «Левиафана» был, конечно, и В. П. Боткин. 26 марта 1846 г. Белинский в письме к нему дружески благодарил его за согласие отдать в альманах «Письма об Испании и Танжере»⁵.

¹ В. Кирпотин «Молодой Достоевский», М. 1947, стр. 158.

² «Послание Белинского к Достоевскому», пародирующее хлопоты великого критика о «Левиафане», известно в двух редакциях, одна из которых сохранилась в бумагах Герцена («Литер. Вестник», 1902, т. I, стр. 114), а другая, самая точная, дошла до нас в записи Д. В. Григоровича («Нива», Ежемесячное приложение, 1909, кн. XI, стр. 393).

³ О чтении «Обыкновенной истории» в квартире Белинского см. «Воспоминания о Белинском» И. И. Панаева. В письме Некрасова от 20 сентября 1846 года сохранились данные о том, как сразу же после отъезда Белинского на юг Гончаров стал «хныкать и жаловаться и скулить», что отдал Белинскому свой роман «ни за что», в порыве «увлечения», смущенный тем, что Белинский просил у него «Обыкновенную историю» для альманаха «именем своего семейства». Чуть было не прельщенный возможностью продать свой роман Краевскому за три тысячи, Гончаров согласился, однако, уступить его Некрасову для «Современника» по 200 руб. асс. за печатный лист («Письма Белинского», т. III, приложения, стр. 362).

⁴ «Письма Белинского», т. III, прил., стр. 362.

⁵ Там же, стр. 106.

До нас не дошла переписка Белинского с Огаревым этой поры, но есть все основания предполагать, что напечатанные в первых книгах «Современника» его «Монологи» («Бываю часто я смущен» и «Отъезд») перешли в «Современник» из «Левиафана».

Предложил для альманаха и М. С. Щепкин свои отрывки из «Записок артиста». Эти срывки Белинский в письме к Герцену от 26 января 1846 г. назвал «одним из перлов альманаха».

А. Я. Панаева в своих «Воспоминаниях» отмечает еще двоих участников альманаха Белинского. Это В. Ф. Одоевский и В. А. Соллогуб, которые обещали через И. И. Панаева дать свои произведения Белинскому: «Когда Панаев сказал,—пишет А. Панаева,—то Соллогуб обещался написать тоже что-нибудь для альманаха», то Белинский заметил: «Наверно с ножом к горлу ему пристали, ну и обещал, чтобы отвязаться от вас!.. Во в Одоевском я уверен, что он от чистого сердца пообещал написать для меня»¹.

Говоря в письме к Герцену от 2 января 1846 г. о своей статье для «Левиафана», Белинский как бы вскользь упоминал: «Сам я хочу написать что-нибудь о современном значении поэзии»². Замысел этот остался неосуществленным, но совершенно очевидно, что Белинский имел здесь в виду развернутую характеристику положений, бегло намеченных им во «Взгляде на русскую литературу 1846 года»: «Один из самых поразительных признаков зелости современной русской литературы — это роль, которую играет в ней стихотворная поэзия. Бывало, стихи и стишки составляли отраду и утешение нашей публики. Стихотворцы являлись без счету, росли как грибы после дождя. Теперь не то. Стихи играют взростепенную в сравнении с прозой роль. Из этого многи заключили, будто век поэзии миновался для русской литературы, что поэзия скрылась от нас чуть ли не навсегда. Мы же, напротив, видим в этом скорее торжество, нежели упадок русской поэзии...».

Можно не сомневаться, что критическая передовица Белинского в «Левиафане» предвосхищала трактовку и многих других литературно-философских и общественно-политических проблем, намеченных и разреженных во «Взгляде на русскую литературу 1846 года», котором открылся «Современник» в следующем году.

В альманахе Белинского должны были увидеть свет и

¹ «Воспоминания» А. Панаевой М., 1948, стр. 160.

² «Письма Белинского», т. III, стр. 91.

исторические монографии К. Д. Кавелина, С. М. Соловьева, Т. Н. Грановского.

«Статье г. Соловьева очень рад, но однако, не мешает мне печалиться о том, что при ней не будет статьи шепелявого профессора <Грановского>»,—писал Белинский 26 января 1846 г. Герцену,—и статья была бы на славу, и имя автора—все это, братец, не что-нибудь так. А, все-таки, мне хотелось бы, чтобы Кавелин, о чем бы ни писал, коснулся своего взгляда на русскую историю в сравнении с историей Западной Европы... скажи ему. Такие мысли держать под спудом грех».

И в другом письме от 19 февраля 1846 г. мы читаем: «Твоя «Сорока-воровка» отзывается анекдотом, но рассказана мастерски и производит глубокое впечатление. Разговор, прелесть, умно чертовски... Мысль «Записок медика» <«Записки доктора Крупова»> прекрасна... Статья «Даниил Галицкий»—дельный и занимательный монограф, мне очень нравится. Ведь это г. Соловьева? Почему он не выставил имени? Узнай стороной и уведомя. О статье Кавелина нечего и говорить—это чудо!»¹.

Статья Кавелина, полученная для «Левиафана», называлась «Взгляд на юридический быт древней России» Соловьев прислал для альманаха статью «Даниил Романович, король Галицкий», Н. А. Мельгунов—статью «И. Ф. Вернет, швейцарский уроженец и русский писатель». Точные названия статей, предназначенных для альманаха, мы устанавливаем по первым двум книжкам «Современника» 1847 г., куда их передал Белинский.

Таким образом, выясняется не только состав участников «Левиафана», но и названия большей части произведений, которые должны были украсить его страницы. Отдел художественной литературы был представлен в альманахе именами Герцена, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Некрасова, Панаева, Кудрявцева (Нестроева), Галахова («Сто одного»), Майкова, Огарева, Соллогуба, Одоевского. Отдел критики заполнялся Белинским; научный отдел представлен был статьями Кавелина, Грановского, Соловьева, Мельгунова. «Парижские письма» Анненкова, «Письма об Испании» Боткина, Воспоминания М. С. Щепкина завершали сборник.

Большая часть статей и повестей была представлена Белинскому его друзьями в порядке товарищеской поддержки, без всякого расчета на возможность их оплаты. В письме к Герцену от 26 января 1846 г. Белинский горячо благодарит за эту дружескую готовность помочь ему: «Как вас всех благодарить за ваше участие, не знаю, и не считаю нужным, но

¹ «Письма Белинского», т. III, стр. 91 и 102.

не могу не сказать, что это частие меня глубоко трогает. Я раздумался и сознал, что в одном был вполне счастлив—много людей любили меня больше, нежели я стоил».

Исключительный материальный успех «Петербургского сборника» показал, что даже высокая оплата авторского труда не являлась обременительной для издателя. В связи с этим и Белинский в письме к Герцену от 6 февраля 1846 г. ставил вопрос об оплате некоторой части полученного им материала: «Если мой альманах пойдет хорошо (на что я имею не совсем безосновательные причины надеяться), то я не вижу никакой причины не заплатить Кавелину и г. Соловьеву.—ведь я должен буду получить большие выгоды. Будет с меня и того, что эти люди с такой благородной готовностью спешат помочь мне без всяких расчетов. В случае неуспеха, я не постыжусь остаться одолженным ими: зачем же им стыдиться получить от меня законное вознаграждение за труд, в случае успеха с моей стороны?».

3.

Выход в свет «Левифана» с месяца на месяц задерживался. Планы Белинского издать альманах к пасхе оказались совершенно несостоятельными, и сборник пришлось передвинуть на осень.

20 марта 1846 г. Белинский писал Герцену: «Выйдет он <«Левифан»> осенью, но в цензуру пойдет на днях и немедленно будет печататься. Альманаха при мне печатается листов до 15, остальные без меня (я поручаю надежному человеку), а к приезду моему он будет готов, а в октябре выпущу»¹.

Об отсрочке издания альманаха до осени Белинский уведомил 26.III. 1846 г. и А. Д. Галахова, «тысячекратно» благодаря последнего за дружескую готовность снабдить сборник новой своей повестью: «Спешу уведомить вас, что мой альманах выйдет осенью и что, следовательно, если вы послали повесть, то вам нечего беспокоиться о том, что опоздаете»².

Все заботы о реализации альманаха Белинский, выехав 26 апреля 1846 г. в Москву, а оттуда на юг, поручил Некрасову³. Трудно сказать, почему последний не спешил со сда-

¹ «Письма Белинского», т. III, стр. 105.

² «Литературное Наследство» т. LV, М., 1948, стр. 427.

³ «Письма Белинского», т. III, стр. 124. В письме от 10. VI. 1846 г. к жене Белинский писал: «Некрасов будет в Питере в августе. Он открывает книжную лавку и тотчас займется печатанием моего альманаха. Открытие лавки очень выгодно для моего альманаха, так же как мой альманах очень выгоден для лавки». т. III, стр. 124—125). Московские друзья Белинского перспективы успеха альманаха учитывали уже летом 1846 г. не столь оптимистически. См. письмо А. Д. Галахова к А. А. Краевскому от 24.VI.1846 г., с ссылкой на мнение Н. Х. Кетчера («Венок Белинскому». Сборник под редакцией Н. К. Писанова, М., 1924, стр. 146—147).

чей «Левиафана» в типографию. Возможно, что издание альманаха тормозилось из-за задержки некоторыми авторами обещанного материала, но основной причиной все же следует признать переключение всех интересов Некрасова с лета 1846 г. на дело организации нового журнала, в обеспечении успеха которого материал, собранный Белинским для «Левиафана», получал решающее значение¹.

Взятие Некрасовым в аренду «Современника» и реорганизация последнего в большой общественно-литературный журнал — рупор революционной демократии — отвечало и интересам Белинского в несравненно большей степени, чем издание «Левиафана».

Письмо Некрасова к Белинскому от 20 сентября 1846 г. учитывало, однако, возможность сомнений и возражений последнего. Поэтому, вероятно, так сгущены были краски в некрасовской информации о причинах задержки альманаха: «От Тургенева ни слуху, ни духу...—отмечал Некрасов в письме к Белинскому—Достоевский Краевскому повесть дал, а вам неизвестно... Панаева повесть поспеет не ранее, как в декабре... Гончаров собирается передать свой роман Краевскому». Признаваясь, что еще в Казани <т. е. не позже июля 1846 г.> он и Панаев решили списаться с Белинским «касательно уступки альманаха нам в журнал», Некрасов утверждал, что «этот оборот дела» является для Белинского «выгоднейшим»: «Мы заплатим вам за все статьи, имеющиеся для вашего альманаха, и за все те, кои будут для него доставлены, — хорошие деньги, и это будет вам барыш с предполагавшегося альманаха»².

Эту аргументацию развивал и Панаев в письме от 26 сентября 1846 г. к Н. Х. Кетчеру: «Не задерживайте Белинского в Москве и объясните ему все выгоды для него нашего журнала. С альманахом своим он решительно бы сел. Об этом уже писали к нему»³.

Как известно, Белинский сразу же пошел навстречу интересам журнала. Материал «Левиафана» полностью перекоче-

¹ Именно так понимал значение для «Современника» материалов, мобилизованных Белинским для «Левиафана», такой вдумчивый наблюдатель как П. В. Анненков («Литературные воспоминания». Л. 1923, стр. 469—470).

² «Письма Белинского», т. III, Примечания, стр. 359. Никак нельзя согласиться с некритическим отношением к этому письму о «Левиафане» в книге В. Евгеньева-Максимова «Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова», т. II, М.-Л., 1950, стр. 87—88. Характерно, что Краевский, еще видимо, не догадываясь о настоящих причинах отказа друзей великого критика от издания «Левиафана», с большим удовлетворением писал 22 сентября 1846 г. кн. В. Ф. Одоевскому, что «альманах Белинского не состоится» («Рус. Стар.» 1904, № 6, с. 585).

³ «Письма Белинского», т. III, Примечания, стр. 360.

вал в «Современник»¹, обеспечив на несколько месяцев новый журнал первоклассными произведениями крупнейших мастеров слова и ведущих ученых, идейно и лично связанных с великим критиком.

В объявлении о подписке на «Современник», опубликованном в «Северной Пчеле» 8 ноября 1846 г., дан был парадный перечень произведений, находившихся в портфеле редакции нового журнала. За исключением статьи А. В. Никитенко «О современном состоянии русской литературы», это все были вещи, предоставленные их авторами Белинскому для «Левиафана»: «Родственники, нравственная повесть» И. И. Панаева; «Сорока-воровка» — повесть Искандера; «Записки доктора Крупова» — его ж; «Обыкновенная история» — роман в двух частях И. А. Гончарова; «Из записок артиста» — М. С. Щепкина; «Без рассвета» — повесть Нестроева; «Маскарад» — рассказ в стихах И. С. Тургенева; «Много шуму из ничего» — драма Шекспира, перев. А. И. Кронеберга; «Взгляд на юридический быт России» — К. Д. Кавелина².

Как мы знаем, перечень произведений, перешедших в «Современник» из несостоявшегося альманаха, далеко не ограничивался этими «капитальными» публикациями.

Сам Белинский хорошо понимал значение своего вклада в общее дело. Так, отмечая в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», что «перечень всего замечательного, что явилось в прошлом году по части изящной словесности очень не велик», Белинский пояснял: «Это произошло частью от того, что множество замечательных беллетристических произведений, особенно повестей, должно бы было появиться в прошлом году в одном огромном сборнике, предполагавшемся к изданию. Но по случаю «Современника» литератор, предпринимавший издание этого сборника, счел за лучшее оставить свое предприятие и передать «Современнику» собранные им статьи»³.

¹ Сумма, выплаченная Белинскому за представленный им «Современнику» материал, собранный для «Левиафана», как свидетельствует бухгалтерская справка, составленная 5 мая 1848 г. Некрасовым, была очень скромна, определяясь цифрой в 1859 р. 20 к. ассигнациями («Записки отдела Рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина», в. XI, М., 1940, стр. 5—17). Объясняется это, конечно, отказом Белинского получить деньги за материал, которым он не счел себя вправе распоряжаться после крушения «Левиафана». Весь этот материал оплачен был особо конторой «Современника».

² «Северная пчела» от 8 ноября 1846 г. № 253.

³ Это примечание в «Современнике» не появилось, оно опубликовано было впервые Н. Х. Кетчером по рукописи статьи в «Сочинениях В. Г. Белинского», ч. XI, изд. Солдатенкова, М., 1861 г., стр. 62. Свой «предполагавшийся альманах, так кстати обогативший «Современник» повестями», Белинский вспоминал и в своем известном письме к Боткину от 4—8 ноября 1847 г., говоря о перспективах журнала на новый год. (Письма Белинского, т. III, стр. 278).

Эту тесную связь материала «Левиафана» с первыми книжками «Современника» очень тонко подметил Анненков в письме из Петербурга за границу к Боткину от 20 ноября 1846 г.: «Я ведь должен был прислать вам «Левиафана», но он остался на дне морском. Постараюсь прислать вам первую книжку «Современника»¹.

¹ «П. В. Анненков и его друзья». СПб, 1892, стр. 521. Роль несостоявшегося альманаха Белинского в истории организации «Современника» осталась, к сожалению, совершенно неучтенной в специальной монографии о последнем В. Е. Евгеньева-Максимова («Современник» в 40—50 годах. Издательство писателей в Ленинграде, 1934 г.). Совершенно устарела и сводка данных о «Левиафане», сделанная А. Н. Пыпиным. («Белинский, его жизнь и переписка», СПб. 1876, т. II, стр. 245—256; изд. 2-е, СПб, 1908, стр. 489—495).

ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ПОНИМАНИИ БЕЛИНСКОГО

I.

Великий русский критик В. Г. Белинский, предшественник, по выражению В. И. Ленина, «полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении»¹, проявлял глубокий интерес к вопросам русского языка на протяжении всей литературной деятельности (1834—1848 гг.), и его литературное наследие заслуживает большего внимания со стороны лингвистов, чем это было до сих пор.

Видя в русском языке одну из форм выражения самобытности могучего русского народа, он давал ему, по достоинству, высокую оценку. В его представлении русский язык был «удивительно богатым и гибким» (т. III, стр. 335)², «одним из богатейших языков в мире» (т. X, стр. 166), «богаче других языков» (т. VI, стр. 516), «одним из счастливейших языков по своей способности передавать произведения древности» (т. VII, стр. 31), по своей переимчивости и колоссальным творческим возможностям. «Было время,—говорит он в статье «Несколько слов о поэме Гоголя» (1842 г.),—когда на Руси никто не хотел верить, что русский ум, русский язык могли на что-нибудь годиться; всякая иностранная дрянь легко шла за гениальность на святой Руси, а свое русское, хотя бы и отличное высокою даровитостью, презиралось за то только, что оно русское. Время это, слава богу, прошло» (т. VII, стр. 292).

Интересы Белинского в отношении языка отличались многосторонностью. Разнообразные вопросы интересовали его: вопросы научного и прикладного языкознания, особенности

¹ В. И. Ленин. Из прошлого рабочей печати в России. Сочинения В. И. Ленина, изд. 3-е, т. XVII, стр. 341.

² Ссылки везде делаются на Полное собрание сочинений В. Г. Белинского под редакцией и с примечаниями С. А. Венгерова (I—XI тт.) и под ред. и с примечаниями В. С. Спиридонова (т. XII и XIII).

языка писателей и процесс развития литературного языка, правомерность лексических заимствований и принципы перевода с иностранного языка на русский, проблемы научно-публицистического языка, вопросы школьной грамматики и методика преподавания языка, вопросы стиля и орфографии и т. д. Все это нашло отражение в его многочисленных рецензиях на учебные пособия, на научные работы, на художественные произведения и на книги по философии, по сельскому хозяйству, по истории и т. д. и в его учебнике «Основания русской грамматики» (1837 г.). Он пользовался решительно каждым подходящим моментом, чтобы высказать свои соображения по различным вопросам русского языка. Высказывания его о русском языке многочисленны и разносторонни. С этой стороны никого из критиков, публицистов и писателей нельзя сопоставить с ним, кроме, разве, Чернышевского и М. Горького.

В данной работе внимание обращено на те высказывания Белинского о языке, которые характеризуют процесс развития русского литературного языка.

Белинский исторически подходил к языку писателей, учитывая историческую преемственность и органическую связь отдельных звеньев в общем историческом ходе развития языка, а в некоторых случаях и социально-историческую обусловленность. В основе его подхода к языку писателей лежала мысль: «Никто сам собою ничего не делает ни великого, ни малого; но оглядевшись вокруг себя, всякий начинает или продолжать, или отрицать сделанное прежде его: это закон исторического развития» (т. VIII, стр. 79). Мысль о необходимости исторического изучения языка наиболее четко и определенно выражена в работе И. В. Сталина «Относительно марксизма в языкознании»: «язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка»¹.

Освещение Белинским языковых вопросов на основе литературного материала не было его основной задачей и давалось им между прочим, попутно, поскольку позволяли ему рамки и задачи литературно-критической журнальной статьи.

Не сразу Белинский пришел к историзму в понимании языкового развития. На пути его исканий были уклонь, пока не окрепли его реалистические и социальные позиции и не привели его в конечном итоге к определенной языковой концепции. Во всяком случае с 1841 года, особенно в 1846 и 1847 годах, в сознании Белинского вырабатывается довольно четкая исто-

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. 1950, стр. 18

рическая перспектива развития русского литературного языка. Но она охватывала только XVIII в. и первую половину XIX в.

Интерес Белинского к историческому изучению русского языка отвечал запросам времени. В 30 и 40-е годы XIX в. и другие его современники проявляли внимание к вопросам истории языка в своих работах: Н. Надеждин—«Европеизм и народность» («Телескоп», 1836), К. Зеленецкий—«Исследование значения, построения и развития слова человеческого и приложение сего исследования к языку русскому» (М. 1837), Ф. И. Буслаев—«О преподавании отечественного языка» (М. 1844 г.), Катков—«Об элементах и формах славяно-русского языка» (М. 1845), К. С. Аксаков—«Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» (М. 1846), И. Срезневский—«Мысли об истории русского языка» (1849). Впрочем, сфера применения принципа историзма у Белинского и его современников была неодинакова. Его современников интересовали, главным образом, общие вопросы грамматики, стилистики или взаимоотношения народной и книжной стихии в литературном языке, тогда как Белинский имел тяготение к истории русского литературного языка, точнее—к языку писателей, и в своих высказываниях он первый, на основе литературно-художественного материала, дает канву, несколько, правда, упрощенную, развития русского литературного языка. Но в то время, как другие работы, в частности К. С. Аксакова и И. И. Срезневского, оказали немалое влияние на разработку общих вопросов истории русского языка, его высказываниям, в силу их разбросанности, не суждено было послужить толчком к построению истории русского литературного языка как специальной дисциплины. В качестве самостоятельной научной дисциплины она выделилась лишь через 100 лет после выхода великого критика на литературное поприще, в советскую пору. Собственно, только с труда акад. В. В. Виноградова «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» (1934 г.) можно вести начало серьезного исторического изучения литературного языка во всей его сложности.

2.

Общий обзор процесса развития русского литературного языка Белинский начинает с Ломоносова, с его «Оды на взятие Хотина» (1739 г.). Ее он считал началом рождения русской литературы, а самого автора ее «отцом и пестуном», ее Петром Великим, употребляя сравнение, впервые пущенное Батюшковым и подхваченное Надеждиным. В ней, по отзыву Белинского, была «в первый раз услышана правильная, чистая русская речь в литературном произведении и положено начало дальнейшему развитию русского языка» (т. XII, стр. 223). Ло-

моносов, по его мнению, «дал направление, хотя и временное, нашему языку и литературе» (т. I, стр. 331)—«риторическое направление» (т. XII, стр. 499), с его характерными чертами — напыщенностью, набором громких слов и общих мест, звучными, великолепными и высокопарными фразами, надутой метафоризацией, чрезмерной гиперболизацией и изобилием «поэтических вольностей». Все это наблюдается и в одах, и в похвальных словах, представлявших собою «плоды заказной работы» (т. V, стр. 468).

Белинский был убежден, что «Ломоносов нисколько не был ритором по его натуре: для этого он был слишком велик; но его сделали ритором не от него зависевшие обстоятельства» (т. X, стр. 393). Ведь ригорику, говорит он, можно наблюдать только в его одах и в похвальных словах, а не в ученых сочинениях. «Отчего же это?»—задает он вопрос и отвечает: «Оттого, что для ученых сочинений у него было готовое содержание, которое добыл он себе наукою и трудом..., развил и увеличил собственным гением. Стало быть, он знал, что писал, и не нуждался в риторике. Содержание же для своей поэзии он не мог найти в общественной жизни своего отечества» и «сделался ритором поневоле», давая «вольное или невольное искажение действительности, фальшивое идеализирование жизни», «изображая несуществующее, рассказывая о небывалом» (т. X, стр. 393—396).

При всем этом язык поэзии Ломоносова, несмотря на риторику, с точки зрения Белинского, был «естественнее, лучше языка его прозы». В отношении прозы он даже затруднялся дать ответ в статье «Русская литература в 1840 году» на вопрос, «больше вреда или пользы оказал он русскому языку, заковав его в чуждое ему построение латинских и немецких периодов» (т. V, стр. 468—469). Этого вопроса он касался еще в «Литературных мечтаниях» (1834 г.): «Говорят, что он (Ломоносов.—А. Е.) глубоко постиг свойства русского языка. Не спорю—его грамматика дивное, великое дело. Но для чего же он паялил и корчил русский язык на образец латинского и немецкого? Почему каждый период его речей набит без всякой нужды таким множеством вставочных предложений и заострен на конце глаголом? Разве этого требовал гений языка русского, разгаданный сим великим человеком? Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и приводят их в систему, а писатели только творят на нем сообразно с сими законами» (т. I, стр. 333). Нельзя не подивиться гению Белинского, который так верно и глубоко определил язык как общественное явление, заявив, что язык творит народ. В работе

И. В. Сталина «Относительно марксизма в языкознании» читаем о языке: «Он создан не одним каким-нибудь классом, а всем обществом, всеми классами общества, усилиями сотен поколений. Он создан для удовлетворения нужд не одного какого-либо класса, а всего общества, всех классов общества. Именно поэтому он создан, как единый для общества и общий для всех членов общества общенародный язык»¹.

Белинский видел, что у Ломоносова «есть строфы и целые стихотворения, которые по чистоте и правильности языка весьма приближаются к нынешнему времени» (т. I, стр. 333); он признавал, что Ломоносов глубоко знал русский язык и, если все-таки, наперекор природе русского языка, «установил славяно-латино-немецкую форму» и величавость в нем, то сделал это исключительно «по духу и потребностям времени», по требованию социально-исторической «разумной необходимости» (т. IX, стр. 476; т. X, стр. 313, 394—395).

Определив и обосновав общее направление, какое придал Ломоносов литературному языку, Белинский не уловил основной нити его языковых устремлений. Убежденный в богатстве, мощи и превосходстве русского языка перед всеми европейскими языками, Ломоносов, отдавая в своей практике, в силу сложившихся обстоятельств, дань риторическому направлению, поставил в своей теории ясную цель перед всеми работниками слова—способствовать разработке русского литературного языка на национальных началах. Учитывая важность и необходимость старославянского элемента в русском литературном языке, он не отбросил его, но сильно ограничил его роль, сузив рамки употребления. Видя нежелательное явление, по терминологии Белинского, в «разноречии», какое господствовало в эпоху Петра I и после, он вел борьбу с «дикими и странными словонелепостями, входящими к нам из чужих языков» без нужды. Но зато он предоставил большой простор русской разгворно-бытовой речи, вплоть до простонародной. Любопытно, что свою «Грамматику российского языка» он насытил вольно и невольно, как то хорошо доказал проф. Будде, даже словами родного ему севернорусского наречия. Недаром Сумароков с преднамеренным преувеличением обвинял его в том, что он «московское наречие в колмогорское превратил». В своей теории и практике Ломоносов опирался не на диалект какой-либо социальной группы (двора, духовенства и пр.), а на «общее употребление». Он, хотя в своей литературной деятельности и уделил особое внимание «высокому стилю» с его торжественностью, витийственностью, крайней приподнятостью и «великолепием», тем не менее был более

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. 1950, стр. 5.

демократичен, чем Тредьяковский, опиравшийся на жаргон двора и аристократических кругов русского общества. Проявление двух противоречивых тенденций (риторизма и народной простоты) в языковой деятельности Ломоносова сказалось на двояком отношении к ней в последующие периоды истории языка: с одной стороны—в борьбе с риторическим направлением, которое дано было языку Ломоносовым, с другой — в осуществлении принципа народности языка, какой был им же указан,—словом—в борьбе с риторикой за простоту и народность языка в связи с ростом реалистических тенденций в русской литературе.

3.

Проследивая литературный язык на последующих этапах, Белинский констатирует, что в литературе эпохи Екатерины II тоже господствовало риторическое направление, но в ней был «уже виден в ходе развития языка значительный успех: Державина и Фонвизина, по отношению к языку, никак нельзя сравнивать с Ломоносовым» (т. IX, стр. 476). Ограничившись этим беглым замечанием о языке Фонвизина, он сравнительно долго останавливается на языке Державина в связи с эпохой.

В статье «Сочинения Державина» (1843 г.) Белинский указывает, что вкусы того времени требовали высокопарности и торжественности, великолепия и пышности. Тогда, иллюстрирует он, «нельзя было сказать: «достойный подвиг русской силы»; это было бы низко и не согласно с парением оды; непременно нужно было сказать «достойный подвиг русской силы»: слова «русский» и «росс» казались тогда не только необыкновенно звучными, но и отменно умными... Выражения наперсник у северной Минервы, друг Апполона во храме муз, вождь на поле Марса для нас слишком прозаичны, но, по понятиям того времени, в них-то и заключалась вся сущность поэзии» (т. VIII, стр. 74—75). Риторика была основной чертой и стиля Державина, произведения которого—«смесь алмазов поэзии с стразами риторики» (т. V, стр. 102). В этом отношении язык его был близок к языку Ломоносова, что зависело, как сказано, от характера эпохи. Мысль эту Белинский повторяет и позже, в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года»: «Русский язык был еще не выработан, дух книжничества и риторики царил в литературе; но главное—тогда была только государственная жизнь, но не было жизни общественной» (т. X, стр. 391), которая давала бы необходимое содержание для поэзии.

У Державина был замечен и явный отход от риторического направления, от влияния Ломоносова. Белинский в другой

статье о Державине (1843 г.) объясняет этот отход словами самого же Державина: «хотел парить, но не мог постоянно выдерживать красивым набором слов свойственного единственно российскому Пиндару велелепия и пышности» (т. III, стр. 80). Кроме того, в творчество Державина проникают некоторые черты реальной действительности, «черты народности, столь неожиданные и тем более поразительные в то время», а потому его «поэзия разнообразнее, живее, человечнее со стороны содержания, нежели поэзия Ломоносова» (т. X, стр. 392). А вместе с этим в ней сильнее «слышится русская речь» с теми, конечно, «несовершенствами», какие характерны были для языка того времени. «В его время,—говорит Белинский по поводу речи Никитенко о критике (1842 г.),—язык русский был крайне не обработан, вращался в тяжелых славяно-латинских формах, в которые заковал его Ломоносов; о гармонии и пластике, словом — виртуозности стиха, никто тогда не имел и малейшего представления; усечения прилагательных, коверканье слов, какофония речений были узаконены самою пиитикою того времени под именем пиитических вольностей» (т. VII, стр. 358—9). «Исключая отдельных фраз и стихов, — заявляет годом позже критик, — большую часть стихотворений Державина теперь уже трудно читать... теперь уже так не пишут... Это язык, чуждый нам» (т. VIII, стр. 35, — см. еще 61 стр.). Вот почему и Пушкин говорил о нем в письме к Дельвигу (1825 г.): «этот чудака не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка».

Таково мнение Белинского о языке Державина, о его отношении к языку Ломоносова, к эпохе 80-х годов XVIII в., с одной стороны, и 30—40-х годов XIX в., с другой, и о том новом, что было в языке Державина. Надо сказать, что Белинский не раскрыл в достаточной мере, да и не пытался раскрывать это новое, т. е. народность языка, которая сказалась и в манере использования троп, и в введении элементов фольклорного и народного языка, и в смешении «высоких» слов с «низкими», старославянских с народными,—во всем том, что до некоторой степени подготавливало путь для Пушкина. Народность языка, характерная для Пушкина, получила выражение уже у Державина.

4.

Следующий этап в развитии русского литературного языка—карамзинский. «Великой и бессмертной заслугой» Карамзина, «никогда незабываемой», Белинский считает преобразование им русского литературного языка и стилистики. Этот вопрос его очень интересовал и к нему он неоднократно возвращался в силу особой его важности с точки зрения установ-

ления исторической перспективы развития русского литературного языка. Его он касается в различных статьях, особенно начиная с 1842 года: «Литературные мечтания» (1834 г.), «Русская литература в 1841 году» (1842 г.), «Князь Курбский» Б. Федорова (1843 г.), «История государства российского» (1843 г.), «Русская грамматика» А. Востокова (1844), «Сочинения К. Масальского» (1845 г.), «Грамматические разыскания» В. А. Васильева (1845 г.), «Мысли и заметки о русской литературе» (1846 г.).

В своих статьях Белинский отмечает, что Карамзин чрезвычайно много сделал для освобождения русского языка от риторического направления, установленного Ломоносовым. Во-первых, он «на смерть убил язык Ломоносова» (т. IX, стр. 476) и «из торной, ухабистой и каменистой дороги латинско-немецкой конструкции, славяно-церковных речений и оборотов и схоластической надутости выражения вывел русский язык на настоящий и естественный путь, заговорил с обществом языком общества» (т. X, стр. 145), т. е. «тем самым, которым все говорили; но, разумеется, идеализировал его, потому что письменный язык—искусственный, как бы ни был он естествен, прост, жив и свободен» (т. VII, стр. 17). Во-вторых, вместо латино-славяно-немецкой конструкции Ломоносова стремился ввести в русскую прозу французскую (см. т. IX, стр. 289). В-третьих, для выражения новых идей им узаконено было употребление слов, которые частью вошли в русский язык, а частью только входили, и, кроме того, им были введены иностранные и созданы новые русские слова. В-четвертых, многие русские слова были им, так сказать, осердечены: «В повестях Карамзина,—говорит Белинский,—русская публика в первый раз увидела на русском языке имена любви, дружбы, радости, разлуки и пр. не как пустые отвлеченные понятия и риторические фигуры, но как слова, находящие себе отзыв в душе читателя» (т. VII, стр. 18).

Белинский считал нужным взять Карамзина под защиту от обвинений за наводнение русского языка галлицизмами. Он пишет: «Карамзина обвиняют в растлении чужестранными словами и оборотами, преимущественно галлицизмами, девственности русского языка. Но эти люди забывают, что латино-славянская проза Ломоносова и Хераскова гораздо меньше была русским языком, чем проза не только Карамзина, но и самых неловких его подражателей, отчаянных галломанов» (т. VII, стр. 17).

По поводу всяческих нападок на Карамзина Белинский находит его реформу необходимой, своевременной и весьма действенной: «Карамзин.—заявляет он,—явился в самое время с

своею реформой: тогда все чувствовали ее необходимость, — большинство бессознательно, избранники сознательно: доказательством этого первого служит общий восторг, с каким были приняты первые опыты Карамзина; а доказательством второго может служить Макаров, современник Карамзина, талантливый литератор, в одно время с Карамзиным и совершенно независимо от него писавший такую же прекрасную прозу. Несмотря на то, что дух времени был за Карамзина, знаменитому реформатору нужна была большая сила характера или большая расчетливость, чтоб не смущаться толками и воплями литературных староверов» (т. VII, стр. 17). Первым своим произведением Карамзин заставил русское общество впервые осознать, что русский язык обладает способностью выражать нежные чувствования, имеет свою прелесть, легкость и гибкость.

Но Белинский, говоря так, не видел в языке Карамзина торжества русского национального начала. По поводу сочинений К. Масальского он пишет: «Язык самого Карамзина далеко нерусский: он правилен, как всеобщая грамматика без исключений и особенностей, лишен руссизмов или этих чисто русских оборотов, которые одни дают выражение и определенность, и силу, живописность. Русский язык Карамзина относится к настоящему русскому языку, как латинский язык, на котором писали ученые средних веков, к латинскому языку, на котором писали Цицерон, Саллюстий, Гораций и Тацит: узнав в совершенстве первый, можно совсем не знать второго; легко понимая первый, можно совсем не понимать второго» (т. IX, стр. 289).

Вопрос о народности, национальности никогда не оставлял Белинского, и с этой точки зрения он не раз расценивал язык писателя, допуская иногда некоторые противоречия, напр., в отношении языка «Истории» Карамзина. В «Литературных мечтаниях» (1834 г.) он дает высокий отзыв о языке его «Истории», подходя к нему с критерием народности: «В «Истории государства российского» слог Карамзина,—пишет он,—есть слог русский по преимуществу; ему можно поставить в параллель только слог в стихах «Бориса Годунова» Пушкина. Это совсем не то, что слог его мелких сочинений, ибо здесь автор черпал из родных источников, упитан духом исторических памятников; здесь его слог, за исключением первых четырех томов, где по большей части одна риторическая шумиха, но где все-таки язык удивительно обработан, имеет характер важности, величавости и энергии и часто переходит в истинное красноречие. Словом, по выражению одного нашего критика¹, в

¹ Имеется в виду Надеждин («Телескоп», 1831, № 1).

«Истории Г. Р.» языку нашему воздвигнут такой памятник, о который время изломает свою косу» (т. I, стр. 350). Так писал Белинский в 1834 г., а в статьях 1843 — 1845 гг., после того, как глубже познакомился с подлинной народностью языка Крылова, Грибоедова, а главное — Пушкина и Гоголя, он снижает свою оценку языка истории Карамзина. В статье о сочинениях Масальского он так уже высказывается: «Язык мелких сочинений Карамзина, говорят, гораздо ниже языка, которым написана «История Г. Р.» и который будто бы есть вечный образец русского языка, русского слога. Это едва ли справедливо. Если что особенно хорошо в истории Карамзина, это — изложение событий, умение рассказывать. Но слог этой истории какой-то академический, искусственный, лишенный естественности, тщательно округленный, обделанный, ритмический, певучий, с прилагательными после существительных» (т. IX, стр. 289). А в статье об «Истории государства российского», написанной в 1843 году, Белинский считает недостатком Карамзина то, что язык его героев в «Истории» и «Марфе Посаднице» не соответствует характеру времени: «речи, сохранившиеся в летописях, он лишает их грубой, но часто поэтической простоты, придает им характер какой-то вежливости, риторической плавности, симметрии и заботливой стилистической отделки, так что эти речи, в его переводе, являются похожими на перевод речей римских полководцев из истории Тита Ливия... Русского в них нет ничего, кроме слов» (т. VIII, стр. 259). В качестве примера указываются письма Курбского к Грозному, речь боярина московского на новгородском вече в «Марфе Посаднице» и речь самой Марфы, которая даже упоминает о римской истории, о готах, вандалах и эрулах.

По мнению Белинского, ошибочно думают некоторые, будто в языке Карамзина дано завершение развития русского языка («совершенно утвердил») и что он «далее идти не может»: «много благодарны за этот язык-скороспелку, — восклицает он, — которому только без году неделя, а он уже и составил! Как один из замечательнейших моментов развития русского языка, мы принимаем карамзинский язык с любовью, уважением, благодарностью и даже, если хотите, с удивлением; но нам и даром не нужно карамзинского языка, если в нем должно видеть совершенно установившийся язык русский» (т. IX, стр. 476).

«Русский язык после Карамзина шел не назад, а вперед и шел быстро, — пишет в другой статье Белинский, — а потому и ушел далеко... Только с легкой руки Карамзина русский язык получил свойство быстрой усовершенствости. Сравните язык Карамзина с языком Крылова, Жуковского, Пушкина, Грибое-

дова, Лермонтова и Гоголя—и вы увидите, что в сравнении с языком этих писателей язык карамзинский кажется более как будто нерусским, нежели сколько язык ломоносовский кажется совсем нерусским в сравнении с языком карамзинским» (т. XIII, 1948, стр. 160). После Пушкина, который сделал прозу «истинно свободной и естественной, влив в нее стихию народной речи»¹, сам Карамзин «не стал бы писать так, как писал в свое время» (т. VIII, стр. 253).

По мысли Белинского, Карамзин, убив язык Ломоносова в прозе, а вместе с И. И. Дмитриевым («преобразователем стихотворного языка») и в стихах, в то же время продолжал великое дело гениального помора. Но Белинский не отдавал себе полного отчета в том, каково отношение Карамзина к народным диалектам и старославянскому языку, какие конкретно основные принципы были положены им в основу языковой реформы и т. д. Конечно, многого и нельзя было требовать от Белинского: язык Карамзина, его специфика и для нашего времени все еще продолжает оставаться проблемой, разрешение которой является настоятельной потребностью, так как он, несомненно, оказал серьезное влияние на развитие русского литературного языка.

5.

Несомненным для Белинского был, в частности, факт влияния языка Карамзина на язык Крылова: «он обязан Карамзину чистотой своего языка». Но это влияние не было результатом ученичества, подражания и, скорее, говорит о преемственной связи, о том, что «в органически-историческом развитии,—как выражался Белинский,—все сцепляется и соединяется одно с другим». И по своим качествам оба эти языка совершенно неодинаковы: «Язык Крылова во сто раз выше языка Карамзина», утверждал Белинский, потому что язык Крылова чисто русский язык, а язык Карамзина только в его «Истории» имеет стремление быть таким, а раньше в нем было только стремление не быть славяно-латино-немецким, или ломоносовским. Крылов народен в языке. Он, говорит Белинский, «проложит и другим поэтам путь к народности» (т. VIII, стр. 426). «Честь, слава и гордость русской литературы, он имеет право сказать: «Я знаю Русь, и Русь меня знает» (т. III, стр. 266). Вот почему «слава Крылова все будет расти и пышнее расцветать до тех пор, пока не умолкнет звучный и богатый язык в устах великого и могучего народа русского. Кто хочет изучить русский

¹ Белинский. «Ответ на ответ г. Д.» — «Отечественные записки», 1846, № 5, стр. 48. Данная безымянная статья не вошла в Полн. собрание соч. Белинского и впервые введена в научный оборот в 1948 г.

язык вполне, тот должен познакомиться с Крыловым. Сам Пушкин не полон без Крылова в этом отношении. Эти идиомы эти руссизмы, составляющие народную физиономию языка, его оригинальные средства и самобытное, самородное богатство уловлены Крыловым с невыразимой верностью» (т. III, стр. 390). Ни в одной басне И. Дмитриева, которому Крылов многим обязан в отношении языка, нет подобных руссизмов в языке. Все это дает право Белинскому писать о значении Крылова в деле воспитания: «дети бессознательно и непосредственно напитываются из них русским духом, овладевают русским языком» (т. V, стр. 266).

В языке басен Крылова Белинский констатирует естественность, простоту и разговорную легкость; в них, по его мнению, русский язык развернулся широко, свободно и непринужденно, хотя и не мог остановиться на этом этапе. «Сфера языка Крылова,—говорит он,—сама по себе довольно ограничена, и потому не в ней русский язык мог достичь своего установления и не на басне остановиться. Ему надо было идти, и он пошел вперед содействием Жуковского, Батюшкова, Гнедича, самого Карамзина, который в своей «Истории Государства Российского» говорил совсем другой манерой, нежели прежде» (т. IX, стр. 476).

Крылов подготовил язык для Грибоедова: язык его басен—«прототип языка», по выражению Белинского, комедии «Горе от ума». Может, именно поэтому Белинский, дав общую характеристику языка Крылова, не говорит о языке комедии «Горе от ума» даже в общих чертах, ограничившись беглым указанием на связь его языка с языком басен: «он не учился у Крылова, не подражал ему: он только воспользовался его завоеванием, чтоб самому идти дальше своим собственным путем. Не будь Крылова в русской литературе—стих Грибоедова не был бы так свободно, так вольно, развязно оригинален, — словом, не шагнул бы так страшно далеко» (т. XII, стр. 84). Вот собственно и все, что в высказываниях Белинского имеет некоторое отношение к языку Грибоедова, при всем признании величия совершенного им «подвига»: в нем и Пушкине он видел «основание» для дальнейшего развития русской литературы и языка.

К вопросу о роли Пушкина в истории развития русского литературного языка Белинский с 1841 года упорно возвращался по всякому малейшему поводу, говоря о Лермонтове, Давыдове, Никитенко, о разысканиях Васильева или давая годовой обзор русской литературы.

Хотя Пушкин был современником Белинского, тем не менее последний, имея поразительное языковое чутье, глубокие теоретические познания в области языка и четко представляя

себе развитие языка до Пушкина, сумел правильно оценить язык Пушкина и установить значение его в истории литературного языка. Он понял, что «все, что в предшествовавших ему поэтах было или отдельными силами, или односторонними элементами, или только усилием, или стремлением, — в нем явилось как разрешенная загадка, как уже обретенное слово, как исполнение, как единство, полнота и целостность разнообразного и многостороннего» (т. V, стр. 361). Ему было ясно, что Пушкин был великим, «полным реформатором языка» (IX, 477), «сделавшим из русского языка чудо», и он сочувственно приводит слова Гоголя: «в Пушкине, как будто в лексиконе, заключалось все богатство, гибкость и сила нашего языка» (т. VII, стр. 34). Добив классицизм и преодолев карамзинизм, расширив сферу своего творчества и «сдружив» его с жизнью, он «пересоздал язык».

Отвергнув мнение тех, кто ошибочно говорил, будто «воспитание русского языка» закончено было Карамзиным, будто под его пером он стал уже зрелым, Белинский утверждает, что к такому состоянию приблизил его Пушкин: «Явился Пушкин—и русский язык обрел новую силу, прелесть, гибкость, богатство, а главное—стал развязен, естествен, стал вполне русским языком» (т. IX, стр. 476). Ведь Пушкин был подлинно национальным поэтом. Изображая мир, он «глядел на него,—говорит Белинский, пользуясь словами Гоголя, — глазами своей национальной стихии, глазами своего народа»; он «чувствовал и говорил так, что соотечественникам его казалось, будто это чувствуют и говорят так они сами» (т. VII, стр. 34). Он мог стать чисто русским поэтом и дать в своих произведениях чисто русский язык только потому, что отлично знал, по терминологии Белинского, «ежедневную, домашнюю, обиходную философию». «Кажется, — говорит по этому поводу Белинский, — что бы за важность могли иметь только два такие слова, как, например, *авось* и *живет*, а между тем очень важны и, не понимая их важности, иногда нельзя понять иного романа, не только самому написать роман» (т. XII, стр. 35).

Народность и простота—одна из отличительных черт языка Пушкина. Некоторые «классические колпаки», по выражению Белинского, обвиняли Пушкина в том, что он не знает правил грамматики и искажает русский язык, «но когда расхаживали на просторе «романтики», то все догадались, что стих Пушкина благороден, изящно прост, национально верен духу языка» (т. VIII, стр. 10). Его язык не надутый, а естественный и неподдельно простой, «выше всех похвал». «Пушкин и в этом отношении величайший образец: во всех томах его произведений едва ли можно найти хоть одно сколько-нибудь неточное

или изысканное выражение, даже слово» (т. VI, стр. 61). Он скуп на эпитеты, но если пользуется ими, то они всегда просты, точны, математически определены и в то же время оригинальны. Если у Пушкина находили пошлыми и искажающими русский язык выражения: «удавить бороною», «стать перед носом» и др., то «это происходило, — как объяснял Белинский, — от привычки к обливанным прозаическим общим местам предшествовавшей Пушкину поэзии и от непривычки к благо-родной простоте и близости к натуре» (т. XII, стр. 7).

В своих работах Белинский отмечает большое влияние языка Пушкина на язык современников. Если сравнить, напр., стихотворения Вяземского, Ф. Глинки и Дениса Давыдова, какие появились до и после выхода Пушкина на литературное поприще, то обнаружится «бесконечная разница не только в языке или фактуре стиха, но и в колорите, оборотах фраз и мыслей» (т. VII, стр. 518). Он «увлекает за собою Крылова, писателя, опередившего его целою четвертью века, увлекает Жуковского», которого признает своим учителем (т. IX, стр. 477).

Белинский понимал, что и «сам Пушкин не стоял на одном месте», что с «Полтавы», напр., для его языка наступил новый период (т. IX, стр. 477), что не прекратилось с ним и его влияние: «Влияние Пушкина, — говорит он, — было не на одну минуту; оно окончится только разве со смертью русского языка» (т. VII, стр. 38). Язык Пушкина живет и в нашем современном русском языке. Оглядываясь на прошлое, которое отделяет нас от Пушкина, мы можем повторить слова И. В. Сталина: «Однако, если взять, например, русский язык, то он за этот большой промежуток времени не претерпел какой-либо ломки, и современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина».

«Что изменилось за это время в русском языке? Серьезно пополнился за это время словарный состав русского языка; выпало из словарного состава большое количество устаревших слов; изменилось смысловое значение значительного количества слов; улучшился грамматический строй языка. Что касается структуры пушкинского языка с его грамматическим строем и основным словарным фондом, то она сохранилась во всем существенном, как основа современного русского языка»¹.

У Белинского сложилось довольно четкое представление о языке Пушкина — о его специфике, о его месте в исторической перспективе и о колоссальной роли в деле развития рус-

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания 1950, стр. 7.

ского литературного языка. Нельзя не признать меткость оценок, пронзительность и правильность взглядов Белинского, но следует также сказать, что очень многое в языке Пушкина ему было не ясно, и прежде всего самое движение его языка и взаимодействие в нем различных сил, его новаторство в области лексики, синтаксического строя и стиля. Впрочем, даже в наше время нельзя похвалиться, что язык Пушкина уже решенная проблема. Сто с лишним лет отделяет нас от Пушкина, а изучение его языка, его словаря и особенно грамматического строя, находится, можно сказать, лишь в стадии становления, несмотря на то, что языку Пушкина посвящен ряд серьезных исследований акад. В. В. Виноградова.

Беднее, чем о языке Пушкина было представление Белинского о языке Лермонтова. Его замечания беглые. Они не дают возможности составить понятие ни о специфике языка Лермонтова, ни о его принципиальных языковых позициях. Белинский высоко ценил его язык, придавая ему большое значение в истории развития русского литературного языка: «благодаря Лермонтову русский язык далеко подвинулся вперед после Пушкина» (т. IX, стр. 478), но высказывания, какие даются им, слишком общие, слишком отвлеченные: «богатерская сила», «энергия», «могучесть языка», «полновластное обладание совершенно покоренного языка», «верх совершенства» и т. д. Даже более развернутые эмоционально-импрессионистические характеристики языка Лермонтова не поясняют, не убеждают, а лишь заражают эмоцией восторга: «Какая точность и определенность в каждом слове! Как на месте и как незаменимо другим каждое слово! Какая сжатость, краткость и, вместе с тем, многозначительность!» (т. VI, стр. 315—316). При этом в разных статьях и в одной и той же он, касаясь языка Лермонтова, говорил даже одними и теми же словами: **сжатость, точность, краткость, незаменимость, могучесть** и пр. Отдельные его определения стиля Лермонтова страдают даже некоторой риторичностью. Так, напр., он выражается о языке «Княжны Мери»: «Слог повести—то блеск молнии, то удар меча, то рассыпающийся по бархату жемчуг!» (т. V, стр. 371); в том же роде, но в другом месте— о «Мцыри»: «Можно сказать без преувеличения, что поэт брал цветы у радуги, лучи у солнца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветров» (т. VI, стр. 59). То, что Белинский ограничивается такой характеристикой языка Лермонтова, может вызвать недоумение — в чем дело?... А дело конечно, не в том, что Лермонтов прочесся метеором в русской литературе, и не в том, что язык его трудно постичь во всей глубине, а, возможно, в том, что Белинский давал свои

беглые замечания о его языке в статьях 1840 и 1841 годов, интерес же к литературному языку у него особенно обостряется с 1842 года с усилением в нем реалистических и демократических позиций в отношении литературы и полным осознанием значения «языка как первоэлемента литературы». К этому времени окончательно определилось его требование к языку—простота и безыскусственность.

6.

Белинский говорил: «У меня есть одно слово, которое я твержу беспрестанно, и это слово мое собственное и притом великое слово. Оно — **простота**. Боже мой, как глубок его таинственный и простой смысл! Это океан без берегов и в то же время мелкий, светлый ручеек, который насквозь виден». По его мысли, которая потом была поддержана Чернышевским и Добролюбовым, простота и изысканная орнаментика, полнота мысли и вычурное фразерство—несовместимые, друг друга исключающие явления. В статье о Полежаеве он заявляет: «Поэзия, полная мысли, проста, естественна, неизысканна» (т. VII, стр. 173). В том же роде им было сказано и о стихотворениях Бенедиктова: «Простота языка не может служить исключительным и необманчивым признаком поэзии; но изысканность выражения всегда может служить верным признаком отсутствия поэзии» (т. II, стр. 279). В неестественных и вычурных оборотах, в яркой фигуре и цветистой фразе, в изысканности слога и риторике он видел показатели бедности содержания и «вольного или невольного искажения действительности, фальшивого идеализирования жизни» (т. X, стр. 396).

Борьба с риторикой языка была одной из задач, какую Белинский поставил перед собой. «Убью риторику!»—пишет он Боткину в 1841 году. «Подобную дикую галиматью,—пишет он по поводу Полежаева (1842 г.),—которую иногда и на самом деле выдают нам за полную мыслей поэзию,... основательная критика должна преследовать огнем и мечом, как преступление против здравого смысла, языка, литературы и искусства» (т. VII, стр. 173). Главный его удар пришелся по Марлинскому, Бенедиктову и Языкову, в стиле которых наиболее ярко отражена романтическая риторика. Жесткой критике он подвергает их стиль и в специальных статьях, посвященных Бенедиктову (т. II), Марлинскому (т. V), Полежаеву (т. VII) и в годовых обзорах русской литературы 1843, 1844, 1845 и 1846 годов, где он говорит о спаде романтической волны и об усилении в русской литературе и языке реалистических тенденций. Уже одни эпитеты говорят о его крайне от-

рицательном отношении к языку романтики: риторическая шумиха, риторическая мишура, калейдоскопическая игра мишурных фраз, неистовые фразы, щегольские фразы, вычурные, фосфорический краснослов, трескотня, пустозвонные фразы, белила и румяна изысканной фразеологии дикого языка, риторическая завитушка, жонглер фразы, пышные возгласы и т. д. В многочисленных примерах, взятых из их произведений, он высмеивает напыщенность и вычурность их языка: из повестей Марлинского—«выдымить фосфорное пламя любви», «одно слово, один взгляд двигали громаду корабля—эту гениальную мысль, одетую в дуб и железо, окрыленную полотном», «в укусе страсти», «сожжет ее сердце лучами славы», кровь «бичует змеями мое воображение» и «палит молниями ум», «весь состав Полины прыщет искрами» и т. д.; из стихотворений Бенедиктова—«любовь гнездится в ущельях сердец», «мох забвения на развалинах любви», «я обручусь с тобою кольцом вечности», «растопить свинец несчастья», «любовь блестит цветными огнями сердечного неба», «чудная дева влечет магнитными перстнями железные сердца», «могучею рукою вонзается сталь правды в шипучее сердце порока», «мысль заряжена огнем гремучих вдохновений» и т. п. Их много—«полая вода фраз», по выражению Белинского, и для выписок их, говорит он, «у нас недостает ни сил, ни терпения» (т. V, стр. 158). Все они больше напоминают злые стилистические пародии и «сами себя осмеивают». Метафоры в них, будто намеренно пародические, доведены до крайней степени напряжения и, не давая правильного, реального представления о предмете, создают впечатление нелепости или, как выражался Белинский, «дикой галиматии».

Следя за движением литературы и языка, Белинский в 1840 году в статье о Марлинском констатирует, что в тех журналах, которые «видели в Марлинском высокую творческую силу», уже «начинают упрекать его в излишней игривости и пенистой шипучести языка, которые породили неудачных подражателей, искажающих русский язык» (т. V, стр. 134), а через два года, в 1842 году, он с чувством удовлетворения отмечает, что «теперь только разве низшие слои публики, полуграмотная чернь может принимать за поэзию дикие, изысканные и вычурные фразы» (т. VII стр. 82), что подтверждается им и в следующем, в 1843 году: «Пышные возгласы и великолепные фразы уже всем кажутся пошлыми и ими никого уже нельзя заинтересовать» (т. VIII, стр. 389). А было время, двадцатые годы, когда, по свидетельству Белинского, подобный стиль пользовался большим успехом у читателей (см. т. X, стр. 105).

В романтической риторике Белинский видел «немаловажное историческое значение». Она двояким путем оказала благоприятное действие на литературный язык — положительным и отрицательным. Первое: смелость в обращении со словом вызвала у других писателей большую свободу в пользовании языком. В статье «Русская литература в 1844 году» он пишет: «Языков принес большую пользу нашей литературе: он был смел, и его смелость была заслугой. Вычурные выражения, оскорбляющие эстетический вкус, мнимая оригинальность языка, внешняя красота стиха, ложность красок и самых чувств—...все это теперь уже не дает успеха другому поэту; но все это было необходимо и принесло великую пользу в свое время. Дотоле всякая мысль, всякие чувства, всякое выражение,—словом, всякое содержание и всякая форма казались противными эстетическому вкусу, если они не оправдывались, как копии образом, произведением какого-нибудь писателя, признанного образцовым. Оттого писатели наши отличались удивительной робостью: всякое новое, оригинальное выражение, родившееся в собственной их голове, приводило их в ужас; литература, в свою очередь, отличалась скучным однообразием, особенно в произведениях второстепенных талантов... И потому смелые, по их оригинальности, стихотворения Языкова имели на общественное мнение такое же полезное влияние, как и проза Марлинского: они дали возможность каждому писать не так, как все пишут, а как он способен писать» (т. IX, стр. 106—107). Но Белинский указывает и на обратное действие. По его мнению, Марлинский, Языков, Бенедиктов, Хомяков и Шевырев самой непростотой, вычурностью, напыщенностью своего языка вызывали противоположное действие: они «навсегда обратили русскую литературу к благородной простоте и навсегда избавили нашу публику от склонности к изысканной дичи в мыслях и выражении!.. Их образ действия и усилия для этой цели были совершенно обратные и отрицательные; но зато результаты теперь вышли и прямые и положительные» (т. VII, стр. 82,—см. также т. X, стр. 105).

Марлинизм, неистовая романтическая риторика, не только утратил в 40-е годы свою репутацию, но и был убит. И суть дела, конечно, не в его «обратном» действии, а в том, что в эпоху Гоголя он был явлением, пережившим себя в его, так сказать, чистом виде: марлинизм и реализм—противоположности. По общему ходу мыслей самого Белинского, развитие русского литературного языка совершалось в борьбе с классической и романтической риторикой за народность языка на основе «стремления <литературы>, хотя и бессозна-

тельного, освободиться от влияния Ломоносова и сблизиться с жизнью, с действительностью, следовательно, сделаться самобытной, национальной, русской» (т. X, стр. 391). О народности языка думал уже Ломоносов, с которого начинается и риторическое направление, но она постепенно усиливается в дальнейшем, особенно в творчестве Пушкина и Гоголя вместе с расширением социальной базы их художественной деятельности.

7.

С критического реализма Гоголя, вышедшего, по мысли Белинского, из школы Пушкина и Грибоедова, начинается новое направление в литературе и в языке. Объектом его стало преимущественно русское общество в его целом. Это направление было «особенно плодотворно для литературы и языка, которые уатся и научатся хорошо говорить о простых вещах и уже не поучать, как прежде, торжественно и важно публику, а беседовать с нею», «объясняться с публикой не парадным языком книги, а живым языком общества» (т. IX, стр. 482). Все это неизбежно влекло за собой углубление и усиление национальных основ русского литературного языка.

Эти языковые тенденции, естественно, вызвали нападки со стороны охранителей крепостнического порядка жизни — Н. Полевого, Шевырева, Сенковского, Греча и Булгарина. В том, что Гоголю «современность представлялась в неприязненном виде» (Полевой), «с строгательной, смешной стороны» (Шевырев), они правильно усмотрели нечто социально и политически враждебное их идеологии и всем устоям тогдашнего строя. Обвиняя Гоголя в нечете на русский народ, в искажении русской действительности, они свою классово-политическую неприязнь к Гоголю распространили на его язык, а также и на язык его главного защитника — Белинского.

В чем обвиняли Гоголя его противники? Общая сводка высказываний Белинского, рассыпанных по произведениям разных годов, дает следующий ответ. Прежде всего — не нравилась лексика. Обвиняли его, напр., за употребление неприличных слов, какие нельзя услышать не только в высшем обществе, но даже и от «прядочного лакея». Особенно возмущали слова: **ванять, сморкаться, чихать, подлец, свинья, свинтус, бестия, каналья, бабешка, ракалия, фетюк, скалдырник, мошенник, напакостить** и пр. Обвинения сыпались не только со стороны «Библиотеки для чтения», «Северной пчелы» (см. приведенные только что слова), но и со стороны «Сына отечества» («грязные краски»), «Русского вестника» («лакейские и трак-

тирные слова») и т. д. Белинский не приводит всех обвинений. Защищая Гоголя, он ограничивается цитатой статьи из кн. Вяземского о «словоловах» («Современник», 1836, II): «**Порядочный лакей**, может быть, постыдится сказать: **воняет**, но **порядочный человек**, т. е. благовоспитанный, смело скажет это слово и в гостиной и перед дамами. Известно, что люди высшего общества гораздо свободнее других в употреблении **собственных слов**: жеманство, чопорность, щепетность, оговорки—отличительные признаки людей, не живущих в хорошем обществе, но желающих корчить хорошее общество... Вот отчего многие критики наши, добровольно подвигаясь на защиту хорошего общества и ненарушимости законов его, попадают в такие смешные промахи, когда говорят, что такое-то слово неприлично, такое-то слово невежливо. Охота им мешаться не в свои дела!.. У вас уши вянут от языка «Ревизора», а лучшее общество сидит в ложах и креслах, когда его играют; брошюрка «Ревизор» лежит на модных столиках работы Гамбса» (т. VII, стр. 274—275).

С придирчивостью, обусловленной классово-политическими настроениями, охранители обвиняли Гоголя в том, что он якобы не знает грамматики, искажает и «губит» русский язык. Взяв его под защиту от «пуристов» и «грамматоедов», Белинский признает, что обвинения эти «не совсем безосновательны», что, действительно, его «язык не отличается мертвой правильностью» (т. VII, стр. 275), но при этом приводит целый ряд соображений, которые убеждают в мелочности и никчемности всех этих обвинений.

В основе его рассуждений лежит верная мысль, что язык писателя нельзя рассматривать вне его стилистических функций, а они говорят о том, что грамматические промахи в языке Гоголя имеют своеобразную «прелесть»: «он так живописен, так ярок и рельефен, так определителен и точен, что его недостатки скорее составляют его прелесть, нежели порок... Возьмите самый неуклюжий период Гоголя: его легко поправить, и это сумеет сделать всякий грамотей десятого разряда, но покуситься на это значило бы испортить период, лишить его оригинальности в жизни» (т. IX, стр. 432). Эту же мысль высказал раньше (1836 г.) и Вяземский: «язык Гоголя не всегда безошибочен, но слог везде замечателен».

В суждениях о правильности и неправильности языка Гоголя Белинский усматривал относительность и шаткость. Гоголя обвиняли в промахах против грамматики Греча, но сама грамматика Греча, говорил он, полна «странностей и клевет на русский язык» (т. II, стр. 37). Нападали на Гоголя, а заодно и на «Отечественные записки», «Северная пчела» и «Мо-

сквитянин» за то, что они якобы «испровергают русскую грамматику»¹, а «Отечественные записки», не желая оставаться в долгу, выступали с контробвинением: «Как жаль, что «Пчела» не довольно опытна для того, чтоб правильно и складно писать по-русски или же знать, что это искусство ей не далось и что не ее дело учить други: тому, что другие знают лучше ее» (т. X, стр. 92). На погрешности Гоголя в языке указывала «Библиотека для чтения», но и ее самое обвиняли в незнании русского языка (т. VIII, стр. 29): Белинский—«явное незнание русского языка и русской грамматики» (т. VII, стр. 335) и Греч в брошюре «Литературные пояснения»: «Прошу убедительно оставить в покое русский язык,—пишет Греч,—и выбить из головы несчастную мысль, что можно быть преобразователем языка, когда не знаешь ни духа, ни начала его»². Полевой видел в Гоголе «безграмотногописаку», а Греч, Булгарин и Калайдович доказывали, что сам Полевой не знает грамматики.

Вообще, отмечает Белинский,—«нападки за незнание грамматики и искажение языка—характеристическая черта истории русской литературы: славянофилы (так он называл Шишкова и его сторонников.—А. Е.) удерживали, что Карамзин не знал духа и правил русского языка и ужасно искажал его в своих сочинениях; классики в том же самом обвиняли Пушкина; теперь очередь за Гоголем» (т. VIII, стр. 16).

Причины таких нападок Белинскому были ясны. Этому вопросу отведено, главным образом, место в его рецензии на книгу Васильева «Грамматические разыскания» (1845 г.). Состояние русского языка и русской науки о языке представлялось ему в следующем виде. Теория русского языка еще не разработана и «почти не начата». Для составления авторитетной грамматики «систематического свода законов о языке» не имеется данных, добытых путем «аналитического исследования русского языка, глубокого проникновения в анатомию, физиологию, в тайну организма языка». «Каждый пишущий в России,—свидетельствует Белинский о своей эпохе,—руководствуется своею грамматикою; нововведениям этимологическим, синтаксическим и орфографическим нет числа и меры: всякий молодец на свой образец. Если сличить две русские грамматики разных составителей, напр. грамматику г. Греча³ с грамматикою г. Востокова, подумаешь, что каждый из них

¹ Белинский. «Ответ на ответ г. Д»,—«Отечественные записки», 1846, № 5, стр. 52.

² Н. Греч. Литературные пояснения. 1839, стр. 31.

³ Н. Греч. Пространная русская грамматика. 1827. Начальные правила русской грамматики. 1828.

⁴ А. Х. Востоков. Русская грамматика, по начертанию его же сокращенной полнее изложенная. 1831.

рассуждает об особенном языке или что они отделены одна от другой большим промежутком времени» (там же, стр. 475). Дело здесь, конечно, не в том, что грамматический строй языка быстро меняется; наоборот: «Выработанный в течение эпох и вошедший в плоть и кровь языка, грамматический строй изменяется еще медленнее, чем основной словарный фонд», — говорит И. В. Сталин¹. «Грамматика есть результат длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления»; она «берет то общее, что лежит в основе изменений слов и сочетаний слов в предложениях, и строит из него грамматические правила, грамматические законы»². В эпоху Белинского грамматика не получила еще надлежащей разработки, что и повело в речевой письменной практике к разному, или, как он выражается, к «грамматической анархии».

Подытоживая в 40-е годы свои наблюдения над русским литературным языком, Белинский в своих статьях «Грамматические разыскания В. А. Васильева» (1845) и «Голос в защиту от «Голоса в защиту русского языка» (1846 г.) приходит к общему выводу, что русский литературно-художественный язык «вполне утвердился»; что же касается научно-публицистического языка («языка науки и общественности»), то «еще не близко время окончательного установления его» (т. IX, стр. 167; т. X, стр. 478), если вообще можно говорить об «окончательном установлении» языка: «Говоря строго,—пишет Белинский,—язык никогда не устанавливается окончательно: он непрестанно живет и движется, развиваясь и совершенствуясь»³.

Но наблюдения Белинского, а главное—его собственная речевая практика, убеждали его, что и научно-публицистический язык находится «на доброй дороге» (т. X, стр. 481). В данном случае из скромности он умалчал с себе и не сказал о своих языковых достижениях. А ведь они были колоссальным фактором в деле формирования научно-публицистического языка на Руси.

В таких общих чертах рисовалась Белинскому картина развития русского литературного языка, начиная с оды Ломоносова и кончая «Мертвыми душами» Гоголя. Довольно удачно он показывает основные моменты его развития, взаимоотношение языка различных писателей, моменты схождения и расхождения в их языке, связи, преемственность и органичность развития при основном устремлении в языке к торжест-

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. 1950, стр. 21.

² Там же, стр. 20.

³ Белинский. «Ответ на ответ г. Д.», — «Отечественные записки». 1846, № 5, стр. 47.

ву в нем национальных начал. Необходимо признать, что Белинский, сделав объектом своих попутных высказываний литературный язык лишь неолшого промежутка времени, в 110 лет, первый дал картину развития русского литературного языка, более широкую по охату имен, более тонкую и удачную по наблюдениям, более глубокую и правильную по выводам и с более выдержанной исторической перспективой, чем это было сделано в специальных работах, посвященных историческому изучению языка: Надеждина (1836 г.), К. Зеленецкого (1837 г.), К. Аксакова (1846 г.) и Срезневского (1849 г.). На самом деле, Надеждин рассматривает собственно только взаимоотношение народной книжной стихии в литературном языке и касается узкого круга писателей; К. Зеленецкий ограничивается лишь беглым упоминанием о периодах новейшей истории литературного языка без четкого установления исторических связей и преемственности; К. Аксаков в замечательном для своего времени труде мало внимания уделяет новейшему периоду, касаясь лишь Ломоносова и Карамзина, а Срезневский не идет дальше названия нескольких имен писателей новейшего периода и говорит о языке этого периода слишком общо. Высказывания Белинского о языке представляют собою первый опыт истории русского литературного языка—за столет до появления истории русского литературного языка как самостоятельной дисциплины.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аверкиев Д. В. 56.
 Азадовский М. К. 117, 260.
 Айхенвальд Ю. И. 199.
 Аксакова В. С. 116.
 Аксаков И. С. 128, 166.
 Аксаков К. С. 44, 71, 115, 194,
 210, 250, 257, 279, 299.
 Аксаков С. Т. 245.
 Алексеев М. П. 231.
 Алмазов Б. Н. 52, 53, 55, 91.
 Андросов В. П. 260.
 Анненков П. В. 44, 112, 115, 118,
 120, 138, 142, 144, 155, 165,
 172—175, 178, 210, 244, 268,
 272, 274, 276.
 Антонелли П. Д. 150, 152, 186.
 Антонович М. А. 133.
 Аристофан 66, 67.
 Арманд И. 119.
 Афанасьев А. Н. 177.
 Ашевский С. А. 242.
 Ашукин Н. С. 269.

 Бакунин М. А. 113, 117, 119, 124,
 132, 136 — 139, 184, 253, 258.
 Балосогло А. П. 150, 151.
 Бальзак О. 27.
 Барановская М. Ю. 254.
 Баратынский Е. А. 25.
 Барсуков Н. П. 49, 90, 91, 165,
 170, 252.
 Бартенев П. И. 259.
 Баршев Я. И. 115.
 Батюшков К. Н. 28, 60, 288.
 Беклемишев Н. В. 254, 255.
 Белинский В. Г. 230, 235.
 Бельчиков Н. Ф. 150, 173, 176,
 268.
 Бенедиктов В. Г. 223, 292—294.
 Березина В. Г. 242.
 Бестужев-Марлинский А. А. 26,
 192, 223, 256, 257, 292—294.

 Бестужев-Рюмин К. Н. 153.
 Бестужев Н. А. 131.
 Бичурин И. 193, 195.
 Благой Д. Д. 171, 173, 176, 180.
 Благовосветлов Г. Е. 168.
 Блан Л. 113.
 Богаевская К. П. 150, 173, 183,
 206, 287.
 Богучарский В. Я. 198.
 Бодянский О. М. 232.
 Болдырев А. В. 252.
 Боткин В. П. 19, 21, 22, 35, 36, 38,
 40, 43, 44, 114, 118, 123, 135,
 155, 194, 205, 220, 226, 229, 237,
 245, 249, 252, 253, 270, 272,
 276.
 Боткин М. П. 253.
 Бочкарев В. А. 91.
 Брейтбург С. М. 198.
 Бродский Н. Л. 175, 245.
 Будде Е. Ф. 281.
 Будков П. Е. 268.
 Булгаков С. Н. 197, 198.
 Булгарин Ф. В. 28, 29, 34, 36, 127,
 168, 212, 217, 218, 225, 295.
 Буслаев Ф. И. 225, 252, 279.

 Ванюшина М. А. 263—276.
 Варламов А. Е. 254.
 Варнеке Б. В. 56, 57.
 Василевская Е. А. 191.
 Васильев В. А. 219, 284, 297, 298.
 Васильев М. А. 184, 189.
 Васильев Ф. А. 166.
 Вельтман А. Ф. 252, 253.
 Венгерова С. А. 5, 63, 165, 170,
 173, 181, 195, 196, 210, 215, 230,
 231, 234—236, 239, 249, 264, 277.
 Вернет И. Ф. 272.
 Виноградов В. В. 279, 291.
 Винья А. 239—242.
 Вишневский П. И. 198, 199.

- Воейков А. Ф. 237.
 Волконский С. Г. 131.
 Воскресенский М. И. 6, 105, 262.
 Востоков А. Х. 284, 297.
 Вяземский П. А. 248, 290, 296.
 Галахов А. Д. 252—255, 268, 272, 273, 275.
 Гауг Э. 162, 163.
 Гегель 17, 147.
 Гейнцен К. 138.
 Герцен А. И. 13, 17, 29, 30, 34, 39, 47, 62, 65, 69, 70, 75, 76, 79, 91, 95, 97, 100, 111 — 117, 122, 123, 129, 130, 132 — 134, 136, 138, 139, 145, 147, 149, 151, 160—167, 192, 214, 226, 253, 254, 256, 261—264, 268—275.
 Герье Е. В. 175.
 Гершензон М. О. 197—199.
 Гете В. 17, 38, 96, 261.
 Гиппиус В. В. 78, 245.
 Глебов А. П. 158, 159.
 Глинка Ф. Н. 256, 290.
 Гнедич Н. И. 288.
 Гоголь Н. В. 6, 9, 17, 26, 28, 31, 32, 35, 41, 49—109, 110 — 204, 206, 242 — 248, 277, 289, 295—298.
 Голицын Д. В. 255, 259.
 Головенченко Ф. М. 165, 170, 171, 176.
 Гомер 65, 66, 216.
 Гончаров И. А. 39, 120, 270, 274.
 Гораций 285.
 Горлицын Н. М. 154—160.
 Горький А. М. 278.
 Грановский Т. Н. 19, 35, 45, 153, 167, 254, 264, 272.
 Греч Н. И. 20, 28, 29, 166, 212, 217, 218, 231, 232, 295—297.
 Грибоедов А. С. 28, 55, 60, 145, 286.
 Григорович Д. В. 39, 76, 270.
 Григорьев А. А. 49, 53, 57, 91—102, 148, 154, 266.
 Грот Я. К. 160.
 Груздев В. Ф. 182.
 Грузинский А. Е. 210.
 Гурьянов В. П. 230, 251.
 Давыдов Д. В. 288, 290.
 Давыдов И. И. 225.
 Даль В. И. 176, 177, 192.
 Данилов В. В. 78.
 Данилов С. С. 245.
 Дебу И. М. 151.
 Державин Г. Р. 42, 249, 282—283.
 Диккенс Ч. 38.
 Дмитриев И. И. 287, 288.
 Добродеев И. Е. 251.
 Добролюбов Н. А. 41, 45, 47, 54, 57, 75, 85, 86, 101 — 109, 128, 132, 161, 166, 227, 229.
 Достоевский Ф. М. 138, 149—153, 161, 168, 169, 172, 263, 265—270, 272—275.
 Дружинин А. В. 93, 223.
 Дубельт Л. В. 168, 219.
 Дудышкин С. С. 41.
 Дуров С. Ф. 149, 150.
 Дюма А. 27, 38.
 Дядьковский И. Е. 254, 262.
 Екатерина II. 146.
 Ефремов А. Ф. 205—229, 275—297.
 Ешевский С. В. 153, 158.
 Жемчужников А. 62.
 Жуковский В. А. 60, 286.
 Забелин И. Е. 178, 179.
 Заблоцкий - Десятовский А. П. 119—123, 129, 133, 139.
 Загоскин М. Н. 243.
 Занд Ж. 44.
 Зайцев В. Н. 168.
 Заславский Д. И. 32.
 Зеленецкий К. П. 279, 299.
 Иакинф 193, 194.
 Иванов-Разумник Р. В. 149, 165, 202.
 Измайлов А. Е. 25.
 Иноземцев Ф. И. 254.
 Иовчук М. Т. 134, 165, 171.
 Инсарский В. А. 252, 255.
 Кавелин К. Д. 35, 73 — 75, 135, 148, 167, 264, 265, 272, 273, 275.
 Каверин В. А. 26, 36.
 Калашников И. Т. 212.
 Кантемиро А. Д. 60, 64.
 Кантор Р. М. 154.
 Капнист В. В. 60.
 Карамзин Н. М. 23, 24, 60, 283—288, 299.
 Каратыгин В. А. 249.
 Картавов П. А. 183.
 Катков М. Н. 279.
 Кашин Н. П. 57.
 Кетчер Н. Х. 136, 147, 153, 174—178, 183, 253, 270, 273—275.

- Киреевский П. В. 260.
 Кириллов Н. С. 219.
 Кирпотин В. Я. 270.
 Киселев П. Д. 119—121, 125.
 Клеман М. К. 116, 205.
 Ключников И. П. 255.
 Ключников П. П. 255.
 Коган П. С. 165.
 Ковалевский Е. П. 153.
 Ковалевский П. М. 153.
 Козмин Н. К. 252.
 Козьмин Б. П. 166.
 Княжнин В. Н. 92, 94, 148.
 Колобов Н. Я. 187.
 Кольцов А. В. 255.
 Кольчугин И. Г. 254.
 Комаров А. А. 44.
 Комаров Д. 186—187.
 Корнилович А. О. 257.
 Корнилов А. А. 136, 236, 258.
 Короленко В. Г. 259.
 Корш Е. Ф. 118, 148, 153.
 Краевский А. А. 19, 21, 30, 36, 41, 43—46, 120, 123, 165, 170—172, 175, 189, 263, 264, 268, 272—275.
 Крестова Л. В. 245, 246, 265.
 Критские В., М., П. 254.
 Кроненберг А. И. 44, 265, 275.
 Крылов И. А. 23, 207, 208, 236—288.
 Крюков Д. Л. 254.
 Кубиков И. Н. 236.
 Кудрявцев П. Н. 153, 268, 275.
 Кузьмин П. А. 151.
 Кукольник Н. В. 223, 241.
 Куликов Н. И. 218.
 Кулиш П. А. 189.
 Кулешов В. И. 165, 171, 176.
 Купер Ф. 39.
 Кушников С. С. 256.
 Кюстин А. 143.
 Кюхельбекер В. К. 25, 255.
 Лавров П. Л. 168.
 Лаврецкий А. 75.
 Лажечников И. И. 246, 247.
 Лебедев К. Н. 130.
 Ледрю-Роллен 113.
 Лемке М. К. 70, 128, 145, 161, 260.
 Ленин В. И. 31, 32, 110, 119, 125, 126, 129, 132, 133 — 140, 148, 195—204, 215, 230, 277.
 Ленский Д. М. 250.
 Лермонтов М. Ю. 23, 41, 97, 207, 261, 286, 291.
 Липранди И. П. 150—152.
 Ломоносов М. В. 41, 60, 279—284, 299.
 Лотман Л. М. 49, 76.
 Лутковский Н. 231.
 Львов Ф. Н. 194.
 Людвиг Э. 139.
 Лятцкий Е. А. 165, 242.
 Майков А. Н. 263, 265, 268.
 Майков В. Н. 36.
 Макашин С. А. 161, 162.
 Максимов (Евгеньев) В. Е. 32, 46, 276.
 Максимович М. А. 252.
 Маркс К. 118, 123, 130, 131, 138, 147.
 Марлинский (Бестужев) А. А. 26, 223, 256, 257, 292—294.
 Мартынов А. Е. 50, 61.
 Масальский К. П. 234, 285.
 Маслов В. И. 256.
 Маторина Р. П. 175, 242.
 Мацкинг Д. 116.
 Машинский С. И. 75, 165, 245.
 Межевич В. М. 130, 233, 234.
 Мельгунов Н. А. 43, 44, 265, 272.
 Мендельсон Н. М. 249.
 Менцель В. 261.
 Меншиков А. С. 120.
 Миллюков А. П. 153.
 Михайловский Н. К. 128, 129, 168.
 Мишле Ш.-Л. 162.
 Модзалевский Б. Л. 258.
 Мольер Ж. Б. 57.
 Момбелли Н. А. 152, 153, 185—187.
 Мордовченко Н. И. 75, 92, 245.
 Мочалов П. С. 248, 249, 253, 254, 260, 262.
 Муравьев А. Н. 257, 258.
 Муравьев-Апостол М. И. 258.
 Муравьев-Апостол С. И. 258.
 Муханов П. А. 255.
 Навроцкий С. Н. 218.
 Надеждин Н. И. 19, 145, 232, 234, 235, 239, 249, 252 — 256, 279, 285.
 Назимов В. И. 61.
 Нащокин П. В. 256.
 Неверов Я. М. 130, 236, 251.
 Незеленов А. И. 56.
 Некрасов Н. А. 31, 36, 39, 45, 69, 92, 116, 126, 132, 165, 172, 195, 196, 257, 263, 265 — 269, 272—276.

Нечаева В. С. 257.
Никитенко А. В. 16, 34, 35, 114,
168, 265, 275.
Николай I. 117, 120, 134, 136, 137,
140, 142, 145, 219, 237.
Новиков Н. И. 23, 255.
Нольде Б. Э. 175, 183—184, 189.

Оболенский Е. П. 149, 178.
Овсяннико-Куликовский Д. Н. 200.
Огарев Н. П. 136, 166, 271.
Одоевский В. Ф. 25, 43, 120,
216, 260, 265, 271, 274.
Окман Ю. Г. 110—204, 228—260,
268.
Орлов А. Ф. 130, 141, 168.
Орлов В. Н. 8, 144, 237, 242.
Орлов М. Ф. 256.
Островидов И. Ф. 236.
Островский А. Н. 48—109.

Павленков Ф. Ф. 170.
Павлова К. К. 157—159.
Павлов Н. Ф. 44, 154—160, 179—
181.
Пальм А. И. 149.
Панаева А. Я. 149, 265—270, 271.
Панаев И. И. 15, 31, 265—270,
274, 275.

Панин В. Н. 167.
Пассек В. В. 223.
Перовский Л. А. 119, 125, 130,
140, 141.
Петр I. 126, 132, 134, 135 — 138,
194, 195, 231.
Петров П. Я. 130.
Петрашевский М. В. 92, 134,
149—153, 161, 186.
Пиксанов Н. К. 120, 235, 268, 273.
Писарев Д. И. 168.
Писемский А. Ф. 79, 88.
Плетнев П. А. 160, 238.
Плеханов Г. В. 200.
Плещеев А. Н. 124, 149, 153, 154,
158, 161, 172, 185—189.
Погодин М. П. 19, 20, 44, 91, 98,
170, 238, 252, 260, 267.
Покусаев Е. И. 3—47.
Полевой К. А. 237, 239, 253, 257,
262.

Полевой Н. А. 8, 19—21, 24—26,
117, 211, 217, 223, 236 — 242,
248—250, 253 — 257, 260, 262,
295, 297.
Полежаев А. И. 251, 292.
Полонский Я. П. 168, 266.
Поляков А. С. 258.

Поляков М. Я. 145, 233, 234,
245—247, 260.
Потехин А. А. 86.
Потехин П. А. 89.
Прозоров П. И. 252.
Прудон П.-Ж. 116, 130.
Пруцков Н. И. 57, 58.
Пушкин А. С. 17, 19, 24—28, 56,
57, 60, 62, 93, 96, 117, 147, 164,
170, 197, 207, 217, 222, 254, 255,
259—262, 282—291.
Пушин И. И. 255.
Пушин М. И. 181, 188.
Пыпин А. Н. 15, 166, 169, 171,
252—254, 276.

Рабус К. И. 253.
Радищев А. Н. 130, 131, 143, 144,
255, 256.
Ревякин А. И. 50, 76, 91, 92.
Рихтер Ж. П. 222.
Рогожин Н. П. 178, 179.
Рожалин В. М. 260.
Рожалин Н. М. 260.
Руге А. 147.
Рулье К. Ф. 158.
Рылеев К. Ф. 25, 131, 192, 255,
257.

Сазонов Н. И. 113, 115, 132, 138.
Саллюстий 285.
Салтыков-Щедрин М. Е. 45, 70,
88, 89, 92, 115.
Самарин Ю. Ф. 34, 73, 74.
Сатин Н. М. 136.
Северцева Л. Б. 158.
Северцев А. А. 158.
Северцев Н. А. 158.
Селивановский Н. С. 237, 242 —
262.
Селивановский С. И. 255, 256.
Семевский В. И. 141, 151.
Семевский М. И. 188, 189.
Семен А. 237.
Семенников В. П. 256.
Семенов П. П. 153.
Сенковский О. И. 19—21, 26, 212,
217, 224, 227, 295.
Серебровская Е. 246.
Сиверс А. А. 258.
Симони П. К. 254.
Скабичевский А. М. 56.
Скафтымов А. П. 49—110.
Скобелев И. Н. 250.
Скотт В. 64.
Слонимский А. Л. 85.

Смирнов З. В. 171.
Сократ 67, 68.
Соловьев С. М. 272, 273.
Соллоуб В. А. 265, 271.
Спиридонов В. С. 53, 63, 94, 96,
165, 171, 176, 194, 237, 246, 249,
277.
Срезневский И. И. 225, 279, 299.
Сталин И. В. 139, 206, 207, 219,
222, 225, 278, 281, 290, 298.
Станкевич А. В. 175.
Станкевич Н. В. 218, 230, 236,
245—251, 253.
Степанов Н. Л. 75.
Степанов П. Г. 255.
Строев В. М. 231, 232.
Строев П. М. 25, 255.
Струве П. Б. 197, 198.
Сумароков А. П. 60, 212, 281.
Сурков П. И. 201.
Сухо-Кобылина Е. В. 252.
Сухомяков М. И. 241.
Сухоруков В. Д. 257.
Сю Е. 39, 122.

Тайлер У. 138.
Тассо Т. 216.
Тацит 285.
Тимковский Н. И. 198.
Тимофеев А. Г. 115.
Толстой А. П. 191.
Толстой Л. Н. 198, 226, 257.
Толь Ф. Г. 151.
Ткачев П. Н. 168.
Трепов Д. Ф. 196.
Тропинин В. А. 251.
Тургенев Н. И. 119, 125, 129—133,
136.
Тургенев И. С. 36, 39, 69, 76, 98,
113—117, 119, 149, 205, 206, 210,
218, 222, 226, 263, 268, 270, 275.
Тур Е. (Салиас де Турнемир Е. В.)
60, 61, 66.
Уваров С. С. 164, 237, 241.
Успенский И. Н. 198.

Феваль П. 39.
Федоров Б. М. 168, 284.
Фейербах Л. 130, 131.
Филиппов П. Н. 151, 152, 185, 187.
Филиппов Т. И. 49, 50, 90, 91, 102.
Фомин А. А. 57.
Фонвизин Д. И. 60, 232.

Фролов Н. Г. 45.
Фурье Ш. 131.

Ханыков А. В. 151.
Хомяков А. С. 244.

Чаадаев П. Я. 144, 146, 256, 259.
Чернышев В. И. 210.
Чернышевский Н. Г. 3, 19, 22, 39,
41, 45, 48, 75, 101, 127, 152, 166,
168, 199, 212, 214, 215, 226, 229,
278, 292.
Черняк Я. З. 154, 161, 180.
Чертков В. Г. 198.
Чижов В. П. 163—172, 188, 189.
Чариков М. Н. 150.
Чуковский К. И. 149, 265, 267.
Чулков Н. П. 255.
Чумиков А. А. 161—165, 171, 172.

Цицерон М. Т. 235.
Цявловский М. А. 260.

Шамбинаго С. К. 57, 101.
Шаховской А. А. 234.
Шевырев С. П. 7, 43, 223, 239,
240, 254, 260, 294, 295.
Шекспир В. 44, 57, 96.
Шелгунов Н. В. 168.
Шенрок В. И. 191.
Шиллер Ф. 218, 240.
Штейнгель В. И. 255.
Штрайх С. Я. 259.
Шульгин В. Н. 147.

Шеголев П. Е. 151, 187.
Шепкин М. С. 245, 253, 254, 256,
260, 262, 265, 271, 272, 275.
Шукин П. И. 182—188.

Эдельсон Е. Н. 49, 55, 91, 92.
Энгельс Ф. 118, 130, 131, 138, 147.

Юрьев С. А. 191.

Языков Н. Д. 152.
Языков Н. М. 223, 260, 294.
Яковлев А. С. 225.
Ярославский А. К. 168.
Ястржембский И. Ф. 150, 151, 194.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Е. И. Покусаев. — Белинский и русская журналистика . . .	3
А. П. Скафтымов. — Белинский и драматургия Островского . .	49
Ю. Г. Оксман. — Письмо Белинского к Гоголю как историче- ский документ	111
А. Ф. Ефремов. — Белинский и русский литературный язык . .	205
Ю. Г. Оксман. — К истории работы Белинского в «Телескопе»	230
М. А. Ванюшина — Белинский в работе над организацией альманаха «Левинфан» в 1846 г.	263
А. Ф. Ефремов — Процесс развития русского литературного языка в понимании Белинского	277
Именной указатель	301

Технический редактор З. Н. Чуднова
Корректор Н. М. Левина

